



Э 6105 026 432 356

STANFORD LIBRARIES

А. БОГДАНОВ и И. СТЕПАНОВ

НВ
97.5
В6
1923
Т.2

КУРС

ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИИ

Том II

выпуск 4-й

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КАПИТАЛИЗМА
КОЛЛЕКТИВИСТИЧЕСКИЙ СТРОЙ

издание 2-е, переработанное и дополненное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

SAL3w

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ПЕТРОГРАД

Общественные знания.

- Бухарин, Н. Теория исторического материализма. Полулярный учебник марксистской социологии. Изд. 3-е. Стр. 335. Ц. 65 к.
- Ваганян, В. Опыт библиографии Г. В. Плеханова. С пред. Д. Рязанова. Стр. 118. Ц. 40 к.
- Вольфсон, М. Б. очерки обществоведения. Изд. 3-е. Стр. 428. Ц. 1 р. 80 к.
- Зиновьев, Г. и Ленин, Н. Против течения. Сборник статей. Над. 3-е. Стр. 565. Ц. 1 р. 20 к.
- Каутский, К. Критике теории и практики марксизма («Антеберштейн»). Стр. 297. Ц. 75 к.
- Его же. Происхождение христианства. Подред. и с пред. Д. Рязанова. Стр. 407. Ц. 1 р. 10 к.
- Кунль, Г. Возникновение религии и веры в бога. Перев. и пред. И. Степанова. Изд. 3-е. Стр. 182. Ц. 35 к.
- Ленин, Н. (Ульянов, В.). Собр. сочинений, т. II. Экономические этюды и статьи (1894—99 гг.). Стр. 582. Ц. 1 р. 30 к. в пап.
- Его же. Собр. сочинений, т. III. Развитие капитализма в России. Стр. 548. Ц. 1 р. 30 к. в пап.
- Его же. Собрание сочинений, т. IV. «Искра», 1900—1903 гг. Стр. 335. Ц. 80 к.
- Его же. Собр. соч., т. VI. 1905 г. Стр. 528. Ц. 1 р.
- Его же. Собрание сочинений, т. VII. Ч. I. 1905—1906 гг. От октября 1905 г. до распуска 1-й Гос. Думы. Стр. 352. Ц. 70 к. в пап. 80 к.
- Его же. Собрание сочинений, т. VIII. Ч. II. 1905—06 гг. От распуска 1-й Гос. Думы до начала избирательной кампании во 2-ю Гос. Думу. Стр. 303. Ц. 75 к., в пап. 1 р.
- Его же. Собрание сочинений, т. VIII. 1907 г. Стр. 662. Ц. 1 р. 25 к., в пап. 1 р. 25 к.
- Его же. Собрание сочинений, т. X. Материализм и эмпириокритицизм. Стр. 828. Ц. 65 к., в папке 70 к.
- Его же. Собрание сочинений, т. XIV, ч. I. Буржуазная революция 1917 г. От февральской революции до юньковских дней. Изд. 2-е. Стр. 524. Ц. 1 р. в пап.
- Его же. Собрание сочинений, т. XIV, ч. II. Буржуазная революция 1917 г. От юньковских дней до Октябрьской революции. Изд. 2-е. Стр. 536. Ц. 1 р. 45 к., в пап. 1 р. 50 к.
- Его же. Собрание сочинений, т. XV. Пролетариат у власти. 26 окт. 1917 г.—31 дек. 1918 г. Стр. 602. Ц. 1 р. 20 к., в пап. 1 р. 30 к.
- Его же. Собрание сочинений, т. XVI. Пролетариат у власти. 1919 г. Стр. 544. Ц. 1 р. 50 к. в папке.
- Его же. Собрание сочинений, т. XVII. Пролетариат у власти 1920 г. Стр. 477. Ц. 1 р. 25 к. в папке.
- Его же. Собрание сочинений, т. XVIII, ч. I. Пролетариат у власти. 1921 г. Стр. 455. Ц. 1 р. 50 к. в пап.
- Его же. Собрание сочинений, т. XIX. Национальный вопрос (статьи 1910—1921 гг.). Стр. 300. Ц. 50 к.
- Маркс, К. и Энгельс, Ф. Полное собрание сочинений, т. III. Исторические работы. Стр. 619. Ц. 1 р.
- Их же. Полное собрание сочинений, т. I. Статьи и письма К. Маркса (1837—1844 гг.). Стр. 587. Ц. 1 р. 80 к.
- Их же. Коммунистический манифест. С введением и примеч. Д. Рязанова. Изд. 3-е. Стр. 339. Ц. 1 р. 50 к., в перепл.
- Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии, т. I, кн. I. Процесс производства капитала. Под ред. В. Базарова и И. Степанова. Стр. 767. Ц. 2 р.
- Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии, т. II, кн. II. Процесс обращения капитала. Под ред. В. Базарова и И. Степанова. Стр. 498. Ц. 1 р. 50 к.
- Его же. Капитал. Критика политической экономии, т. III, ч. I. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Главы: I—XXVIII—LI. Под ред. В. Базарова и И. Степанова. Стр. 447. Ц. 1 р.
- Его же. Капитал. Критика политической экономии, т. III, ч. II. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Главы: XXVIII—LI. Под ред. В. Базарова и И. Степанова. Стр. 414. Ц. 1 р.
- Его же. Ницше философии. Ответ на «Философию пишет» Прудона. С пред. и примеч. Ф. Энгельса. Стр. 168. Ц. 50 к.
- Его же. Замечания по программе германской рабочей партии. Критика Готской программы. С вступл. статей К. Корша. Переход Н. А. Алексеева. Стр. 97. Ц. 20 к.
- Плеханов, Г. В. Основные вопросы марксизма. С предисловием Д. Рязанова. Изд. 3-е. Стр. 126. Ц. 35 к.
- Его же. Сочинения, т. I. Статьи до 1891 г. С пред. Д. Рязанова. Стр. 364. Ц. 90 к., в пап. 1 р.
- Его же. Сочинения, т. II. Статьи 1893—88 гг. С пред. Д. Рязанова. Стр. 404. Ц. 1 р. 20 к. в пап. 1 р.
- Его же. Сочинения, т. III. На русские темы. Статьи 1898—92 гг. Стр. 426. С ввод. Д. Рязанова. Ц. 1 р. 30 к.
- Его же. Сочинения, т. IV. Статьи 1898—94 гг. С пред. Д. Рязанова. Стр. 333. Ц. 90 к. в пап. 1 р.
- Его же. Сочинения, т. VII. Обоснование и защита марксизма. Ч. I. Под ред. Д. Рязанова. Стр. 331. Ц. 1 р.
- Его же. Сочинения, т. VIII. Обоснования и защита марксизма. Ч. II. Под ред. Д. Рязанова. Стр. 411. Ц. 1 р. 40 к.
- Его же. Сочинения, т. XI. Критика наших критиков. Под ред. Д. Рязанова. Стр. 398. Ц. 1 р. 30 к.
- Стеклов, Ю. Карл Маркс, его жизнь и деятельность (1818—1883). Стр. 114. Ц. 30 к.
- Троцкий, Л. Д. Основные вопросы революции. Стр. 420. Ц. 2.
- Энгельс, Ф. Авти-Дюринг. Стр. 297. Ц. 60 к.
- Социализм и история социализма.**
- Бер, М. История социализма в Англии. С пред. Ф. Ротшильда, ч. I. Стр. 329. Ц. 75 к.
- Водовозов, Н. Шарль Фурье. Биографический очерк. Изд. 3-е. Стр. 140. Ц. 20 к.
- Изложение учения Сен-Симона (1828—29 гг.). Перев. М. Ландau. С пред. В. Болгия. Стр. 304. Ц. 75 к.
- Каутский, К. Собрание сочинений, т. III. Предшественники новейшего социализма, ч. I. Коммунистическое движение в средние века. Перев. и предисл. И. Степанова. Изд. 2-е, вновь просмотр. Стр. 244. Ц. 75 к. в папке 80 к.
- Его же. Собрание сочинений, т. IV. Предшественники новейшего социализма, ч. II. Коммунизм в германской реформации. Перев. В. Базарова. Стр. 212. Ц. 60 к.
- Сен-Симон, А. Собрание сочинений. С ввод. и прим. В. В. Святловского. Стр. 288. Ц. 2 р.

и Гиоджено
2-26-25 г. Чикаго.

А. БОГДАНОВ и И. СТЕПАНОВ

КУРС
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИИ

Том II

выпуск 4-ый

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КАПИТАЛИЗМА.
КОЛЛЕКТИВИСТИЧЕСКИЙ СТРОЙ

издание 2-е, переработанное и дополненное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ПЕТЕРГОФ

Гиз. № 5396. Главлит. № 13189. Москва. Напеч. 10.000. экз.
„Мосполиграф“. 1-я Образц. тип., Пятницк., 71.

ОТ АВТОРОВ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Для ускорения дела, этот выпуск нашей работы—последний выпуск II тома—печатается одновременно с первым. Представляя по содержанию самостоятельное целое, он может быть и прочитан независимо от предыдущих выпусков читателем с той подготовкой, какая вообще требуется для использования нашего курса.

Выпуск этот написан А. Богдановым; редактирован, конечно, обоими авторами.

1 сентября 1918 г.

ОКНАДЕН ЧМОЛДАИ ВОРОТКА ТО

Воротки и ворота в Китае имеют очень древнюю историю. В Китае ворота назывались «воротами», а окна — «окнаденами». Ворота в Китае имели не только практическую, но и ритуальную функцию. Ворота в Китае всегда были символом власти и могущества. Ворота в Китае всегда были символом власти и могущества. Ворота в Китае всегда были символом власти и могущества.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ.

Переработка книги на этот раз заключается, главным образом, в целом ряде дополнений. В интересах читателей, знакомых с первым изданием, я перечислю главнейшие.

1) Расширено методологическое введение новой главой „Место теории капитализма в экономической науке“. Глава посвящена вопросу о том, является ли теоретическая экономия наукой специально для капитализма, излишней для других общественных формаций, или она нужна и для них.

2) Введена глава „Военно-экономические формации“ — о государственном капитализме недавней эпохи и о военном коммунизме. По основному содержанию глава эта соответствует главе „Новейшие преобразования колlettивизма“, не вошедшей в первое издание вследствие разногласий между авторами, теперь потерявших свое значение.

Прибавлена, кроме того, глава с общим анализом „послевоенной мировой конъюнктуры“.

3) Включена новая теоретическая глава „Путь падения золотой денежной базы“ — об основах мирового развития дороговизны.

Далее, глава „Идеологическое развитие в эпоху торгового капитала“ не является новой, а перенесена сюда из 1-го выпуска этого II тома нашего „Курса“, что сделано по соображениям архитектурной стройности.

Дополнения, более мелкие:

В теории простого и квалифицированного труда — критика „бухгалтерского“ понимания социального учета квалификации.

В главе о „пределной полезности“ — общая критика теории „пределной производительности“ англо-американской школы.

В главе о кризисах — дополнения в анализе условий их периодичности и общая критика теории Розы Люксембург о необходимости внешних рынков для накопления.

Отмечу еще пару теоретических поправок: в главе о норме и прибавочной стоимости—устранено объяснение выравнивания этой нормы путем конкуренции, ошибочное и излишнее; в главе о рынках дано новое объяснение особого характера тех видов расширения рынка, которые не имеют исходного пункта в области потребительского спроса.

Остальные поправки по преимуществу редакционные, а дополнения—пояснительные и иллюстративные.

С удовольствием могу констатировать, что некоторые теоретические идеи, проводившиеся еще в моих прежних работах и зафиксированные в этой книге, находят в нашей экономической литературе возрастающее распространение и применение. Особенно это относится к принципу равновесия в учении о трудовой стоимости, как регуляторе производства, в теории воспроизводства и теории рынков.

A. Бойданов.

29 июля 1923 г.

Общая теория капитализма.

I. Методологическое введение.

а) Место теории капитализма в экономической науке.

Общая теория капитализма представляет учение о формах и о законах движения капиталистической экономики.

Мы рассматриваем капитализм, как одну из сменяющихся экономических формаций, одну из ступеней развития, место которой находится между феодальной и мелко-буржуазной системами, с одной стороны, социалистическую—с другой. Но есть вполне достаточные основания, чтобы выделить теорию капитализма, как особый, обширнейший и важнейший отдел нашей науки, отдел, в котором для нашего поколения лежит ее центр тяжести. Эти основания: наибольшая актуальность и специальные трудности исследования. О первой говорить особо не приходится: капитализм есть формация господствующая в мировом масштабе. Что же касается трудностей исследования, то на них следует несколько остановиться.

Они сводятся к трем основным моментам: 1) огромная сложность данной системы; 2) ее всепроникающая противоречивость; 3) затемняющие познание фетишизы, которыми она окутана.

Сложность системы капитализма связана с ее мировым масштабом и с ее переходным характером, а также с быстрым, все ускоряющимся темпом развития.

Капитализм есть первая в истории человечества экономическая формация, достигшая мирового масштаба в точном смысле этого слова—охватившая всю поверхность земного шара своей специфической связью, связью мирового рынка. Она включила в свои рамки неизмеримое богатство и разнообразие производственных отношений между сотнями миллионов работников всевоз-

можных видов труда и десятками миллионов получателей прибавочной стоимости на самых различных ступенях развития эксплуатации, от высоко-организаторской до чисто-паразитической. Простым анализом легко показать, что в любой единице товара заключаются атомы труда несчетных работников, начиная с тех, которые добывали из природы первые материалы, и кончая теми, которые строили пути сообщения для транспорта этого товара и средств его производства. И на каком угодно предприятии, частном хозяйстве, на всякой частице современного социально-экономического механизма, исследованием ее элементов, ее внутренних и внешних связей, с их бесконечными разветвлениями и сплетениями, также легко и просто демонстрировать мировое единство этого механизма.

Еще больше и глубже усложняется картина сплетением иного рода. В капитализме имеется масса пережитков прежних формаций, масса зародышей формаций будущих. В его организации не исчезли даже следы авторитарно-родовых отношений,—весыма заметное количество их дает, напр., анализ семейного хозяйства обширных классов нашего времени; еще гораздо больше остатков феодальной, крепостной систем, ремесленного строя.

И мало сказать, что капитализм далеко еще не закончил разрушения этих остатков прежних, отживших организаций,—он нередко опирается на них, эксплуатирует их, в иных случаях даже частично их возрождает, благодаря своим причудливым комбинациям интересов и их противоречий.

Сам капитализм проходит несколько фаз развития, значительно различающихся между собою и фактически постоянно перемещанных, ибо каждая новая вырастает из предыдущей, постепенно ее подчиняя, но не уничтожая вполне.

Внутренняя противоречивость капитализма такова, что его часто даже обозначают, как систему „неорганизованную“. Дух разъединения и борьбы проникает его по всей линии: обособленность специализированных частей—отраслей, предприятий, частных хозяйств; конкуренция и борьба контрагентов на рынке; борьба групп и классов. Каждое такое противоречие, если его представить в последовательном развитии, тяготеет к безысходности, т.е. к разрушению самой системы.

Однако она существует столетия и развивается. И мы знаем, что именно противоречия дают движущую силу ее прогресса, и что сила эта с их развитием, вообще говоря, возрастает, хотя

из них же возникают постоянно частичные разрушения, а иногда и огромные крушения, масштаба мировых кризисов и мировой войны.

Дело в том, что под противоречиями скрываются разные формы, разные степени жизненной связи и организованности. Контрагенты и конкуренты на рынке объективно — участники своеобразного кооператива по общественному снабжению, по распределению в обществе продуктов, необходимых разным его частям и элементам. Социальные группы с их взаимными столкновениями имеют в основе общественное разделение труда; и даже эксплуатирующие классы до своего паразитического вырождения выполняют социально-нужные функции. Поэтому самая мысль о „неорганизованности“ капитализма весьма неточна. Он только „анархичен“, обладает стихийной организованностью, нераздельной с противоречиями. И понятно, насколько это сплетение затрудняет работу анализа.

Но наибольшая трудность, отсюда вытекающая, лежит не в усложнении объекта исследования, а в его маскировке, в затемнении производственных связей прикрывающими их противоречиями. В силу этого затемнения экономическая действительность капитализма для сознания, не выходящего из его пределов, окутывается фетишизмами, глубоко ее извращающими, порождающими загадки и тайны, непостижимые в рамках этого сознания. Общественные связи не понимаются как таковые, а переносятся на вещи, как в товарном фетишизме, на отдельных людей, как в фетишизме частной собственности, — приписываются им в виде своего рода атрибутов.

Раскрытие основного из этих фетишизмов — товарного — и составляет сущность переворота, выполненного марксизмом в экономической науке. И так как этот переворот обусловлен переходом на новую классовую точку зрения — пролетарскую, то можно с полным основанием рассматривать домарковскую политическую экономию и марксистскую экономическую науку, как две науки, разные и даже противоположные в смысле классовой идеологии. Это — системы совершенно несовместимые, и одна может использовать другую только в качестве материала для переработки.

Маркс первоначально, кажется, даже не хотел сохранять за новой наукой старое обозначение. Он назвал свою работу „Капитал“ критикой политической экономии, без всякого пояснения; а при ниisровергающем характере его критики,

это всего скорее можно понять в смысле отрицания политической экономии вообще, как науки буржуазной, которая одна до Маркса носила это имя. Но старый термин удержался, его применяют и к новой науке, несмотря на его исторические, и даже собственно филологические, недостатки: ведь не о „политике“ в теперешнем значении этого слова идет в ней дело. А вместе со старым термином удерживаются и некоторые старые недоразумения.

Одно из них для нас в данный момент особенно важно; оно относится к определению самого предмета политической экономии: многие марксисты (Гильфердинг, Бухарин и др.) понимают ее именно как теорию капитализма или, общее, товарного хозяйства, но и только его.

Для буржуазной науки такая точка зрения была естественна и логична. Капитализм в ее представлениях если не вечный, то окончательный и нормальный экономический строй; его категории экономически универсальны. Марксисты, сторонники прежнего определения, дают, конечно, не эти основания, но логически родственные им: капитализм признается за исключительную форму в развитии человечества и принимается, что только для него требуется такая наука, только он нуждается в ней по своей сложности и противоречивости.

Так, Рудольф Гильфердинг строго различает историю хозяйства и теоретическую экономию, как две разных науки об одном предмете—производственном отношении:

„Первая спрашивает о возникновении данного производственного отношения; она показывает нам, каким образом при определенных естественных условиях, при определенном состоянии производительных сил возникли определенные производственные отношения, каким образом последние, в свою очередь, воздействуют обратно на производительные силы, развиваются дальше и изменяют свою форму.

„Но дает ли нам это историко-генетическое изучение полное познание данного производственного отношения? Познание генезиса удовлетворяет нас тогда, когда производственное отношение само по себе прозрачно и не требует дальнейшего научного исследования. Когда же это будет иметь место? Мы оставляем в стороне сложность, обширность и трудность процесса производства. Производственное отношение должно само содержать в себе критерий, который решает, необходимо ли, кроме его генетического объяснения, также теоретическое изучение. Но этот критерий

может заключаться лишь в сущности самого производственного отношения, т.-е., в том способе, каким оно конституировано. Этот способ может быть, очевидно, лишь двоякого рода.

„Люди могут сознательно относиться друг к другу в производстве, как члены одного производственного целого; их положение в производстве и их взаимные отношения регулируются единообразно. Порядок их работы и распределение продуктов подлежат центральному контролю. Производственные отношения выступают, как непосредственно общественные отношения: отношения отдельных лиц, поскольку они касаются хозяйственной жизни, выступают, как общественные отношения, определяемые обществом и изъятые из их частной воли. Само производственное отношение непосредственно понимается, как сознательно установленное всем обществом и желательное ему. С объяснением генезиса этого порядка и описанием его задача является исчерпанной. Экономическое исследование является здесь лишь историко-экономическим исследованием.

(„Здесь нет места теоретической экономии.

Совсем иначе обстоит дело тогда, когда регулирование производственных отношений не происходит сознательным образом. Тут общественные отношения выступают, как ненамеренный результат или, вернее, как бессознательно желанный, т.-е., как слепой и случайный результат бесчисленного множества независимых друг от друга индивидуальных действий. Сама общественная связь и ее регулирование становятся уже проблематичными, и появляется вопрос: что движет этим множеством людей, которые трудятся друг для друга, не ведая друг о друге, которые доставляют друг другу продукты, не зная друг друга: каков порядок их труда, что определяет распределение их продуктов, которые должны быть распределены для того, чтобы быть потребленными; что конституирует это множество людей, как общество, и каков закон движения этого общества, которое по своей внутренней сущности отличается от предшествовавших обществ“.

Именно эти вопросы, по мнению Гильфердинга, составляют содержание теоретической экономии, как особой науки¹⁾.

¹⁾ Постановка „проблемы теоретической экономии у Маркса“, ст. из „Neue Zeit“ 1904/5 г., перевод в сборнике „Основы проблемы политич. экон.“, Госиздат, 1922, стр. 111—113.

Еще отчетливее обосновывает ту же точку зрения Н. Бухарин:

„Политическая экономия, как наука, может иметь своим объектом исключительно товарное (resp. товарно-капиталистическое) общество. В самом деле, если бы мы имели перед собою какой-либо вид организованного хозяйства, будь это ойкосное хозяйство Родбертуса, первобытная коммуна, феодальное поместное или организованное общественное хозяйство социалистического „государства“,—мы не нашли бы там ни одной проблемы, разрешение которой составляет задачу теоретической экономии; эти проблемы касаются товарного хозяйства, в особенности его капиталистической формы; таковы проблемы ценности, цены, капитала, прибыли, кризисов, и т. д. Это, конечно, не случайность: как раз теперь, при системе большей и меньшей „свободной конкуренции“, наиболее ясно выражается стихийность экономического процесса, где индивидуальная воля и цель отходят на задний план перед объективно развивающейся целью общественных явлений; только товарному производству и его высшей форме—производству капиталистическому—свойственно то явление, которое Маркс назвал товарным фетишизмом... Именно здесь личные отношения людей в производственном процессе выражаются в безличных отношениях между вещами, и эти последние принимают форму „общественного иероглифа“ ценности (Маркс). Отсюда та „загадочность“, которая свойственна капиталистическому производству, и то своеобразие проблем, которые впервые появляются здесь для теоретического исследования...

„Только в неорганизованном общественном хозяйстве создаются специфические явления, когда взаимоприспособление различных отдельных частей „производственного организма“ идет помимо сознательно на это приспособление направленной воли людей... Словом, не сознательный расчет коллектива, а слепая сила общественной стихии, проявляющаяся в целом ряде общественно-экономических явлений—в первую голову рыночной цены—вот что характерно для современного общества и вот что составляет предмет экономической науки. При социалистическом строе политическая экономия потеряет свой смысл; останется лишь „экономическая география“—наука идиографического типа (конкретно-описательная, А. Б.)—информационная наука „экономической политики“; ибо отношения между людьми будут простыми и ясными, устраниется их вещественная фетишизированная форма, а на

место закономерностей стихийной жизни станет закономерность сознательных действий коллектива"...¹⁾

Итак— „неорганизованность“ системы производства (точнее, как мы видели, анархичность), на ее основе—стихийность, противоречия, фетишизм,— вот моменты, которыми определяется самая надобность в теоретической экономии; где их нет—она излишня: „прозрачность“ не требует теории. Так ли это? Разберем указанные моменты.

О товарном фетишизме, которым характеризуются „категории (основные понятия) буржуазной политической экономии“, Маркс пишет:

„Это— общественно-значимые, следовательно, объективные формы мысли в рамках производственных отношений данного исторически определенного способа производства—товарного производства. Весь мистицизм товарного мира... немедленно исчезает, как только мы переходим к другим формам производства“²⁾.

Формы мышления, объективные в рамках буржуазных производственных отношений, следовательно, объективные для буржуазной науки. Но объективны ли они для марксистской политической экономии? Конечно, нет. Однако и она создалась „в рамках“ капитализма? Да, но она вышла из „рамок“ его специфических производственных отношений. Как это возможно?

Исторически это стало возможно потому, что на арену социальной жизни вышел класс, принципиально борющийся против этих специфических отношений; и исследователь, становящийся на точку зрения этого класса, принципиально освобождается от их идеологической власти. Другими словами, наука пролетарская не подчинена буржуазной объективности.

Но как в самой теории выполняется выход из рамок этой объективности? Маркс это там же немедленно и поясняет, переходя к сопоставлению производственных отношений капитализма с отношениями иных социальных формаций, реальных или возможных: начав с полемически-пояснительного введения в форму „робинзонады“, берет затем условия феодализма, патриархальной

¹⁾ Н. Бухарин— „Политическая экономия рантье“, изд. В. С. Н. Х., стр. 48—50.

²⁾ „Капитал“, т. I, гл. 1, стр. 44 по русск. перев. Базарова-Степанова, изд. 1920. Курсив мой. А. Б.

крестьянской семьи, колективистической организации. В феодализме отношения эксплуатации не маскируются фетишами „капитала“ и „ценности рабочей силы“, а проявляются, как прозрачная связь личной зависимости. В крестьянском семейном хозяйстве разделение труда не маскируется товарообменом, а представляется столь же прозрачное, органически выросшее соотношение реальных жизненных функций. Коллективистическая организация обнаруживает свободным от затемняющих оболочек общественное разделение труда во всей его широте; при этом общественно-необходимое время, не одеваясь в костюм ценности товаров вообще и ценности рабочей силы в частности, выполняет ту же, что в товарном обществе, объективную роль регулятора соотношений между отраслями производства, равно как и регулятора распределения доли работников в потребляемом продукте¹⁾.

Это значит, что в основе марксовского разоблачения фетишизмов товарного общества лежит метод исторического сравнения. Производственные отношения капитализма—его формы сотрудничества и присвоения—развились из иных отношений, функционально с ними однородных, но более простых и потому легче анализируемых, и должны перейти в еще иные, если не более простые, то более прозрачные, не затемненные специфическими формами мышления, которые объективно порождаются противоречиями буржуазного мира и¹ сами для этого мира, для его сознания объективны. За теоретическим анализом, как его предпосылка, скрывается историческое исследование. Это особенно легко видеть на марксовском анализе форм обмена и ценности: их логическое—диалектическое—развертывание вполне выражает общий ход их реального развития²⁾.

Итак, историческая связь капитализма с иными формациями есть именно то основное орудие, посредством которого познание, не подчиняющееся „рамкам“ буржуазного мира, преодолевает его фетишизмы. И, раз это сделано, „непрозрачности“ нет: меновые отношения так и рассматриваются, как отношения людей; „стоимость“ товаров есть именно то, чего они „стоят“ обществу, т.-е. необходимый для их производства труд, и т. д. Но как раз с этого пункта и начинается марксистская теория

¹⁾ „Капитал“, т. I, гл. 1 (там же), стр. 45—47.

²⁾ См. I том этого курса, отдел II, § 6 (зарождение и развитие обмена). стр. 61—77.

экономики капитализма. Самый момент раскрытия затемнявших познание форм мышления еще не относится к ней: он принадлежит учению об идеологиях. Таким образом наша экономическая теория имеет дело уже с прозрачными производственными отношениями; старая же брала их в непрозрачном виде, а потому многое не могла рассмотреть и путалась в самом важном. Это—существенная разница между той и другой; но отсюда вполне ясно, что экономическая теория отнюдь не кончается там, где объект ее становится прозрачным; напротив, именно там лежит начало ее принципиальной победы над его тайнами и загадками—но уже не „мистическими“, а естественными, такими, какие представляет для познания всякий реальный объект в его конкретной сложности; ибо иметь перед собою „прозрачный“ объект вовсе еще не означает—знать его закономерности.

Поясним это простой аналогией из микроскопической техники. Непрозрачный препарат, положим, из тканей животного часто может быть „просветлен“, т.-е. сделан прозрачным, через промывание подходящим реактивом. Разве тогда прекращается надобность в его исследовании? Нет, но только тогда оно гораздо успешнее, под микроскопом выступает более глубокое строение ткани. Буржуазная экономическая теория рассматривала отношения капитализма в „не просветленном“ виде и не могла поэтому видеть их глубокого, основного строения, а овладевала только их поверхностью; марксовская теория „просветила“ их и проникла в их глубину. Но „просветление“ не составляет сущности исследования; и препараты, которые сами по себе прозрачны, исследовать все-таки требуется; и часто загадок в них вовсе не меньше. Думать, что прозрачные производственные отношения людей не заключают в себе вопросов для теории, тем более ошибочно: это объекты еще несравненно более сложные, чем препараты тканей.)

Для понимания феодальных формаций, полагают Гильфердинг и Бухарин, никакой экономической теории не нужно. Большое заблуждение, которое легко опровергается фактами. Откуда, каким образом получилось самое понятие об экономике феодализма, как об особой определенной системе? Из простого исторического описания? Из „экономической географии“ феодальной эпохи или разных феодальных эпох? Безусловно, нет. Конкретно-описательный метод сам по себе совершенно не в силах познавательно объединить такие на вид различные формы, как европейский

средневековый строй, индусский кастовый, гомеровский, славяно-русский удельный, ранний египетский и т. д. Необходимы были большие усилия абстрактного анализа, чтобы во всем этом многообразии, отвлекаясь и от многочисленных пережитков родового строя, и от развивающихся в разной мере зародившейся товарно-менового, выделить основной структурный элемент этих форм—авторитарное производственное отношение, а затем основные, типические комбинации таких элементов—соседскую кооперацию патриархально-семейных крестьянских хозяйств общины, двойную цепь военных и мирных организаторов и т. д. При этом, между прочим, требовалось и разоблачение некоторого фетишизма, не товарного, а религиозного, чтобы под духовно-жреческой властью разглядеть реальные мирно-организаторские функции. А специфический закон населения, свойственный феодальным формациям, и как его выражение—тенденция земельной тесноты, с вытекающей из нее неизбежностью военных столкновений? А тенденция к „собиранию земли“—специфическая концентрация феодальных группировок? И для выяснения всех этих закономерностей не надо никакой теории, достаточно „истории с географией“?

Разумеется, все это и есть экономическая теория феодальных формаций. Правда, сами они ее выработать не могли, а для нас она уже мало актуальна, но отрицать ее реальность на этом основании никак нельзя. Она неразрывно связана с историей феодального хозяйства,—но большой ошибкой было бы думать, что экономическую теорию капитализма можно оторвать от его истории. Исходным пунктом всякого „абстрактно-теоретического“ построения служат, лишь в обобщенном и упрощенном виде, исторически наблюдавшие соотношения. К ним же приходится апеллировать не только в проверке результатов этих построений, но и в оценке самой их законности; абстракция имеет научный смысл только до известных пределов абстрагирования, за которыми она превращается в сколастиическую, бесплодную игру произвольными понятиями.

Так, напр., решение вопроса об абсолютной ренте, о самом ее существовании, о том, сводится ли она всецело к ренте дифференциальной, и т. п.—решение этого теоретического вопроса невозможно во „вне исторической“ его постановке. И оно связано не только с историей самого капитализма, но еще с историей феодальной системы, где лежат корни этой „абстрактной“ категории.

По снятии оболочки фетишизмов, в производственной системе капитала обнаруживается не только аппарат сотрудничества, но также реальные противоречия, возникающие из его анархичности в целом, и стихийность его действия. Именно здесь Гильфердинг видит ту специфическую сложность объекта и трудность вопроса, которыми определяется необходимость в особой теоретической науке, какой не требуется для феодальной или социалистической системы, по его мнению, свободных и от противоречий, и от стихийности.

Первая ошибка здесь фактическая. Феодальное общество отнюдь не свободно от противоречий и от стихийности в своей основной структуре и в динамике развития. Противоречия и стихийность имеются, только специфически иные, чем при капитализме. Под обычно правовой оболочкой „сословий“ или „каст“ два господствующих класса делят между собою прибавочный труд крестьянства: противоречие, порождающее вековую борьбу жречества и светских феодалов. Экономическая „власть земли“, обусловленная данным способом производства, и вытекающий из него же закон населения определяют развитие жестоких противоречий „земельной тесноты“, а они — постоянно возобновляющуюся борьбу феодально-структурных единиц, вне которой невозможно понять динамику этого мира. Внутренний консерватизм, органически присущий авторитарным производственным отношениям, вносит в эту динамику постоянное, глубокое противоречие особого типа, и т. д. „Стихийности“ соотносительно, может быть, даже не меньше, чем в иных формах товарного хозяйства, и стихийности, конечно, социальной, хотя и натурально-хозяйственной. Если она, в общем, не столь сложна в своих проявлениях, как стихийность капитализма, то это значит, что и теоретическая экономия феодального общества более проста — и только.

Без экономического анализа, т. е. „теории“, не может быть научной „истории народного хозяйства“ — она превратилась бы в беспринципное, методологически смутное „описание“ смены экономических фактов. Всякая экономическая формация, более того — всякая особая фаза отдельной формации подлежит теоретическому анализу. Ведь выполнен таковой анализ для простого товарного хозяйства, для капитализма торгового, промышленного, финансового. Что же все это вместе — одна „теоретическая экономия“, свободная от „истории народного хозяйства“, или наобо-

рот? Разумеется, ни то, ни другое. Наука—живое, развивающееся целое, в котором можно, опять-таки силою абстракции, мысленно выделить моменты теоретико-аналитический и исторический, но не реально их разорвать¹⁾.

Но, может быть, все-таки теоретическая экономия кончается на капитализме? Может быть, устранение его специфических противоречий и стихийности, переход к социализму означает такое колоссальное упрощение экономики, что ее теоретический анализ на деле станет излишним; все станет слишком понятным и ясным, достаточно знать, где находятся средства производства и рабочие силы („экономическая география“), чтобы без всякой специальной теории обыкновенное практическое сознание могло вырабатывать всю систему необходимых директив для планомерной организации производственных отношений человеческого коллектива („экономическая политика“)?

Легко раскрыть крайний утопизм этого воззрения. Оно совершенно чуждо мысли о реальной сложности общественных явлений, а тем более в целостном масштабе национальной или, вернее, мировой экономики, и чуждо понимания реальных функций научной теории. Далеко недостаточно обществу взять в свои руки организацию производственных отношений, чтобы она стала простым делом, не требующим научно-теоретического исследования, т.-е. лежащим в рамках „здравого смысла“, хотя бы и коллективного.

Начнем с иллюстрирующего факта. Перед органами, управлявшими национализированной промышленностью Советской России в 1920—1921 г.г., стояла задача, подобная по своему типу, но несравненно менее широкая и более простая: надо было наличные запасы сырья, топлива и продовольствия распределять по сократившимся в числе и размерах отраслям индустрии, чтобы они могли сколько-нибудь согласованно работать. „Экономическая

1) Буржуазная наука на самом деле стремилась и стремится именно к такому разрыву. И хотя, в сущности, даже ей он не удается до конца,—но все-таки получаются достаточно показательные продукты: с одной стороны—вневременные и внепространственные теоретические построения в духе „предельной полезности“, „предельной производительности“ и т. п. (нам придется их рассматривать в дальнейшем), с другой—ползуче-описательный „историзм“, совершенно неспособный раскрывать действительные механизмы исторического развития. На этих путях не стоит следовать за буржуазной наукой.

география" была достаточно известна, для „экономической политики" имелись высоко-компетентные органы. Но экономически-организационной теории не было; не было даже понятия о той закономерности, которую определяется возможное равновесие разных отраслей промышленности. Разразился кризис топлива и сообщений. Противоречия рынка, стихийность капитализма никакой роли играть в нем не могли,—однако по своим проявлениям, по своей стихийной логике он был весьма сходен с промышленными кризисами прежних времен.) Масса паровозов стояла за недостатком топлива, а в то же время недостаток топлива обострялся невозможностью подвезти его из мест заготовки; недостаток продовольствия мешал усилению работ, необходимому для борьбы с кризисом,—а подвозу продовольствия препятствовало все то же обесценивание транспорта, и т. д. Вся картина являлась как-бы сурвым указанием на то, что соотношения между отраслями производства подчинены определенной закономерности, которую надо научно знать, чтобы целесообразно организовать эти соотношения; иначе она проявляет себя, пользуясь сравнением Маркса, как закон тяжести в падении кровли дома на тех, кто этого закона не сумел учесть при постройке.)

Неизмеримо более сложна задача всесторонней планомерной организации развивающегося мирового производства с его тысячами отраслей, которые еще умножаются, и мирового распределения при растущем разнообразии, меняющемся характере и уровне потребностей разных групп работников населения не рабочих возрастов. Решать эту задачу без научно-теоретических основ, дающих ясное понимание функциональных связей между отраслями производства и между живыми элементами этих отраслей, функциональных зависимостей между формами труда и потребностями работников, и т. д., значило бы идти от кризисов к кризисам. Научная „экономическая политика" просто немыслима без научной экономической теории.)

Таким образом для нас теория капитализма представляет лишь аналитический момент в одном из этапов единой экономической науки, исторической в своем целом, по своему основному характеру. Этап этот наиболее актуален теперь непосредственно и наиболее важен для предвидения будущего развития; оттого мы изучаем его с гораздо большей обстоятельностью, чем другие.

б) Метод и исходный пункт исследования.

Теория капитализма для нас, как и для буржуазно-классической школы, неразрывно связана с применением абстрактно-аналитического метода. Действительно, только он способен дать ясную ориентировку в том своеобразном, сложнейшем водовороте борющихся жизненных тенденций, какой представляет из себя социальный мир капитализма.

Напомним основную характеристику абстрактно-аналитического метода. Это высший тип индуктивного познания, постоянно завершающий собою применение низших ее видов, эмпирически-описательного и статистического, постоянно опирающейся на их предварительные обобщения. Абстрактный анализ выделяет и обосновывает влияние различных условий, свойственных данной системе, каждый раз устранив,—лишь идеально, разумеется,—влияние других условий; таким образом он упрощает явления социальные, подобно тому как в науках естественных метод точного эксперимента, устранив—но уже реально—те или иные осложняющие условия, упрощает явления внешней природы. На этом пути абстрактный анализ устанавливает, как мы знаем, различные тенденции изучаемых процессов. А затем он уступает место научной *дедукции*, которая последовательно комбинирует действие найденных тенденций, и таким способом шаг за шагом ведет нас к пониманию данных процессов во всей их конкретной сложности.

с) Исходный пункт анализа.

Весь наш анализ будет исходить из одной руководящей точки зрения, которую можно обозначить, как *принцип жизненного равновесия социального целого*.

Первичное и основное условие жизни всякой общественной системы есть ее успешная борьба с внешней природой за свое существование; а следовательно, первичная и основная тенденция какую мы здесь неизбежно находим, это—тенденция приспособления. Другими словами, всякая общественная система, в своем целом и в своих жизненно-необходимых частях, должна достигать практическо-достаточного удовлетворения своих потребностей; иначе происходит ее полное или частичное разрушение, т.-е.,

тогда перед нами нет именно того, что мы называем системою, и что обязательно предполагает реальную организованность, устойчивость: сохранение в равновесии, по меньшей мере, в прогрессивном развитии—при более благоприятных условиях.

Далее, мы знаем, что приспособление общественной системы в ее борьбе за существование совершается активно, посредством трудового процесса: это социально-трудовое приспособление. С одной стороны, затраты трудовой энергии общества, или его производительная деятельность, с другой стороны—распределение в его среде продуктов этой деятельности должны быть организованы таким образом, чтобы каждая его часть выполняла свою функцию, жизненно-полезную и нужную для целого, и чтобы при этом оставалась способной к дальнейшему выполнению такой функции. Тогда мы имеем дело с настоящей социальной системою.

Но относится ли все это к обществу капиталистическому хотя бы в такой степени, чтобы не было познавательно-бесплодным применение к нему самого понятия „системы“? Мы говорим о капиталистической организации, но нам известно, что в своем целом мир капитализма „неорганизован“. Наблюдая его, мы часто видим разрушение отдельных его частей, иногда очень значительных и важных. Для человеческих единиц, входящих в его состав, соответствие между трудовыми усилиями и удовлетворением потребностей то и дело нарушается то в сторону паразитического вырождения, то—гораздо чаще—в сторону истощения, подрывающего способность к дальнейшему труду. Словом, может казаться, что гораздо более существенна и типична для капитализма неприспособленность, отсутствие жизненного равновесия, чем устойчивость и приспособление. Но это иллюзия, хотя очень естественная и имеющая глубокие основания.

Дело в том, что при наблюдении социальной жизни внимание неизбежно гораздо сильнее привлекается ее противоречиями и диссонансами, проявлениями в ней неприспособленности, чем фактами соответствия и взаимного приспособления образующих ее элементов. Иначе и не может быть, потому что смысл познания заключается в активности, в практических потребностях и стремлениях: где имеется неприспособленность, там возбуждается активный интерес, возникает задача изменить то, что есть, уничтожить противоречие; где этого на-лицо нет, там нет мотива, останавливающего внимание, стимулирующего познавательную деятель-

ность. Это и сказывается на привычной для нас концепции капитализма. В действительности же, хотя из всех известных нам типов экономической организации капитализм является, бесспорно, наиболее неуравновешенным, тем не менее, и в его пределах случаи жизненного равновесия и устойчивости далеко преобладают над противоположными.

Капиталистическая система, как и всякая другая общественная система, непрерывно воспроизводит себя и в своем целом, и с относительно большой точностью—в своих частях. Как ни быстро бьется пульс капиталистической жизни, как ни резки с точки зрения отдельных личностей его колебания, но, сравнивая моменты, разделенные, напр., одним-двумя средними оборотами общественного капитала, мы находим, за исключением мелких деталей, одну и ту же картину, с теми же соотношениями и пропорциями различных отраслей производства, с сохранением даже, в значительном большинстве, тех же самых предприятий. Сменились, конечно, в выполнении различных производственных функций сотни тысяч человеческих личностей; но это свойственно всякой экономической системе и не мешает ей оставаться тою же самой, как не мешает тождеству потока замещение новыми всеми капель воды, из которых он состоит; в мире капитализма подобная смена совершается только быстрее, чем в прежних фазах производственного развития. Сотни тысяч людей, обладающих рабочей силой, лишены возможности участвовать в производстве, их потребности не удовлетворяются сколько-нибудь достаточно; их жизненная энергия растрачивается бесплодно. Но для капитализма, взятого в целом, и это отнюдь не есть проявление простой неприспособленности; нет, эти сотни тысяч тоже выполняют своеобразную экономическую функцию—резервой армии для капитала, необходимой ему время от времени для расширения производства; и потому капитализм так же воспроизводит непрерывно, хотя и с колебаниями, свой запас безработных, как и другие части своего гигантского механизма; а во избежание чрезмерной его растраты, гибели слишком большого количества рабочих сил, которые могут еще понадобиться впоследствии, капитализм даже в значительной мере поддерживает их жизнь посредством различных видов государственной и общественной благотворительности т.-е. данный орган системы получает в распределении такую долю, какая в общем необходима для продолжения данной его функции.

Если мы возьмем для сравнения моменты, разделенные более значительным промежутком времени, то найдем уже крупные изменения,—но главным образом в пропорциях общественного аппарата; основное же строение остается прежнее, тип не изменяется. Но так изменяются в процессе роста все жизненные системы. Конечно, и процесс роста сам по себе уже выходит из рамок равновесия, т.-е. простого сохранения системы; тем не менее, так как это сохранение реально является его предпосылкой,—можно сказать, заключается в процессе роста, как меньшее в большем, элементарное в сложном,—то и здесь исследование должно начинаться именно с условий простого сохранения или жизненного равновесия.

Возможно еще соображение, что капитализм нельзя вообще принимать в анализе как единую жизненную систему потому, что в своем целом он экономически „не организован“. Но, как мы уже указывали, термин „неорганизованность“ имеет здесь лишь относительное значение и выражает отсутствие той специальной и высшей организованности, какая свойственна, напр., современной технике,—отсутствие сознательной планомерности, заранее устраниющей всякие разрушительные противоречия в трудовом процессе. Иная же, низшая организованность у капитализма имеется; она воплощается в единстве рынка. (Рынок в его национальном и мировом развитии, с его меновыми нормами обычая, морали и права, есть универсально-централизующий аппарат; он делает капитализм единой экономической системой, которую абстрактный метод и должен брать именно как таковую.) Далее, по основному характеру абстрактно-аналитического метода, его исходным пунктом должна служить идеально-упрощенная, ко и логически законченная концепция изучаемого объекта. В данном случае это будет, следовательно, система чисто-капиталистическая, и притом вполне капиталистическая; из нее нами мысленно, силу абстракции, устранены, с одной стороны, элементы и условия докапиталистические, с другой стороны—отношения, принадлежащие уже к высшей, исторически-последующей формации; но в ней имеются налицо все элементы, условия и отношения, присущие капитализму и его определяющие.

Так мы получаем первую, предельную абстракцию для нашего анализа, ту наибольшую степень упрощения, которая будет его исходным пунктом.

II. Трудовая стоимость и меновая ценность.

а) Сумма производительного труда и сумма потребностей капиталистического общества.

Задача жизненного равновесия для всякой социальной системы сводится к тому, чтобы при помощи всей суммы производительного труда, которую она располагает, достигнуть удовлетворения всех потребностей, с которыми связано сохранение системы в ее нормальном виде. Теперь, по отношению к обществу капиталистическому, нам следует ближе определить, что представляет, т.-е. из каких элементов слагается его сумма производительного труда, и как следует понимать сумму его потребностей.

Прежде всего очевидно, что для самой возможности сравнения и соизмерения той и другой суммы в научном анализе необходимо, чтобы оба понятия— „производительный труд“ и „потребности производственной системы“ — были строго соотносительны. Эта соотносительность позволяет нам без малейшего риска впасть в ошибку определять, в случае надобности, одно из двух понятий через другое. Особенно нуждается в точном определении концепция „производительного труда“, которая до сих пор применялась экономистами в различных, и зачастую противоречивых значениях. Из предыдущего непреложно следует, что производительным трудом мы должны называть всякий труд, направленный к удовлетворению потребностей производственной системы. Исследуем ближе, что это означает.

Потребности производства многочисленны и разнообразны; они охватывают собою все, что необходимо для сохранения и воспроизведения рабочей силы общества, вообще для поддержания в нужных для него размерах жизни, здоровья и пригодности чле-

нов его экономической организации, а также и все, что необходимо для создания и непрерывного возобновления материальных средств производства, т.-е. его орудий и материалов. Таким образом, совершенно ясно, что, напр., труд рабочих, производящих пишущую машину, инструменты, добывающие уголь и нефть, строящих жилища и фабричные здания, должен быть признан производительным, и в этом отношении никаких разногласий между экономистами не наблюдается. Но посмотрим, как обстоит дело с другими видами и отраслями человеческого труда.

Во всякой сколько-нибудь развитой и сложной системе производства наряду с непосредственным физическим трудом существует организаторский труд, заключающийся в руководстве работами других членов организации. При капитализме такой деятельностью бывает занято всегда огромное количество людей в различных предприятиях: директора, инженеры и прочие техники, старшие мастера и т. п. Вызывается ли эта деятельность потребностями производственной системы? Никакого сомнения в ответе быть не может: труд организаторский удовлетворяет одну из необходимейших потребностей производства—потребность в технической и отчасти также экономической планомерности. Но если так, то это—производительный труд.

Затем, у производственной системы есть потребность в непрерывном замещении убывающей, благодаря естественным причинам, рабочей силы: люди умирают, теряют способность к труду от болезней, старости, и т. п. Те новые работники, которыми пополняются ряды армии труда, должны обладать не только достаточной физической силой и здоровьем, но также техническим умением, знанием своего дела: им необходимо предварительно обучиться своей специальности. Обучение же это требует известной затраты труда как со стороны их самих, так и со стороны тех, кто их обучает. Такой труд, следовательно, соотносителен определенной, насущной потребности производственной системы, а потому должен быть признан производительным. И это относится не только к непосредственно-техническому воспитанию работников. Современное машинное производство для своей успешности нуждается именно в таком работнике, который, помимо знания физических приемов работы с той или иной машиной, обладал бы известной общей интеллигентностью, известным уровнем развития ума и воли; и требуемый уровень тем выше, чем сложнее и совершеннее становится сама машинная техника. Очевидно,

видно, что вся педагогическая работа, интеллектуально подготавливающая пригодного работника, относится к области производительного труда.

Возьмем еще одну отрасль. Известно, что сколько-нибудь развитые и сложные экономические организации, раскидываются на обширные пространства; территория же современного капитализма охватывает почти всю поверхность земного шара. Соответственно этому, огромные массы рабочих сил заняты в перевозочной промышленности и в различных предприятиях по технике взаимных сношений между людьми—почта, телеграфы, телефоны и т. д. Следует ли считать весь этот труд производительным? Для производственной системы он безусловно необходим. Продукт, не доставленный на рынок и затем потребителю, практически равнозначен незаконченному продукту: его „потребительная ценность“, или общественная полезность, не может еще быть реализована, он в социально-экономическом смысле недоделан. Такую же насущную потребность производственной системы, как транспорт продуктов, представляет перемещение рабочих сил; а технически-организаторские функции, в их современном масштабе, не могут выполняться без помощи почты, телеграфа и других специально организованных методов сношений. Этим вопрос вполне решается.

На подобных примерах легко выясняется самая простая и методологически самая целесообразная концепция „производительного труда“. Мы видим, что производительный труд может являться в самых различных, с технической стороны, видах,— как труд, создающий или перемещающий продукты, как физический или духовный и т. д. Его экономическая характеристика вся сводится к тому, что он удовлетворяет потребностям данной производственной системы, (что он общественно-полезен с точки зрения борьбы ее за существование.) В жизненном учете социальной организации это—весь ее реальный трудовой актив.

Но здесь мы сталкиваемся с иными взглядами, еще довольно распространенными в науке. Классическая экономия принимала другой критерий для „производительного“ или „непроизводительного“ характера человеческого труда. По ее обычному определению, „производителен“ только такой труд, который непосредственно воплощается в материальных продуктах: физический труд большинства современных рабочих, крестьян, ремесленников. Для тех же случаев, когда материальных продук-

тов из данного труда прямо не получается, а в то же время он данной системе производства объективно нужен, создается особая категория — „непроизводительного“ общественно-полезного труда. Такова оказывается работа организаторская, педагогическая, транспортная, научная, литературная и т. д. Легко показать, насколько подобное разграничение нецелесообразно.)

Оно искусственно в самой своей основе, потому что органически-целостную систему социального труда оно разбивает на две части, реально одна без другой невозможные и немыслимые. Так, всю организаторскую и научную работу в современном производстве, т. е. ту его сторону, на которой и основывается его колоссальное развитие, эта точка зрения относит к „непроизводительной“ области. Но если труд обдумывания, составления технического плана, контроля над его выполнением и т. д., непроизводителен, то окажется, что по мере развития высших и наиболее совершенных методов борьбы с природою труд рабочих вообще все в большей своей части приобретает „непроизводительный“ характер. В самом деле, переход к автоматическому типу механизмов чрезвычайно уменьшает роль физических усилий и материальных действий в работе при машинах: функция рабочего развивается в сторону интеллектуальной деятельности, по всему своему психическому содержанию сближаясь с „организаторской“ функцией—размышления, внимания, контроля и пр., объектом которых является машина или система машин, взявшая на себя наибольшую долю прежней физической работы. Получается вывод о прогрессивном упадке производительного труда в жизни общества, совершающего свою технику; своей несообразностью он ясно указывает на ошибочность взятых предпосылок. Но насколько неправильно при учете труда разъединять „интеллектуальный“ и „материальный“ момент в работе отдельного лица, настолько же неправильно разделять их целой пропастью, когда они выполняются различными людьми в одной экономической системе.

Коренная методологическая ошибка разбираемого взгляда состоит в том, что социально-научному исследованию он навязывает чуждую ему точку зрения „материальности“ и „духовности“ явлений. Всякий трудовой процесс—без исключений—есть психо-физиологический акт, и вне „материальных“ жизненных процессов вообще немыслим; а стать социально-полезным он в особенности никоим образом не может, не реализовавшись

в „материальных“ изменениях внешней среды. Напр., „духовная“ работа писателя должна для этого воплотиться в „материальной“ рукописи; следует ли по такой причине считать его труд производительным, поскольку он водит пером по бумаге, и непроизводительным, поскольку он в то же время вырабатывает содержание и литературную форму для своего сюжета? Даже работа специалиста-руководителя в мастерской приводит к удовлетворению потребности производства лишь при том условии, что выражается в словесных указаниях его подчиненным, т.-е. принимает физическую форму звуковых колебаний воздушной среды. Произвольность разграничения соединяется, таким образом, с практической его неопределенностью.

Эти воззрения старой политической экономии не были Карлом Марксом подвергнуты той критике, которой они заслуживают: в общем он сам их поддерживал. И внутренняя их противоречивость у него ярко обнаруживается в том, что его логически необычайно строгий ум не в состоянии последовательно их выдерживать. Так, в некоторых местах „Капитала“ организаторская функция рассматривается, как производительная¹⁾. Затем, в то время как в одних местах все издержки обращения товаров—

¹⁾ См., напр., том I, отдел 5, начало главы 14-й (стр. 468—9 перевода Базарова и Степанова):

„Пока процесс труда является чисто-индивидуальным, один и тот же рабочий объединяет все те функции, которые впоследствии разделяются. Он сам контролирует свое индивидуальное присвоение предметов природы для своих жизненных целей. Впоследствии он становится объектом контроля. Отдельный человек не может воздействовать на природу, не приводя в движение своих собственных мускулов под контролем своего собственного мозга. Как в самой природе голова и рука принадлежат одному и тому же организму, так и в процессе труда соединяется головной и ручной труд. Впоследствии они разъединяются и доходят до враждебной противоположности. Продукт превращается, вообще говоря, из непосредственного продукта индивидуального производителя в общественный, в общий продукт коллективного рабочего, т.-е. в продукт рабочего персонала, комбинированного“ таким образом, что различные его члены ближе или дальше стоят от непосредственного воздействия на объект труда. Поэтому уже самый кооперативный характер процесса труда неизбежно расширяет понятие производительного труда и его носителя, производительного рабочего. Теперь для того, чтобы трудиться производительно, нет необходимости непосредственно прилагать свои руки: достаточно быть органом коллективного рабочего, выполнять одну из его подчиненных функций.“

хранения, перевозки, рассылки и т. д.—признаются „*faux frais*“, непроизводительными тратами с точки зрения капиталистического хозяйства в его целом, в других местах различаются уже два рода этих издержек: транспорт, отсылка товаров и т. п. выступают, как „дополнительные процессы производства, происходящие в пределах процесса обращения“, а функции, зависящие от самой формы обращения продуктов при капитализме,—от формы товарной, меновой,—т.-е. такие, как отыскание покупателей, работа приказчиков, связанная с актом продажи, труд служащих по организации кредита и пр., характеризуются как специальные „*faux frais*“ капитализма¹⁾.

Но и это последнее разграничение, как нетрудно убедиться при ближайшем анализе, не может и не должно служить критерием „производительных“ и „непроизводительных“ видов труда в рамках капиталистического обращения. (Бесспорно, что целый ряд экономических функций, свойственных капитализму, был бы излишним при иной организации производства, более совершенной, или хотя бы даже менее совершенной, но просто более стройной, не анархичной.) Однако при капитализме эти функции объективно необходимы, служат для удовлетворения действительной потребности данной производственной системы. Если мы стоим на исторической точке зрения, то нам нельзя определять производительный или непроизводительный характер труда с точки зрения какой-либо иной, а не этой самой организации; иначе открывается простор произволу в исследовании. Нельзя даже с уверенностью предвидеть, какие элементы нынешней организации станут ненужными на следующих ступенях развития. Такие сохраняются в преобразованных формах. Жизненная необходимость в разные эпохи создает или уничтожает целые отрасли производства; пока они существуют, мы не можем рассматривать их, как „непроизводительные“, раз общество теперь в них нуждается. Производство, напр., тех или иных предметов роскоши может быть связано с капитализмом, как системой эксплоататорской, и вместе с ним исчезнет; напротив, другие предметы нынешней роскоши, вероятно, войдут тогда же в общий обиход. Должны ли мы на этом основании работников, производящих одни из предметов роскоши, считать непроизводитель-

¹⁾ Из указанных оттенков первый резко формулирован, напр., в 6-й главе II тома, второй—в 17 главе III тома.

ными, производящих другие—производительными? Исследуя жизненные тенденции капитализма, мы обязаны принимать его вместе с той исторической необходимостью, которая ему присуща; различать же в ряду его постоянных потребностей такие, которые его переживают, и такие, которые отпадут с его крушением, на этой стадии анализа совершенно бесплодно и рискованно; напротив, только изучив его собственные тенденции до конца, можно получить серьезную опору для гипотетических выводов о том, какие его стороны, какие элементы его трудового процесса будут устранены в обществе социалистическом, какие и там останутся на более или менее долгий период развития. Что же касается форм вечных и независимых ни от какой исторически-преходящей организации, то говорить о таковых у нас нет до сих пор никаких объективных оснований.

Впрочем, сам Маркс именно по поводу капитализма настаивает на строго историческом понимании производительного труда. Он указывает, что эта экономическая система „суживает понятие производительного труда“.

„Капиталистическое производство,— говорит он,— есть не только производство товара, но по самому существу своему есть производство прибавочной стоимости. Рабочий производит не для себя, а для капитала. Поэтому недостаточно того, что он вообще производит. Он должен производить прибавочную стоимость. Только тот рабочий производителен, который производит для капиталиста прибавочную стоимость, или способствует самовозрастанию стоимости капитала. Так, напр., школьный учитель,— если позволительно взять иллюстрацию вне сферы материального производства,— является производительным рабочим, когда он не только обрабатывает детские головы, но и обрабатывает самого себя для обогащения капиталиста. Вложит ли этот последний свой капитал в кожевенное или в колбасное производство, от этого рассматриваемое отношение нисколько не изменяется. Поэтому понятие производительного рабочего отнюдь не исчерпывается отношением между деятельностью и ее полезным эффектом, между рабочим и продуктом его труда: оно включает в себя также специфически-общественное, исторически возникшее производственное отношение, делающее рабочего непосредственным орудием возрастания капитала“¹⁾.

¹⁾ „Капитал“, т. I, глава 14 (стр. 470, русск. пер. Баззрова и Степанова).

Эти соображения совершенно правильны и необходимы, поскольку дело идет о вполне завершенной, абстрактно-чистой капиталистической системе, т.-е. той идеализированной ее концепции, которую мы должны сделать исходным пунктом своего анализа. В конкретном капиталистическом обществе, среди которого мы живем, с его разнообразными настроениями, разумеется, не всякий производительный труд принимает такую специфически-определенную форму. Труд крестьянина, ремесленника, ученого может и не быть источником прибыли для капитала,—хотя в огромном большинстве случаев он на деле уже эксплуатируется если не промышленным, то торговым капиталом. Но для нашего теоретического исследования эти усложняющие частности могут быть приняты в расчет лишь на последующих его ступенях и они нисколько не изменяют той основной тенденции капитализма, которая составляет его сущность, и которая поэтому должна быть определяющей для нашей схемы. Таким образом, нам придется первоначально представить весь производительный труд мыслимого нами капиталистического общества „производительным“ и для самовозрастания капитала,—то-есть самое это общество состоящим только из капиталистов и наемных рабочих, идеализируя первых в виде класса не трудащегося, а исключительно потребляющего и накапливающего, вторых—в виде класса, охватывающего все виды социально-необходимого труда.

Надо заметить, что как раз классовую точку зрения некоторые считают возможным использовать для возражений против изложенного понимания производительного труда. Они указывают, что при этом наемные рабочие физического труда смешиваются в один производительно-трудовой класс вместе с интеллигентно-техническим и административным персоналом современных предприятий; а, между тем, действительные классовые тенденции здесь и там весьма различны. Но легко показать, что аргументация эта основана на недоразумении.

Принадлежность лиц и групп к составу того или другого класса далеко еще не определяется тем, занимаются они производительным трудом или нет. Так, рантьеры представляют наиболее законченный тип класса капиталистов,—однако даже между ними можно найти людей, которые посвящают немало времени работам бесспорно производительным, иногда научным, иногда технически-изобретательским, и даже просто полезному физиче-

скому труду; мы знаем, напр., как много сделали для техники автомобильного и авиаторского дела любители-спортсмены; это не мешает им оставаться представителями рантьерства, как Людовику XVI его слесарное мастерство не мешало оставаться представителем помещичьей аристократии. С другой стороны, и рабочий, который положил за время хороших заработков некоторую сумму в ссудо-сберегательную кассу и получает проценты, еще не перестает от этого принадлежать к пролетарскому классу. Экономические функции той или иной личности или целой группы могут быть очень сложными, и в наше время очень часто имеют смешанный характер; но обыкновенно одна из этих функций настолько преобладает над остальными, что подавляет их влияние, и вполне определяет собою классовый тип личности или группы. Это специально относится к различного рода наемным служащим, выполняющим технически-организаторскую, счетоводную и т. д. работу. Высшие разряды таких служащих—директора, инженеры—находятся в особом экономическом положении: с одной стороны, их авторитарная роль, их значительная власть над другими служащими и рабочими производственно обосабляет их среди трудающегося коллектива, и уже сама по себе порождает особые классовые тенденции; с другой стороны, благодаря особенному значению их индивидуальных способностей и знаний для прибыльности предприятия, оплата их труда не зависит всецело от его количества и сложности, и не подчиняется обычной норме эксплоатации, а бывает по большей части гораздо выше; это делает данную группу представителями не только производственного труда, но и капиталистического дохода; последнее влияние и бывает в наше время почти всегда решающим для их классовой физиономии. Напротив, низшие слои интеллигентно-технического персонала и прочих служащих, не занимая авторитарной позиции в системе труда и не имея никакой доли в капиталистическом доходе, по мере своего развития все очевиднее обнаруживают тяготение в сторону пролетарски-классового коллектива¹⁾.

¹⁾ В общем, при нормальном, сколько-нибудь уравновешенном капитализме, „организаторская“ интеллигенция представляет не класс, а социальную группу, и даже вернее, как видим, не одну, а две, довольно различных. Тем не менее собственно в производстве она занимает особое положение, которое несходно с положением рабочих физического, „исполнительского“ труда, имеющих дело с непосредствен-

Таким образом, с классовой точки зрения, оказывается неудобной и противоречивой именно старая концепция „производительного труда“, резко отделяющая от „производительных“ рабочих социальные элементы, объективно сходные с ними по положению в экономической системе. Наиболее при этом бросается в глаза странное обоснование миллионов рабочих транспортной промышленности, как „непроизводительных“, от всего остального рабочего класса,—тогда как сама жизнь, вся история экономической и политической борьбы за последнее время, достаточно ярко показала их принципиальное единство и солидарность со всей массой пролетариата.

(В конечном итоге, разделение общественно-полезного труда на „производительный“ и „непроизводительный“ следует отвергнуть, как бесплодное усложнение, способное только запутывать анализ.) Всякий труд, удовлетворяющий общественную потребность и, следовательно,—объективно-нужный для данной экономической системы, должен быть признан производительным. Противопоставлять ему надо только социально-бездейственное существование и разрушительный труд,—общественный паразитизм и анти-социальную активность.

Это наиболее простая группировка явлений. Но и пользуясь ею, необходимо постоянно считаться с исторической изменчивостью социальных условий и потребностей, благодаря которой то, что было производительным трудом в одной фазе развития, может превратиться в его противоположность для другой фазы. Так, с точки зрения растущего мирового капитализма почти все функции, лежащие в области военного дела, должны быть отнесены к паразитизму и разрушительной деятельности. Но с точки зрения капитализма более низкой ступени—национального—это совершенно иначе. Тут милитаризм удовлетворяет насущную потребность производственной системы, организуемой национальным капиталом,—потребность в защите рынка от враждебного иностранного капитализма, в завоевании

ными сопротивлениями объектов внешней природы. Поэтому не исключена принципиально возможность ее превращения, при известных условиях, в настоящий класс, оформленный класс „для себя“, каким она была,—в оболочке жреческого сословия, при чистом феодальном строе. Но тот нормальный капитализм, анализ которого является нашей задачей, подобных условий не представляет, и потому нам незачем здесь с этой возможностью считаться.

новых внешних рынков, в увеличении разными путями своего богатства за счет других стран. „Производительность“ для национального капитала его военных „рабочих сил“, т.-е. их способность приносить ему прибыль, хорошо иллюстрируется историей пяти миллиардов французской контрибуции, которые так усилили процветание германской промышленности после войны 1870 года.

Впрочем, поскольку мировой капитализм вынужден бороться против зарождающейся в его недрах новой общественной организации, против элементов будущего общества,—постольку и для него милитаризм становится производительной, т.-е. общественно-необходимой функцией. В этой борьбе национальные капиталы разных стран, а потому и национальные их армии с первых же шагов мирового капитализма сознают свою принципиальную солидарность интересов; и отнюдь не случайным был более чем дружественный нейтралитет германской армии по отношению к войскам французской буржуазии, которые вели гражданскую войну против коммуны¹⁾. Но вопрос об отношении капитализма к высшей экономической формации подлежит рассмотрению на дальнейших ступенях нашего анализа.

Итак, мы принимаем капиталистическую систему, как единое целое, с определенной суммой производственных потребностей и соотносительно ей суммой производительного труда.

b) Абстрактно-простой труд.

Чтобы говорить о сумме производительного труда, как об определенной величине, для этого надо все конкретно-различные виды труда представлять себе сведенными к некоторой общей единице измерения. Такой единицей измерения для теоретического анализа является „абстрактный“ или „простой“ труд.

Маркс определяет „простой труд“, как „затрату простой средней рабочей силы, которой располагает телесный организм каждого обыкновенного работника, не обладающего никакой специальной подготовкой“²⁾. При этом надо иметь в виду не

¹⁾ Фактически, это была, как известно, серьезная поддержка. Немцы ускорили освобождение пленных французских солдат, чтобы помочь версальцам.

²⁾ „Капитал“, т. I, перевод В. Базарова и И. Степанова, стр. 11.

какого-нибудь „человека-вообще“, а именно среднего, физиологически и психически типичного члена данной общественной системы. „Простой средний труд,—замечает Маркс,— хотя и носит различный характер в различных странах и в разные культурные эпохи, тем не менее для каждого данного общества представляет величину определенную“. Так, для общества феодального „простая рабочая сила“ предполагала, судя по всему, большее развитие мускульного аппарата, чем это свойственно современному среднему работнику; но нынешний простой труд, соответственно условиям машинного производства, имеет своей предпосылкой большее среднее развитие мозга, интеллекта, известную общеобразовательную подготовку работника, вообще более значительную, чем прежде, сумму элементов культуры.

Каким же образом разные виды сложного, специализированного труда идеально приводятся к соизмеримости с простым „абстрактным“ трудом? „Сравнительно сложный труд,—говорит Маркс,— есть только возведенный в степень или, скорее, умноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого“. И автор „Капитала“ не останавливается дальше на вопросе о том, каков же должен быть коэффициент в этом умножении, от каких условий он зависит для того или иного частного вида сложного труда. Маркс только отмечает, что в меновом обществе процесс товарообмена стихийно выполняет требуемое соизмерение видов труда:

„Опыт показывает, что такое сведение сложного труда к простому совершается постоянно. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость (меновая) делает его равным продукту простого труда, и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда. Различные пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду, как к единице их измерения, устанавливаются общественным процессом за спину производителей и потому кажутся последним установленными обычаем“¹⁾.

Но если для Маркса, в пределах поставленной им критической задачи, было вполне достаточно такой констатации факта, то перед нами все же остается объяснительная задача, при том в более общей ее форме: сложный и простой

¹⁾ Там же, стр. 11.

труд существует не только в меновом, а во всяком обществе, и надо найти основу сведения его к соизмеримости для всякой экономической организации. Основа эта заключается опять-таки в соотносительности производительного труда с потребностями социальной системы.

Личные потребности человека являются потребностями производства постольку, поскольку сам человек есть рабочая сила общества, которую это последнее поддерживает, потому что она ему нужна. Чтобы выполнять свою общественно-полезную работу, человек должен впитывать в себя, ассимилировать трудовую энергию общества, воплощенную в продуктах, которые он потребляет. Таким образом, рабочая сила имеет свою трудовую стоимость, или представляет из себя кристаллизованный общественный труд, при каком угодно социальном строе; нет поэтому ничего удивительного, что в обществе меновом она приобретает и стоимость меновую, подобно другим „кристаллам труда“.

Сложная рабочая сила отличается от простой не только тем, что служит источником „квалифицированного труда“, но также тем, что может нормально функционировать лишь при условии удовлетворения более значительных и более разнообразных потребностей самого работника, т.-е. при условии потребления большего количества различных продуктов. Следовательно, сложная рабочая сила обладает большею трудовой стоимостью—стоит обществу большего количества его труда. Зато она и дает ему более сложный, т.-е. „умноженный“, живой труд. Если какой-нибудь технически-искусный работник или работник-организатор в производственном пассиве общества выступает как величина, положим, в пять раз большая, чем средний необученный работник, представитель „простого“ труда, то, при соотносительности общественного труда с потребностями производства, первый и в трудовом активе общества должен давать величину в пять раз большую: живой труд пропорционален рабочей силе. Тратя на поддержание данного своего работника в пять раз больше труда, чем на простого среднего работника, общество тем самым экономически учитывает трудовую функцию первого, как эквивалентную пятёрной функции второго. В меновой системе этот учет одевается в оболочку рыночного соотношения, отражаясь как в меновой ценности товаров, произведенных при участии сложного труда, так—при капитализме—и в меновой ценности рабочей силы.

Существует, однако, и у нас даже более распространена другая объяснительная концепция, исходящая из своеобразно-бухгалтерской точки зрения. Она такова. Сложная, квалифицированная рабочая сила есть результат специального обучения, специальной подготовки. Стоимость всего этого и учитывается в стоимости продукта, производимого рабочей силой за все время ее деятельности. Так, напр., допустим, работнику надо учиться 5 лет, чтобы достигнуть известной квалификации, да обучавшие его затратили на него известную сумму труда; кроме того, испорчено в самом процессе обучения некоторое количество материалов, изношено некоторое количество орудий, и т. д.; пусть все это, по надлежащему сведении к простому труду, представляет еще 5 трудовых лет. Затем, на основе своей квалификации, человек проработает, в среднем, 20 лет. В таком случае эти 20 лет представляют реально 30 лет простого труда, и квалификация выражается числом полтора, что типически и воплощается в полуторной, против неквалифицированного рабочего, заработной плате.

(Легко показать здесь целый ряд ошибок. Совершенно нелогично то, что работнику в оценке его рабочей силы засчитываются затраты, не им произведенные, как труд обучавших его, а в массе случаев также стоимость его содержания за время обучения (затраты со стороны его родителей), также стоимость испорченных материалов, и пр. А если мы эти элементы расчета откинем и будем принимать во внимание только его собственный труд в процессе обучения, то станут непостижимы сколько-нибудь высокие квалификации, напр., в 5, 6 раз,—а при капитализме бывают вполне нормальные, устойчивые оценки рабочей силы и выше этого. Для шестерной квалификации потребовалось бы, примерно, 25 лет предварительного обучения при 5 годах эффективной работы,—картина невероятная.

Решение вопроса становится вполне очевидным и окончательным, если поставим вопрос так. Допустим, что по этому „бухгалтерскому“ (хотя бы и стихийно осуществляющему) методу квалификация определяется цифрой 2. Но характер работы таков, что полное использование рабочей силы связано с реальным расширением потребностей в масштабе 3 или 4 по сравнению с „простой“ рабочей силой, т.-е., трудовая стоимость предметов потребления, нужных для ее надлежащего функционирования, в 3 или 4 раза больше трудовой стоимости предметов потребления

среднего „простого“ работника. Что же, общество будет все-таки расценивать эту рабочую силу только как двойную и не даст ей возможности нормального восстановления затрат? Если, как предполагается, она общественно необходима, то, конечно, такое решение невозможно: оно вело бы к бесполезной растрате рабочей силы, тем более, что по свойствам человеческого организма даже малая недостаточность в удовлетворении потребностей работника влечет гораздо более значительное понижение эффективности труда. Ясно, что принцип подвижного равновесия между затратами и восстановлением рабочей силы должен одержать верх над таким бы то ни было другим.

Здесь еще возможны такого рода сомнения относительно изложенного понимания принципа соизмеримости. Те предметы потребления, от которых зависит общественно-трудовая стоимость рабочих сил, произведены в свою очередь не только простым, но отчасти и квалифицированным трудом; следовательно, в учет эквивалентности сложного труда умноженному простому труду входит опять сложный труд, эквивалентность которого также должна быть определена, и т. д. Не получается ли при этом порочный круг? Но подобное возражение было бы вполне оправдано.

(Благодаря исторической непрерывности и жизненному единству общественного процесса, всякая из образующих его величин неизбежно зависит от целого ряда величин предшествующей его фазы, как и из этих каждая зависит от ряда величин фазы еще более ранней, и т. д. В такой последовательности все они сводятся к более и более простым элементам, в чем и заключается сущность исследуемой соизмеримости. Практический учет этой соизмеримости постоянно производит сама жизнь; до сих пор она делала это всегда стихийно, путем колебаний, нарушений и пробивающегося через них приспособления. Теоретический же учет в конкретном смысле, т.-е. применительно к данным частным случаям, потребуется и станет возможен только в обществе с планомерно и научно организованным производством.) Нам же для нашего теперешнего анализа необходимо только прочно установить существование этой соизмеримости и ее объективную основу, чтобы сделать понятным ее жизненный смысл, и иметь возможность принимать ее, как реально данную.

c) Трудовая стоимость, как регулятор производства.

Основная задача организации производства есть распределение наличной у общества трудовой энергии между различными отраслями и видами труда. Требуется в производство каждого продукта направить именно такое количество рабочей силы, чтобы получаемая сумма продукта вполне удовлетворяла общественную потребность в нем. Когда задача эта разрешается сознательно и планомерно, напр., патриархом родовой общины при содействии других старейших и наиболее опытных ее членов,— то важнейшим и определяющим решение данным является трудовая стоимость продукта. Когда она уменьшается, т.-е. когда повышается производительность данного вида труда, то можно либо освободить из этой отрасли некоторую долю раньше применявшейся в ней рабочей силы, либо расширить данную потребность, увеличить массу вырабатываемого продукта. Когда трудовая стоимость возрастает, т.-е. понижается производительность труда, то перед организаторами выступает противоположная альтернатива. Им не требуется быть экономистами и иметь научное понятие о трудовой стоимости, чтобы понимать это: практическое понятие о ней у них неизбежно имеется, без этого невозможна и немыслима организаторская функция, хотя бы и в той примитивной, на традиции основанной форме, как в данном случае.

На этой же стадии развития, как известно, впервые появляется обмен. Легко показать, что тут трудовая и меновая стоимости объективно еще не дифференцировались одна от другой, фактически еще слиты во-едино. В самом деле, пусть община *A*, живущая в гористой местности, ведет обмен с равнинно-земледельческой общиной *B*, получая за один каменный топор, 3 мешка зерна, и пусть выделка такого топора обходится в 3 дня работы члена общины, опытного в этом деле. Тогда, с точки зрения общины *A*, 3 дня работы являются практически и „трудовой“ и „меновой“ стоимостью приобретаемых 3 мешков зерна: работа над топором есть труд косвенного производства для этой общины нужного ей продукта — зерна, труд его „менового добывания“. Если бы организатор производства общины *A* мог оперировать нашими экономическими понятиями, то на вопросы о „трудовой“ и „меновой“ стоимости 3 мешков

зёрна для обчины он одинаково ответил бы: „три дня труда нашего работника“. Но во сколько дней труда они обходятся непосредственно их производящей общине *B*, он знать, конечно, не может сколько-нибудь точно; в этом смысле трудовая эквивалентность сравнительно легко нарушается¹⁾.

Однако и тут для нарушений есть известная жизненная граница: при ничтожной вообще в те времена сумме прибавочного труда, меновая эксплоатация, сколько-нибудь значительная, при повторном обмене подрывала бы хозяйство обчины и обеспечивала бы ее, чьему общине, разумеется, противодействует, отстаивая свои интересы. Обмен по трудовой стоимости является нормою жизненного равновесия.

В капиталистическом, и вообще в товаро-меновом обществе организаторы существуют только для отдельных предприятий; но в их рамках и они при распределении работы не могут не руководиться трудовой стоимостью. Техническое разделение труда приводит к тому, что каждый товар становится произведением целого ряда лиц, работы которых зачастую минимальными и всегда трудно измеримыми долями входит в его стоимость. Но организаторам для успешного ведения их дела не требуется знать интегральную величину трудовой стоимости товара: они опираются в первоначальном устройстве предприятия на сложившуюся техническую традицию; а затем им достаточно следить за относительными изменениями производительности труда в тех или иных операциях, т.-е. только за колебаниями трудовой стоимости в ту или другую сторону, соответственно им преобразуя по мере надобности распределение труда.

Но капиталистическая система, как целое, таких организаторов не имеет, и предварительного планомерного распределения труда между целыми отраслями производства на основе учета трудовых стоимостей и общественных потребностей здесь быть не может. Каким же способом регулируется это распределение? Тут выступает на сцену стихийный механизм, который, подобно

¹⁾ На вопрос о меновой ценности зерна, он поэтому ответил бы: „3 мешка зерна“, и дальше этого пойти не сумел бы. Иллюстрация оттенка двух терминов: „стоимость“, трудовая или меновая,—то, чего нужная вещь стоит, во что она обходится; „ценность“—то, что она может дать, что через нее можно получить. „Стоимость“ чужого продукта, в обоих смыслах, тут еще одна и та же, не дифференцировалась; но „ценность“ своего продукта уже выражается в чужом, от трудовой основы оторвалась.

естественному подбору в природе, воздействует на производственную организацию уже *post factum*, — когда товары произведены, — и, поддерживая удачные, целесообразные комбинации в распределении труда, изменяет неудачные. Механизм этот нам придется исследовать подробнее; но принцип его действия может быть выражен в нескольких словах: поскольку объективная общественная потребность в том или ином продукте полностью и без излишка удовлетворяется соответственной отраслью производства, т.-е. поскольку количество затраченной на нее работы совпадает с трудовой стоимостью той суммы данного продукта, которая объективно нужна обществу, — поскольку эта отрасль производства продолжает сохранять свое положение в общей его системе, не испытывая ни потрясения, ни изменяющего давления со стороны этой последней в ту или другую сторону. А там, где такого соответствия на деле не оказывается, там нарушается жизненное равновесие данной отрасли, и происходит либо удаление из нее излишне занятой в ней части рабочих сил, либо стягивание к ней новых рабочих сил — в случае их недостатка. Так осуществляется регулирующая роль трудовой стоимости.

Самый же механизм, как мы знаем, воплощается в рыночной борьбе и конкуренции, где трудовая стоимость переодевается в оболочку меновой. И теперь мы рассмотрим как общие условия действия этого механизма, так и пределы его точности в капиталистическом обществе. Этот анализ должен привести нас либо к полному доказательству „трудовой теории меновой ценности“, либо — в случае его неудачи — к ее полному или частичному отрицанию¹⁾.

d) Обмен при отсутствии прибавочной стоимости.

Простейшую форму меновой социальной системы, какую можно себе представить, было бы общество, состоящее сплошь из самостоятельных мелких товаропроизводителей. В действительности оно никогда не существовало. Всего ближе к нему подошла бы комбинация городского ремесла с вольным крестьян-

¹⁾ В первый раз такой анализ, дающий доказательство теории трудовой ценности с точки зрения принципа жизненного равновесия, был дан мною в ст. „Обмен и техника“, в сборнике „Очерки реалистического мировоззрения“ (1-ое издание 1903 года, — 2-ое 1905 г.).

ством,—при чем ремесло надо было бы идеально освободить от цеховых форм и наемного труда подмастерьев, а также учеников, крестьянство—от остатков феодальной зависимости и от общинной связи. Такая абстракция послужит нам одной из предварительных ступеней, облегчающих переход к основным задачам нашего анализа.

В подобном идеализированно-простом меновом обществе жизненное равновесие могло бы сохраняться сколько-нибудь прочно и долго лишь при отсутствии прибавочного труда, который неизбежно ведет в своем развитии к накоплению, неравенству, переходу простой товарной меновой организации в торгово-капиталистическую и т. д.

При отсутствии же всякого прибавочного труда равновесие и жизненность общества требовали бы, как это легко показать, обмена в строгом соответствии с трудовой стоимостью выступающих на рынке товаров.

В самом деле, трудовая стоимость всякого товара слагается, очевидно, из суммы труда, кристаллизованной в затраченных на него материалах и изношенной на его производстве части орудий, плюс живой труд, вложенный в него производителем. Пусть перед нами свободный сапожник, живущий всецело своим ремесленным трудом. В течение года он потребляет в своем предприятии, положим, такое количество материалов и орудий, которое заключает в себе 7.000 часов труда других производителей—скотоводов, кожевенников, кузнецов и т. под.: сам же он прибавляет к этому 300 рабочих дней по 10 часов труда. Тогда трудовая стоимость всех производимых им, допустим, 200 пар обуви составляет $7.000 + 3.000 = 10.000$ часов труда¹⁾. Продукт свой сапожник должен продать на рынке, чтобы взамен купить орудия, материалы и жизненные средства для продолжения своей общественно-трудовой функции. А это значит, что ему для следующего цикла производства надо получить такое же количество материалов и орудий, какое он перед этим затратил, т.-е. образующее трудовую стоимость в 7.000 часов труда,—и еще такое количество предметов личного потребления, которое поддерживало бы его рабочую силу в течение всего периода производства. Но так как, по нашему предположению, прибавочного

¹⁾ В этих расчетах мы принимаем, конечно, всякий труд приведенным уже к единице соизмерения—абстрактно-простому труду.

труда нет, то трудовая стоимость жизненных средств равняется как раз той сумме живого труда, какая может быть выполнена производителем за время их потребления, а именно 3.000 часов; если бы эта стоимость была меньше, в хозяйстве имелся бы прибавочный труд; если бы она была больше, общество не могло бы поддерживать свою рабочую силу, тратя на это поддержание больше труда, чем сама она в состоянии развить. Таким образом, весь свой товар, трудовая стоимость которого=10 тысяч часов, производитель должен при посредстве рынка обменять на другие товары, трудовая стоимость которых тоже равна 10.000 часов. И эти соображения сохраняют силу по отношению к каждому из членов данного менового общества: меновая стоимость всюду должна совпадать с трудовой, такова тенденция приспособления.

Положение нисколько не изменилось бы и в том, опять-таки лишь воображаемом, случае, если бы общество состояло из крупных предприятий, организованных по такому же типу, как и капиталистические, но не создающих прибавочной стоимости. При каждом цикле производства трудовая стоимость всего произведенного товара слагалась бы из стоимости затраченных средств производства плюс приложенный к ним живой труд, по своему количеству равный трудовой стоимости рабочей силы. Если, напр., в предприятии было бы занято 100 работников, ежегодно дающих по 3.000 часов труда, но и получающих в форме заработной платы равную этому стоимости, а потребленные элементы „постоянного капитала“ составляли бы за год стоимость в 700.000 раб. часов, то ясно, что стоимость всего годового товара была бы 1 миллион принятых нами трудовых единиц. Продавая этот товар и покупая на вырученные деньги другие товары, руководитель предприятия для поддержания его в ходу и сохранения в прежних размерах должен был бы приобрести орудия и материалы общей стоимостью по-прежнему в 700.000 единиц, и рабочую силу—в 300.000, т.-е. свои товары, заключающие 1 миллион единиц кристаллизованного труда, обменивал бы, в конечном счете, на чужие товары, в которых кристаллизовано именно такое же количество труда. Если бы он при обмене выручал меньше—предприятие стало бы разрушаться; если бы выручал больше, это означало бы разрушение других предприятий, получающих меньшую стоимость за большую и потому неспособных возобновлять постоянный и переменный капитал в прежних размерах.

От этой совершенно фиктивной комбинации мы перейдем теперь к системе капиталистической в собственном значении этого слова, для которой прибавочная стоимость является и жизненной предпосылкой, и двигателем развития.

е) Норма прибавочной стоимости и капиталистический доход.

Пусть перед нами капиталистическое общество, состоящее из тысячи предприятий, в которых занято по тысяче рабочих в каждом,—цифры, конечно, совершенно произвольные и далекие от действительности, выбранные только ради простоты расчетов. Пусть каждый работник дает в течение года 300 дней живого труда, продолжительностью по 10 часов, т.-е. вся социальная организация располагает тремя стами миллионов рабочих дней в год. Оборот общественного капитала примем пока равным именно году. Постоянная часть этого капитала составляет, положим, 880 миллионов кристаллизованных рабочих дней на всю тысячу предприятий, а переменная—120 миллионов раб. дней,—по 120 раб. дней на каждого работника. Тогда схема трудовых соотношений всей экономической системы будет такова:

Общественный капитал составляет 880 милл.^с+120 милл.^в=1.000 милл. раб. д. Обществ. продукт воплощает 880 милл.^с+300 милл. дней живого труда=1.180 милл. труд. единиц.

Разница—180 милл. труд. единиц—образует прибавочную трудовую стоимость; это нетрудовой капиталистический доход.

Отношение всей суммы прибавочного труда ко всей стоимости рабочей силы есть, как мы знаем, норма прибавочной стоимости или норма эксплоатации; в данном случае она $\frac{180 \text{ милл.}}{120 \text{ милл.}} = 150\%$ (эта величина не очень далека от действительности, поскольку ее рисует новейшая статистика трудовых и нетрудовых доходов). Отнесенная к отдельному предприятию и обычному рабочему дню, в нашем примере 10-часовому, такая норма дает 4 часа „необходимого“ и 6 часов „прибавочного“ рабочего времени. Мы должны принять эту норму единую для всех отраслей и для всех предприятий, потому что она, собственно, и существует только в обществе, как целом, и лишь условно переносится нами на отдельные его части: она выражает объективное отношение класса господствующего к подчиненному; понятно, что первый

эксплоатирует второй настолько, насколько находит фактически для себя возможным и целесообразным; и так как один класс противостоит другому, как целое, то и мера эксплоатации может быть только общё-классовой, следовательно, единой.

Итак, перед нами общественный продукт, по своему трудовому составу разлагаемый на возобновленный в цикле производства постоянный капитал, воссозданный переменный капитал и вновь произведенный прибавочный продукт. И теперь нам надо выяснить ту закономерность, сообразно которой произойдет распределение в обществе всей этой трудовой стоимости, а вместе с этим и распределение труда для дальнейшего цикла производства. Мы уже знаем, что и то и другое совершаются путем меновых процессов, с присущими им моментами рыночной борьбы и специально—конкуренции.

Для упрощения дела нам следует отвлечься сначала от того факта, что рыночный обмен имеет своим необходимым посредником или, вернее, орудием один специализированный товар, а именно деньги. Всякий раз как продажа за деньги выполняется ради последующей покупки на эти деньги другого товара,— а при капитализме это и есть общее правило,— можно без всякой существенной погрешности рассматривать дело так, как будто бы товар прямо обменивался на товар. Такой прием особенно уместен там, где приходится исследовать равновесие элементов производства, и где момент их рыночного обращения совсем не важен для анализа.

С этой точки зрения очевидно, что мы можем применить к действительным капиталистическим предприятиям те соображения об условиях непрерывности их функций, которые мы применяли к предприятиям идеального мелко-буржуазного общества и вообще к обмену при отсутствии прибавочной стоимости, при чем затем нам остается внести все поправки, которых требует наличность этой последней.

Берем отдельное предприятие. Трудовая стоимость материалов и изношенной доли орудий для одного цикла производства была, как мы приняли, 880.000 рабочих дней; трудовая стоимость рабочей силы за это время—120.000 тех же единиц. Наконец, трудовая стоимость продукта $880.000 + 120.000 + 180.000$ или 1.180.000 трудовых единиц. Предприниматель продает весь продукт на рынке, чтобы затем купить, во-первых, опять материалы и орудия для следующего цикла, во-вторых, рабочую силу

для него же, в-третьих, средства потребления для себя самого. Часть выручки он может, кроме того, сохранить в денежной форме, в виде сокровища, запаса на будущее время. Удовлетворяя первые две потребности предприятия—покупка элементов постоянного и переменного капитала,—предприниматель получает в этом виде по меньшей мере стоимость, равную миллиону трудовых единиц,—это именно в том случае, если он не расширяет своего предприятия. В пределах такого возмещения затраченных элементов производства капиталистический обмен, явным образом, не может уклоняться от трудовой нормы; и поскольку дело идет именно об этом, она остается всецело и безусловно господствующей тенденцией приспособления.

Из этого видно, что если в капиталистическом обществе принцип трудовой стоимости испытывает какие-либо преобразования или ограничения, то все они лежат в одной и той же области—в сфере распределения прибавочной стоимости. Здесь и надо сосредоточить наше внимание.

f) Норма прибыли.

Так как мы пока не принимаем в расчет явлений ренты, которые потом мы должны, конечно, ввести в свой анализ, то дело представляется в нашем примере таким образом, что весь прибавочный продукт, имеющий трудовую стоимость в 180 миллионов рабочих дней, образует „прибыль“ капиталистов. Капитал же, порождающий эту прибыль, составляет 1.000 миллионов рабочих дней; по отношению к нему годовая величина прибыли составляет, следовательно, $\frac{180 \text{ милл.}}{1.000 \text{ милл.}} = 18\%$. К этой величине тяготеет прибыль каждой отрасли, каждого предприятия, потому что конкуренция капиталов действует в уравнительном направлении.

В нашей иллюстрации мы сначала предположили, что „органический состав капитала“, т.-е. соотношение между трудовой стоимостью его постоянной и переменной части, одинаково для всех предприятий,—что, следовательно „мертвый“ кристаллизованный труд прошлого и труд „живой“ в сходных повсюду пропорциях участвуют в стоимости годового продукта. Но в действительности соотношение это различно, и для конкуренции нет никаких непосредственных оснований стремиться к его выравниванию,—да оно и вне прямой ее сферы, ибо относится

собственно к технике предприятий. С этими различиями мы должны считаться, и теперь мы введем их в анализ.

Сравним условия товарообмена для трех предприятий—одного со средним органическим составом капитала, другого с более „высоким“ (т.-е. более значительной долею постоянного капитала), третьего с более „низким“ (т.-е. с относительно более крупной переменной частью) ¹⁾.

Состав капитала I: $880.000c + 120.000v$. Прибав. стоимость, при норме эксплоатации в 150%, равна 180.000. Трудовая стоимость всего продукта— $880.000c + 120.000v + 180.000m = 1.180.000$ труд. един.

Состав капитала II: $760.000c + 240.000v$. Прибав. стоимость 360.000 m . Стоимость всего продукта—1.360.000 труд. единиц.

Состав капитала III: $940.000c + 60.000v + 90.000m$. Стоимость продукта—1.090.000 раб. дней.

Капитал в каждом предприятии затрачен равный 1 миллиону. Если бы капиталисты теперь обменяли свои товары в точном соответствии с их трудовой стоимостью, то оказалось бы, что первый получил прибыль в $\frac{180.000}{1.000.000} = 18\%$, второй $\frac{360.000}{1.000.000} = 36\%$, третий, с наиболее высоким составом капитала—наиболее низкую прибыль в 9%. Но капиталистическая конкуренция не мирится с таким неравенством. Каждый предприниматель желает получить процент прибыли не меньший, чем другие, и это жизненно-необходимо для равновесия системы, чтобы каждая отрасль производства могла развиваться в соответствии с другими. Иначе капиталы немедленно отхлынули бы от тех отраслей, в которых органический состав капитала выше, и переполнили бы те, в которых он ниже. Поэтому все три наши капиталиста, а равным образом и остальные 997, продадут свои товары не по точной их трудовой стоимости, а одни—несколько дороже, другие—несколько дешевле, так, чтобы для каждого процента прибыли был один и тот же. Но какой именно? Очевидно, тот, который представляет норму прибыли для всего общественного капитала, взятого в его целом,—а именно $\frac{180}{1.000}$ миллионов= 18%

1) Названия „высокий“ и „низкий“ выражают здесь ту мысль, что если взять капитализм в его историческом развитии, то первый тип соответствует „высшему“ уровню техники: увеличение производительности

Следовательно, каждый из трех капиталистов, вложивших в предприятие по миллиону капитала (в труд. единицах), продаёт на рынке весь продукт, полученный в течение года в его предприятии, за такое количество чужих товаров,—специально же денег,—которое соответствует 1.180.000 рабочих дней. Для первого, как видим, обмен произойдет строго по трудовой норме, для второго будет уклонение вниз от нее, для третьего—вверх.

Примем, что сумма денег, заключающая в себе единицу кристаллизованного труда (рабочий день), есть именно рубль. Тогда второй предприниматель в нашем примере отдает на рынке товар, имеющий действительную стоимость в 1.360.000 труд. единиц, всего за 1.180.000 рублей, а третий, напротив, вместо 1.090.000, выручает также 1.180.000 рублей. Обмен происходит не по общественно-трудовой стоимости, а по „ценам производства“¹⁾. Следует ли из этого тот вывод, что трудовая норма потеряла свое объективное значение при капитализме? Что тенденция к равенству норм прибыли уничтожает ее?

Но мы видим, что самая норма прибыли является производною от трудовой нормы: она равняется 18% потому, что таково отношение трудовой стоимости прибавочного продукта к трудовой стоимости всего общественного капитала. Следовательно, трудовая основа по-прежнему остается всецело определяющим условием для товарообмена; преобразованию подвергся только способ ее господства над рынком,—она господствует теперь при посредстве нормы прибыли. И это неизбежно так должно быть, потому что прибыль, которую рынок распределяет между капиталистами в виде реальной массы прибавочного продукта, сама имеет все-таки трудовое, и только трудовое происхождение.

Существует, правда, до сих пор нетрудовая теория происхождения этого прибавочного продукта, чрезвычайно старая, но находящая себе сторонников вплоть до новейших экономистов, в том числе, напр., Генри Джорджа; это именно теория, по которой прибыль создается работою сил природы. Зерно, брошенное в

труда применением машин и другими путями относительно уменьшает переменную часть капитала (рабочие, напр., „вытесняются“ машинами).

1) „Цена производства“ слагается из издержек производства плюс обычная прибыль; как видим, это та норма, к которой должны тяготеть меновые отношения в зависимости от интересов капитала; эти последние в иных образах господствуют при капитализме всецело, что обнаруживается и в разбираемом вопросе.

борозду, действием почвенной влаги, тепла, химического сродства и т. д. превращается в колос с несколькими десятками зерен; вырубленный лес вырастает вновь и вновь; корова приносит теленка, и т. под. Эклектические вульгарные экономисты, признавая участие работника в создании прибыли, доходят до того, что приравнивают корм лошади к заработной плате наемного работника, и полагают, что если „труд“ лошади „производит“ больше, чем она потребляет, то от лошади получается прибавочная стоимость; это, очевидно, несколько смягченная форма той же теории „производства“ прибыли силами природы.

Основная ошибка подобных взглядов заключается в том, что они извращают саму сущность производственного процесса. Производство есть борьба общественного человека с внешней природой. Для человека ее стихийные силы отнюдь сами по себе не работают; им такаяteleология абсолютно чужда; и нет никаких оснований думать, чтобы они, в виде хотя бы исключения, специально заботились о прибыли капиталистов. Плоды, ежегодно вырастающие на дереве в девственном лесу, вовсе не „процент“ на „капитал“, воплощенный в его стволе и корнях, а просто явление вне - экономическое. Чтобы эти плоды приобрели хозяйственное значение, для этого требуется людям отыскать плодовое дерево в лесу и сорвать с него плоды; а чтобы пользоваться ими дальше ежегодно, надо, кроме того, охранять дерево и даже обыкновенно — культивировать его. Только через эти трудовые акты и в полной зависимости от их планомерного характера, ежегодный „прирост“ дерева может стать „хозяйственной ценностью“ вообще, и прибылью капиталиста — в частности. Точно так же корова производит теленка для себя, а не для чьей бы то ни было прибыли; прибылью в экономическом смысле слова теленок может сделаться лишь при том условии, что он станет „продуктом“ труда людей: охотников, которые его подстерегли и поймали, если он жил в диком состоянии, пастухов и скотников, которые заботились об его родителях и о нем, если он — домашнее животное.

Некоторые из сторонников разбираемой теории делали попытки определять „естественный“ процент прибыли, напр., по ежегодному процентному приросту деревьев в лесу. Но при этом они упускали из виду, что даже для того, чтобы этот прирост в действительности постоянно происходил, необходима наличие лесного хозяйства. Девственный лес, выросший без вмешатель-

ства человека, приходит к устойчивому равновесию растительной жизни в нем: новые деревья вырастают, а старые увеличиваются в объеме лишь за счет других деревьев, которые погибают вокруг них. Тогда только периодическая расчистка и вырубанье части деревьев дают возможность „проценту“ реализоваться в природе. А между тем дело идет, кроме этой, еще об экономической реализации. Примитивность и ошибочность не-трудовой теории при подобных сопоставлениях бросается в глаза.

Более серьезный характер имеют те возражения против идеи о подчинении нормы прибыли закону трудовой стоимости, которые опираются на различия органического состава капитала в целых обширных областях производства. Сущность их такова. Прибавочный продукт, взятый в его целом, с одной стороны, вся остальная часть общественного продукта, с другой стороны,— могут иметь такие цены производства, которые далеко не совпадают с их трудовыми стоимостями; а тогда и отношение этих цен производства,—представляющее норму прибыли для данной экономической системы,—не соответствует отношению трудовых стоимостей: норма прибыли ускользает от трудового закона. Напр., в нашей иллюстрации трудовая стоимость прибавочного продукта—180 миллионов рабочих дней, а всего общественного капитала—1.000 миллионов раб. дней. Но пусть органический состав капитала для первой части этого соотношения более низкий, так что цена производства прибавочного продукта ниже, чем это соответствовало бы его трудовой стоимости, положим,—168 миллионов рублей; а цена производства остального общественного продукта выше, допустим,—1.050 миллионов рублей. Процент прибыли, вопреки трудовой норме, окажется $\frac{168}{1050} = 16\%$, а не 18.

Если бы эта критика была в своей основе верна, то и тогда она означала бы не уничтожение трудового закона, а только более косвенный способ его действия: различия в органическом составе частей общественного капитала,—это опять-таки различия в соотношениях трудовых стоимостей постоянного и переменного капитала разных областей. Но на самом деле вся критика исходит здесь из чистого недоразумения, создавая невозможное и несуществующее разделение общественного капитала.

В действительности нет двух таких областей производства, из которых одна специально производила бы прибавочный продукт, а другая—специально общественный „капитал“: обе они вполне

совпадают между собой и равняются производственной системе в ее целом. Все предприятия одинаково воспроизводят общественный капитал и сверх него дают прибавочный продукт. Взявши массу общественного продукта в ее целом, никакими признаками нельзя определить, принадлежит тот или иной товар к ее прибавочной части, или нет. Никакие различия в потребительной ценности товаров при этом не имеют значения. Напр., если бы кто-нибудь стал относить специально предметы потребления капиталистов к „прибавочному продукту“, противополагая их остальным товарам, как общественному „капиталу“, тот совершенно исказил бы реальный смысл явлений. Капитал, это — не потребительная форма продуктов, а их ценность, превращенная в средство эксплоатации; ценность же во всех товарах одна по существу и одинакова, при капиталистическом строе, способна служить источником прибавочной ценности, орудием эксплоатации. Функции капитала выполняет любой товар, пока он не потреблен. Предприниматель, приготовляющий в своем предприятии предметы потребления капиталистов, реализует их меновую ценность на рынке и применяет ее для дальнейшего извлечения прибавочной стоимости из своих рабочих точно в такой же мере, как и предприниматель, продающий машины. Словом, производство прибавочного продукта выполняется при абсолютно том же органическом составе капитала, как и производство всего общественного продукта: это просто один и тот же процесс. Следовательно, с этой стороны уклонение от трудовой нормы невозможно, и норма прибыли действительно является производной от нее функцией¹⁾.

1) Иногда изложенному здесь возражению против трудовой теории придают несколько иную форму; вместо сопоставления прибавочного продукта с общественным „капиталом“ применяют сопоставление всего общественного продукта с тем же „общественным капиталом“, как его частью. Так, напр., Туган-Барановский в своих „Основах политической экономии“ пишет „...только в том случае трудовая ценность всего общественного продукта может так же относиться к трудовой ценности общественного капитала, как цена производства всего общественного продукта относится к цене производства общественного капитала, если строение капитала в производстве всего общественного продукта ничем не отличается от строения капитала в производстве общественного капитала. Но так как для последнего никаких экономических оснований нет, то нет никаких оснований и для того, чтобы общественный процент прибыли, выраженный в трудовых ценностях, совпадал с общественным

Остается принять в расчет еще одно обстоятельство, которое с первого взгляда может также ослаблять предыдущие выводы о норме прибыли: это именно то, что прибыль реализуется для капиталиста и учитывается им в денежной форме. Деньги же сами принадлежат к числу капиталистически-производимых товаров; и предприятия, занятые добыванием золота, имеют свой особый органический состав капитала, который может отличаться от среднего органического состава всей данной системы; тогда деньги должны обмениваться на другие товары не по истинной своей стоимости, а выше или ниже ее. Но никакого реального усложнения это обстоятельство создать не может,—его влияние имеет только „счетный“ характер: в деньгах выражаются и меновая ценность капитала и величина прибыли; та и другая в одинаковой мере увеличиваются или уменьшаются при расчетах в зависимости от того, выше или ниже цена производства денег, чем их трудовая стоимость. Капитал, напр., заключающий в себе 1.000 миллионов дней кристаллизованного труда, будет оцениваться не в 1.000, а в 1.100 милл. рублей, или, наоборот, только в 900 миллионов (предполагая, что в действительности один „рубль“ золота создается в течение 1 раб. дня). Но тогда и прибыль выразится, вместо 180 милл. рублей, в первом случае—198 во втором—162. Норма прибыли, как величина относительная, останется та же: $\frac{198 \text{ милл.}}{1.100 \text{ милл.}} = 18\%$, и $\frac{162 \text{ милл.}}{900 \text{ милл.}} = 18\%$.

g) Влияние периодов оборота капитала.

Во всех предыдущих схемах мы принимали, что обращение всего общественного капитала происходит с одной и той же скоростью: полный оборот в течение 1 года как для постоянной, так и для переменной его части. Но это было только сознательным упрощением фактов; действительность представляет иное:

процентом прибыли, выраженным в ценах производства“ (стр. 655). Очевидно, что, различая „производство всего общественного продукта“ от „производства общественного капитала“, Туган-Барановский как раз и обособляет производство прибавочного продукта в особую отрасль, с особым органическим составом капитала. Он только применяет менее ясную формулировку, в которой коренное недоразумение не так резко бросается в глаза. Под „производством капитала“ он понимает, явным образом, производство орудий и материалов труда—старое, буржуазно-тенденциозное определение капитала, по которому капитал вечен, как само производство.

капиталы одних отраслей производства обращаются быстрее, других медленнее; и каждый предприниматель в своих расчетах старательно различает „основную“ и „оборотную“ часть капитала, из которых первая проходит свой цикл движения обыкновенно в несколько раз медленнее второй.

Легко показать, что если бы не было этого разграничения основной и оборотной части, а капиталы обращались бы хотя и с разными скоростями, но в отдельности каждый с одной и той же скоростью во всех своих частях, то в наших схемах не понадобилось бы сколько-нибудь сложных изменений. Нам пришлось бы только для отдельных капиталов „перечислять“ взятые цифры на больший или меньший промежуток времени. Напр., если период оборота составляет 3 года, то, разумеется, для составления „цены производства“ надо взять утроенную годовую норму прибыли, потому что прибыль капиталиста рассчитывается пропорционально времени. Но, очевидно, что и сумма прибавочной стоимости, создаваемой в предприятии трудом его рабочих, за три года втрое больше, чем за один год; таким образом соотношение между прибавочной стоимостью и прибылью, а значит между трудовой стоимостью и ценой производства, от этого не изменяется, и по-прежнему зависит всецело от органического состава капитала. При периоде более коротком, напр., $\frac{1}{3}$ года, в цену производства войдет точно так же не прибыль, соответствующая годовой норме, а треть этой величины, и связь цены со стоимостью останется та же.

Задача становится сложнее, когда мы вводим в схему различия периодов для основного и оборотного капитала. Дело в том, что прибыль исчисляется не на капитал, действительно обращающийся за тот или иной промежуток времени, а на капитал „авансированный“, т.-е. затраченный до момента реализации, возвращающей в руки предпринимателя оборотный капитал, который он затем вновь пускает в дело. В течение одного цикла основной части оборотная может совершить, напр., целых пять кругов, и каждый раз заключающейся в ней переменный капитал будет порождать новую прибавочную стоимость; а прибыль все время будет рассчитываться на весь основной капитал плюс один раз взятый оборотный, что и составляет „авансированную“ капиталистом сумму ¹⁾.

¹⁾ Напомним, что переменный капитал не совпадает с оборотным, а составляет только одну его часть; другая его часть, это—стоимость мате-

Примем, напр., что основной капитал предприятия равен стоимости 80.000 единиц, оборотный — 20.000, из которых 12.000 идут на материалы производства — хлопок, уголь и т. под., а 8.000 — на заработную плату; и пусть основной капитал погашается в два года, а оборотный уходит и вновь приходит целых три раза в год. Составим формулу трудовой стоимости продукта за два года, т.-е. за время полного оборота основного капитала. Оборотный капитал войдет в эту схему целых шесть раз.

$$c = 80.000 + 12.000 \cdot 6 = 152.000 \text{ труд. единиц.}$$
$$v = 8.000 \cdot 6 = 48.000 \text{ труд. единиц.}$$

И так как норма прибавочной стоимости у нас — 150%, то

$$m = 8.000 \cdot \frac{150}{100} \cdot 6 = 72.000 \text{ труд. ед.}$$

Общая стоимость двухгодичного продукта — 272.000; капитал, постоянный и переменный — 200.000. Норма прибыли принята нами была для всего общества 18% в год, значит 36% за два года, а это выходит как раз 72.000 единиц, величина, совпадающая с прибавочной стоимостью, — мы нарочно взяли капитал с таким органическим составом, который давал бы это совпадение. Следовательно, если бы был „авансирован“ весь капитал, реально обращающийся в данном предприятии, то цена производства в нем совпала бы с трудовой стоимостью продукта, — перед нами был бы идеальный „средний случай“.

Но в действительности авансированный капитал составляет всего только 80.000 основного и 20.000 оборотного, или 100.000 единиц. На него и будет итти средняя прибыль, т.-е., за 2 года 36% или 36.000 ед., а не 72.000. Продукт двухлетнего цикла будет продан за 200.000 (заключающиеся в нем элементы капитала) плюс 36.000 (прибыль), итого за 236.000 вместо 272.000. Дело происходит таким образом, как будто органический состав капитала понизился.

риалов производства, которая, как и заработка плата рабочих, возвращается в карман предпринимателя при каждой продаже товара. Наоборот, постоянный капитал больше основного; основной, это — только стоимость орудий, машин, зданий и т. под., в постоянный же входит и стоимость материалов. Деление капитала на постоянный и переменный делается с точки зрения производства (и рабочего), на основной и оборотный — с точки зрения обращения (и капиталиста).

Где причина этого явления? Ясно, что она заключается в ускоренном движении оборотного капитала, потому что стоило уравнять его период с периодом основного, и продажа должна была совершаться в соответствии со стоимостью, как это полагается для предприятий с нормальным, средним строением капитала.

Очевидно, что при ускоренном движении оборотного (а значит и переменного) капитала, предприниматель относит величину прибыли к относительно меньшей „авансированной“ сумме, и цена производства образуется меньшая; при замедленном движении он относит величину прибыли к большей сумме, и цена производства выше: первое равносильно понижению, второе — повышению органического состава капитала.

Ускорение или замедление цикла для основного капитала имеет совершенно такое же значение. Напр., предположим, что в том же нашем примере предпринимателю удалось довести скорость движения основной части капитала до одного цикла в год. Тогда, конечно, ему приходится вместе с тем удвоить оборотную часть: если машины и другие орудия изнашиваются вдвое быстрее, то это значит, что они в то же время потребляют, по меньшей мере, двойное количество материала, а для этого и рабочая сила должна прилагаться в двойном количестве¹⁾. Схема годового продукта представится в таком виде:

$$c = 80.000 + 3 \cdot 24.000 = 152.000 \text{ единиц.}$$

$$v = 16.000, 3 = 48.000 \text{ единиц.; } m = 48.000 \cdot \frac{150}{100} = 72.000.$$

Действительная стоимость годового продукта та же, что раньше — 272.000. Авансированный капитал $80.000 + 24.000 + 16.000 = 120.000$. Прибыль на него за год $120.000 \cdot \frac{18}{100} = 21.600$. Весь годовой продукт будет продан за $152.000 + 48.000 + 21.600 = 221.600$ единиц, т.-е., изменение величины такое же, как если бы органическое строение понизилось еще по сравнению с предыдущим.

¹⁾ Все это, конечно, при том предположении, что техническая основа не изменяется, а удается только использовать те же, напр., машины вдвое интенсивнее. В действительности тут обыкновенно получается еще обережение капитала на том, что уменьшается „бесполезное“ изнашивание орудий, зависящее не от самой работы, а от действия воздуха, влаги и т. под.

Итак, влияние на цены производства со стороны периодов обращения тождественно с тем, какое вызвали бы некоторые дополнительные перемены в строении капиталов, прибавленные к прежним его различиям. Это влияние может в иных случаях усиливать, в других ослаблять расхождение между ценами производства и трудовой стоимостью товаров. Но существо самого расхождения, социальный его смысл остается все тот же: оно лежит всецело в рамках той доли товарной стоимости, которая образована прибавочным трудом,— и вытекает из стихийной тенденции капитализма к распределению прибыли между капиталистами пропорционально тем частям, которая каждому из них принадлежит в безлично царящей социальной силе данной эпохи — в капитале общества, в кристаллизованном, мертвом труде, властующем над текучим живым трудом.

h) Технический прогресс и строение капиталов.

Во всем предыдущем анализе мы ограничивались одним оборотом общественного капитала, т.-е. периодом, для которого технические условия можно принимать, с малой погрешностью, как постоянные. Но как только мы выходим из этих рамок, нам уже необходимо считаться с той технической прогрессивностью, которая столь существенна для капитализма и которая, стремясь, в конечном счете, разрушить его организационную форму, придает ему характер переходной общественной формации.

Технический прогресс, увеличивая производительность труда и, следовательно, уменьшая потребность капитала в рабочей силе, тем самым изменяет строение капиталов: постоянная часть возрастает сравнительно с переменной, органический состав повышается. Это факт общий, правило, которого не изменяют отдельные случаи, когда техническое усовершенствование, создавая ту или иную экономию на постоянном капитале, порождает частичное изменение в противоположную сторону. Основная тенденция для капитализма в целом — замещение работников машинами, возрастание количества перерабатываемых материалов, приходящихся в среднем на каждого работника, — означает относительное уменьшение переменного капитала, хотя бы абсолютно он, благодаря расширению производства, также возрастал, как это и бывает всего чаще.

Ближайший вывод отсюда представляет тенденция к понижению нормы прибыли. В самом деле, только переменная часть капитала порождает прибавочную стоимость; а норма прибыли есть отношение этой прибавочной стоимости ко всему капиталу; чем меньше доля переменного капитала в общей его величине, тем меньше и отношение прибавочной стоимости к той же величине. В нашей первой иллюстрации постоянный капитал общества был 880 миллионов, переменный—120 милл., и при норме эксплоатации в 150% норма прибыли оказывалась 18%. Пусть, благодаря введению лучших машин, постоянный капитал увеличился до 1.380 милл., тогда как переменный, в силу параллельного расширения производства, не уменьшился, а остался прежний; тогда схема годового продукта будет: 1.380 милл. $s + 120$ милл. v дают 180 милл. m , а норма прибыли $\frac{180}{1.500} = 12\%$, вместо прежних 18%.

Этот закон, простой и очевидный с точки зрения теории трудовой стоимости, вызывал всегда массу недоумений и возражений со стороны ее противников. Первое и самое элементарное из них заключается в том, что уменьшение нормы прибыли для предпринимателей невыгодно,—зачем же они станут повышать органический состав капитала, убедившись из расчета или на опыте, что такой образ действий приводит к нежелательному результату? Но такое соображение вдвое неправильно.

С одной стороны, введение машин и технических усовершенствований делается по инициативе отдельного капиталиста, которому оно выгодно, потому что создает для него исключительно-благоприятное положение на рынке: общественно-трудовая стоимость его товара остается еще прежняя, пока его конкуренты не успели ввести новых методов производства; а индивидуальная трудовая стоимость товара в его предприятии ниже этой величины, так как она обратно пропорциональна производительности труда; между тем продажная цена товара зависит, конечно, от первой, а не второй величины; и данный капиталист получает возможность сбывать товар значительно выше своей цены производства, со сравнительно огромной прибылью. Впоследствии, когда и другие предприниматели, под давлением конкуренции, введут те же усовершенствования, его привилегированное положение будет утрачено; но до того момента он зачастую успевает накопить огромные богатства.

С другой стороны, и для класса капиталистов, как целого, понижение нормы прибыли вовсе не есть нечто безусловно невыгодное. Технический прогресс чрезвычайно ускоряет расширение производства, т.-е. общее накопление капитала; и если меньший, чем прежде, процент прибыли получается со значительно большей, чем прежде, величины социального капитала, то масса прибыли оказывается увеличенной. Именно так и выходит на деле для всех развивающихся капиталистических обществ; а потому, если бы даже класс капиталистов мог через какую-либо свою организацию, напр., через современное государство, нормировать технический прогресс и ограничивать его, то одна возможность понижения процента прибыли была бы еще весьма недостаточным мотивом для этого.

В русской литературе была однажды сделана Туган-Барановским попытка отрицания теоретической правильности закона понижения нормы прибыли с точки зрения самой теории трудовой стоимости¹⁾. Мы укажем на эту попытку потому, что она связана с одним очень распространенным заблуждением в понимании этой теории,—заблуждением, которое бессознательно поддерживается в большей части экономической литературы.

В популярных учебниках политической экономии, как пример возрастаания производительности труда при капитализме, приводится чаще всего производство булавок: несколько десятков в день на работника при ремесленных методах, несколько тысяч при мануфактурных, несколько сот тысяч при современной машинной технике. Если по поводу этого примера мы зададим вопрос, во сколько же раз увеличилась производительность труда в этой отрасли, то естественный, но совершенно неверный, ответ будет такой: в несколько сотен раз с переходом к мануфактуре и еще в несколько сотен раз—по введении нынешних машин. Ошибка основана на чисто индивидуалистическом понимании производительности труда, на представлении, что булавка есть продукт именно того рабочего, который непосредственно ее из проволоки приготавляет, или, по крайней мере, того предприятия, которое специально занимается выделкой булавок. Это—иллюзия: булавка есть произведение несравненно болееши-

¹⁾ Статьи Туган-Барановского в „Научном Обозрении“ 1899—1900 г.г., когда этот экономист еще считал себя сторонником экономической теории Маркса.

рого коллектива; в ее стоимостивоплощена в определенной мере стоимость также тех материалов и орудий, с помощью которых она сделана, а затем и тех средств труда, с помощью которых сделаны эти последние, и т. д. Работники этих других отраслей также участвовали, значит, в производстве булавок, и количество их труда должно быть учтено при выяснении роста производительности, а тогда соотношения получатся совершенно иные и, вообще говоря, значительно более скромные. В эпоху мануфактур производство железа и выделка из него орудий, а также постройка зданий, в которых помещались мануфактуры, и т. п., не испытывали такого стремительного прогресса, который в сотни или хотя бы в десятки раз увеличил производительность труда в них; то же относится и к периоду машин, при чем сама булавочная машина представляет некоторую новую затрату труда, входящую в дело производства булавок. Если принять все это в расчет, то рост производительности труда выражается отнюдь не сотнями и не десятками тысяч, а может быть несколькими единицами, а затем десятками; об этом приблизительно и свидетельствуют исторические изменения рыночной цены продуктов.

Туган-Барановский в своих рассуждениях о техническом прогрессе и условиях падения нормы прибыли делал как раз указанную нами здесь ошибку. Он рассуждал так: с техническим прогрессом шире становится применение „постоянного капитала“ в виде машин и других орудий, но его стоимость падает, вследствие повышения при этом производительности труда. И так как Туган-Барановский представлял это падение стоимости в том преувеличенном масштабе, какой дается индивидуалистическим пониманием производительности труда, то у него получалось действительно огромное, скачками происходящее, и вполне невероятное уменьшение стоимости постоянного капитала, несмотря на его возрастающую роль в производстве. Этим путем Туган-Барановский приходил к выводам, которые явно противоречили прежде всего истории: достаточно сопоставить величину постоянного и переменного капитала, фактически обычную для предприятий мануфактурной эпохи и ранних стадий машинной техники, с тою, которая обычна для современной индустрии, чтобы видеть очень большое повышение среднего органического состава.

Бессспорно, однако, что капиталисты, при прочих равных условиях, предпочитают высокий процент прибыли низкому, и

что они поэтому всеми возможными для них способами противодействуют его понижению. В числе этих способов играет известную роль и сбережение постоянного капитала не только посредством того, так сказать „законного“, удешевления орудий и материалов, которое определяется повышением производительности труда и слишком мало зависит от отдельных капиталистов, но также иными путями, иногда противоречащими интересам производства в его целом: доведение машин и зданий до крайних степеней изнашивания, экономия на ограждениях машин, предотвращающих несчастия с рабочими, и т. п. Такие методы имеют лишь ограниченное и переходящее значение,—рано или поздно капиталисты бывают вынуждены отказываться от них, как практически, в конечном счете, невыгодных, благодаря тому, что они приводят иногда к большим техническим катастрофам, почти всегда—к резкому обострению классовой борьбы рабочих.

Гораздо важнее и ценнее для капиталистов другой способ борьбы с понижением процента прибыли,—это когда им удается повышать норму прибавочной стоимости, норму эксплоатации. При этом такие приемы, как удлинение рабочего дня, уменьшение заработной платы играют значительную роль по преимуществу на первых ступенях развития машинной техники. Так, в Англии при переходе от мануфактур к машинам широкое применение подобных методов привело, повидимому, даже к некоторому повышению нормы прибыли: понижающее влияние новой техники было, следовательно, более чем парализовано ими. Известно, что это время—первая четверть XIX века—было там временем самой необузданной, самой жестокой эксплоатации, не встречавшей достаточно организованного сопротивления. К промышленности привлечены были новые кадры необученных рабочих, особенно женщин и детей; они в гораздо меньшей степени способны были отстаивать свои интересы, чем прежние специализированные, технически-обученные, хотя также неорганизованные, рабочие мануфактур. Но когда разгул эксплоатации нашел, наконец, свои социальные границы в развивающейся классовой борьбе, то процесс понижения нормы прибыли вновь пошел дальше с незначительными колебаниями, как шел он раньше, в течение периода мануфактур.

Другой, в конце капиталистической эпохи приобретающий все большее значения, способ поддерживать и даже повышать процент прибыли, это монополизация производства, нормирова-

ние сбыта и т. п., —то, что делают синдикаты, тресты и другие организации предпринимателей непосредственно экономическим путем, и что еще раньше их государственные организации—правительства—делали политическим путем „покровительства“, протекционизма. Сущность этого метода сводится к продаже товаров выше цен их производства. Но ясно, что при развитом капитализме он может только повысить прибыль одних предпринимательских групп за счет прибыли других, создав лишь неравномерность ее распределения, чем тресты и вызывают жесточайшую ненависть к себе со стороны тех капиталистов, которые к ним не принадлежат. С дальнейшим прогрессом предпринимательской организаций, с ее распространением на новые и новые отрасли, условия вновь должны все более уравновешиваться, а вместе с тем и тресты принуждены подчиниться закону понижения процента прибыли.

В развитии капитализма, взятом исторически, то понижение процента прибыли, которое зависит от технического прогресса, сплетается с другим, начинающимся раньше и зависящим от условий социально-экономических. Внедряясь в общество наполовину еще феодальное, наполовину мелко-буржуазное, промышленный капитал эксплоатирует его не только извлечением прибавочного труда из своих рабочих, но также и торговым методом, продавая свои товары потребителям, стоящим на низшей ступени развития, гораздо выше действительной стоимости. Эта дополнительная прибыль, основанная на монополии более совершенных способов производства, обыкновенно была очень велика; в раннюю мануфактурную эпоху, а также и при распространении машинного производства в отсталых странах XIX века она достигала очень часто нескольких десятков, иногда—нескольких сотен процентов в год, особенно там, где монополию подкрепляло и закрепляло государство системой тарифов, запрещений и привилегий. Такая „торговая“ прибыль промышленных предприятий, разумеется, должна исчезать по мере перехода отсталых элементов общественного хозяйства в более прогрессивные формы, по мере превращения страны в настоящую капиталистическую. Пока эта стадия не достигнута, самая тенденция к уравниванию норм прибыли может проявляться лишь крайне слабо, даже оставаться совершенно замаскированной, потому что недостаточно развита порождающая ее сила конкуренции. Только тогда, когда высшие формы капитала получают господство повсюду,

понижающее норму прибыли влияние технического прогресса начинает выступать в более или менее чистом виде.

Экономисты, враждебные теории трудовой стоимости, пытаются иногда свести всякое наблюдаемое на деле понижение общего процента прибыли к этому прогрессивному исчезновению монопольно-торговой части прибыли промышленных предприятий и, основываясь на таком допущении, отрицают внутреннюю тенденцию капитала, идущую в том же направлении на почве его повышающегося органического состава. Но с этой точки зрения надо было бы ожидать, что в наиболее передовых капиталистических странах нормы прибыли давно перестали ужে обнаруживать тенденцию к понижению, потому что там остатки низших хозяйственных форм совершенно ничтожны, да и те специально эксплуатируются капиталом торговым, так что для торговой эксплуатации со стороны производственного капитала нет места. Однако и там фактически устанавливается та же тенденция, подтверждая теоретические выводы трудовой теории ценности и капитала.

Итак, мы должны признать, как нормальную общую тенденцию капиталистического развития, вытекающую из прогресса техники—повышение органического состава капиталов и соответственное уменьшение нормы прибыли.

1) Строение общественного капитала и роль трудовой стоимости в обмене.

Трудовая стоимость регулирует капиталистический обмен товаров, как мы видели, не непосредственно, а через цены производства; и эти последние тем в большей мере могут расходиться с величинами трудовой стоимости, чем сильнее различия в органическом строении капитала разных отраслей. Но расхождение это, в свою очередь, ограничено рамками одной специальной части товарной стоимости,—именно той части, которая образована прибавочным трудом,—потому что на всяком товаре должен получаться равный процент прибыли, тогда как процент прибавочного труда в его трудовой стоимости на деле не одинаков. Исходя из таких оснований, легко теоретически показать, что технический прогресс, повышая строение всех капиталов, понижая норму прибыли, тем самым суживает пределы

расхождения между трудовой стоимостью и ценами производства, так что эти величины сближаются между собою.

Всего удобнее показать это на числовых иллюстрациях, взяв для сравнения две эпохи с разным строением всего общественного капитала.

Наш старый пример с годовою нормою прибыли в 18% относится к эпохе сравнительно еще низкого органического состава. Его средняя схема такова: $880.000c + 120.000v + 180.000m$. При этом строении цена производства совпадает с трудовой стоимостью. Рассмотрим крайние уклонения от такой средней. Предприятия с одним постоянным или с одним переменным капиталом невозможны: всегда необходим живой труд, чтобы приводить в связь и движение элементы производства, всегда необходимы технические средства производства для живого труда при капитализме,—если не орудия и здания, то, по крайней мере, материалы. Пусть крайний высший состав на данном уровне развития будет 98 частей постоянного на 2 части переменного капитала, крайний низший—20 частей постоянного на 80 переменного. Сравним цены производства с трудовой стоимостью для обоих случаев.

I. $980.000c + 20.000v + 30.000m = 1.030.000$ трудов. единиц. Капитал 1.000.000; прибыль 18%, т.-е. 180.000; товар продается за 1.180.000 (единиц денежных, напр., рублей), т.-е. почти на одну седьмую дороже истинной стоимости (на $14\frac{1}{2}\%$).

II. $200.000c + 800.000v + 1.200.000m = 2.200.000$ раб. дней. Капитал 1 миллион, прибыль 180.000; продажа за 1.180.000 руб., т.-е. на четыре девятых дешевле стоимости (на $46\frac{1}{2}\%$).

Таковы приблизительные пределы колебаний для данной эпохи.

Теперь перед нами более поздняя фаза развития. Среднее строение капитала таково:

$940.000c + 60.000v$. Прибавочная стоимость [при той же норме эксплоатации 90.000; это [дает среднюю норму прибыли 9

Верхний предел органического состава значительно повысился, конечно, не мог. Пусть он будет.

I. $990.000c + 10.000v + 15.000m = 1.015.000$ раб. дней. Капитал 1 миллион, прибыль 9% = 90.000; товар продается за 1.090.000, т.-е. приблизительно на одну пятнадцатую дороже своей стоимости (на $7\frac{1}{2}\%$).

Зато нижний предел должен был повыситься значительно, потому что машины распространяются шаг за шагом во всех областях производства; и мы погрешим скорее вниз, чем вверх, т.-е. останемся позади действительного положения, если примем этот предел таким:

II. $500.000c + 500.000v + 750.000m = 1.750.000$ раб. дней.
Цена производства та же—1.090.000; товар продается на три восьмых дешевле стойности (на 37,7%)¹⁾.

Таково влияние технического прогресса на меновые отношения; он стремится вновь приблизить средние цены к непосредственной трудовой норме. Влияние это выступит еще резче, если мы примем в расчет зависимость самого развития техники от потребностей капитала.

Дело в том, что при капитализме усовершенствования техники не представляют из себя чеголибо случайного. Выработанные научные методы позволяют шаг за шагом их создавать по мере требования на них со стороны капитала. Даже помимо той планировки организаций научно-технических изысканий, какую организуют для себя крупнейшие предприятия, особенно тресты, капитал вообще своим спросом поощряет работу изобретательской мысли и направляет ее, куда ему нужно. И легко видеть, каково должно оказаться это направление.

Прежде всего ясно, что наиболее сильный спрос на технические улучшения предъявляют отрасли наиболее низкого органического состава. Занимая относительно большое число рабочих, они имеют перед собою особенно большой простор для замещения рабочих машинами. А развивающаяся классовая борьба дает им достаточные мотивы, чтобы усиленно использовать этот простор. Таким образом здесь обнаруживается самая сильная тенденция повышать строение капитала, и наука, подчиняясь экономической потребности, находит средства для этого.

Что касается отраслей высшего строения, то там стремление к техническому прогрессу—вообще говоря, менее напряженное—направляется, главным образом, в иную сторону. При сравнительно уже малом числе рабочих рук нельзя получить слишком

¹⁾ Чтобы оценить смысл этих цифр, надо еще иметь в виду, что, согласно теории вероятностей, крайние уклонения суть в тоже время наиболее редкие.

большой выгоды, вытесняя их дальше машинами. Напротив, особенно важное значение приобретает всякая экономия на постоянном капитале—удешевление машин, удешевление материалов. Ищут способов упростить конструкцию машин, заменить в них менее прочный материал более прочным, более дорогой металлом дешевым, массивные части, где только возможно—полыми, усовершенствовать систему топки для сбережения топлива, и т. под. Поскольку эти усилия увенчиваются успехом, получается изменение органического состава капитала в сторону, обратную прежним изменениям: доля постоянного капитала относительно уменьшается. Лишь тогда, когда в этом направлении дальше ити не удается, внимание техников снова сосредоточивается по преимуществу на сокращении живого труда.

Следовательно, технический прогресс, в связи с экономическими условиями развития капитала, заключает в себе общую тенденцию к выравниванию органического строения капиталов различных отраслей; и эта тенденция, усиливая действие той основной, которая ведет к общему повышению состава капиталов, в свою очередь уменьшает амплитуду колебаний цен производства выше и ниже чистой трудовой нормы.

Наконец, из технического прогресса возникает, еще более косвенно, новый важный момент, действующий на цены производства в ту же сторону: это классовая борьба пролетариата, поскольку она достигает уменьшения нормы эксплоатации.

Понижение нормы прибавочной стоимости означает, при прочих равных условиях, соответственное понижение нормы прибыли. Вернемся к одной из предыдущих иллюстраций. Пусть благодаря развитию машинного производства, средний состав капитала достигает $940.000c + 60.000v$, но вынужденные уступки предпринимателей свели норму эксплоатации к 100% вместо 150% . Тогда получается схема $940.000c + 60.000v + 60.000m$, и процент прибыли будет $\frac{60.000}{1.000.000} = 6\%$. Каким окажется тогда наименьшее отклонение цены производства от истинной стоимости товара? Оно связано с наиболее низким строением капитала; в нашем примере это $500.000c + 500.000v$. Трудовая стоимость всего продукта $500.000c + 50.000v + 500.000m$ (потому что приб. стоимость составляет 100% от переменного капитала), а всего 1.500.000 раб. дней. Товар продается с 6% прибыли, т.-е. за 1.060.000 (рублей),—дешевле стоимости всего на

29% а не на 37,7%, как было при более высокой норме эксплоатации.

Как видим, капиталистическое развитие различными путями стремится восстановить непосредственную зависимость товарных цен от стоимости, тогда как зависимость по форме более косвенная,—при посредстве нормы прибыли,—по существу же не менее полная и строгая, при капитализме остается всегда.

Новейший период капитализма характеризуется гигантским развитием монополий, в форме синдикатов, трестов, и особенно кредитно-промышленных концернов. Не уничтожается ли этим значение всей той закономерности, которую мы установили на основе капиталистической конкуренции? Ведь, монопольные цены определяются, повидимому, только соотношением сил двух сторон в обмене, и с трудовой точки зрения внезаконны?

Но мы уже указывали, что ход развития капитализма против одних организаций капитала выдвигает другие, против монополий—монополии. Условия либо уравниваются настолько, что организации сохраняют свое место в социальной системе,—но тогда, значит, соблюдаются условия жизненного равновесия или приспособленности, которые выражаются в трудовом принципе, как высшем регуляторе обмена; либо не уравниваются,—но тогда более слабая организация терпит крушение и сходит со сцены, поглощаясь более сильными, которые в силах удерживать необходимое равновесие.

Гигантские группировки финансового капитала, под регулирующей властью которых в начале XX века оказался поделенным весь экономический мир, каждая внутри своей сферы, вынуждены заботиться о сохранении, о жизнеспособности всех вассальных предприятий; а это и значит—руководить их взаимообменом в направлении выясненных здесь законов; между собою же эти группировки находились в достаточном равновесии вплоть до мирового военного кризиса. Таким образом, капитализм финансовых монополий в общем, можно полагать, еще строже осуществлял трудовой принцип обмена, чем капитализм промышленной конкуренции.

III. Трудовая стоимость и рента.

а) Капитализм и рента.

Рента, как мы знаем, исторически древнее капитализма, но только в одной, первичной своей форме, как рента абсолютная, царством которой являлся феодальный мир. При феодальной эксплоатации весь прибавочный труд воплощался в абсолютной ренте. Капитализм радикально преобразовал способы эксплоатации; основным воплощением прибавочного труда стала прибыль. Однако новый строй отнюдь не уничтожил до конца то монопольное отношение к земле и силам природы, которое служило базисом ренты; напротив, он развил его в законченные формы частной собственности. Поэтому и рента должна была остаться, но в преобразованном виде капиталистической ренты.

Конкуренция стремится сделать прибыль каждого предпринимателя пропорциональной его капиталу, т.-е. сумме кристаллизованного труда, применяемой для эксплоатации живого труда. Но эта уравнительная тенденция может осуществляться на деле лишь постольку, поскольку на деле равны условия самой конкуренции. Условия рынка, т.-е. обращение товаров, действительно могут быть и обыкновенно бывают равными для всех конкурирующих. Но этого отнюдь нельзя сказать относительно условий производства, технического процесса. В том, что касается рабочей силы, орудий и вообще средств производства, созданных прежним трудом, действие конкуренции в силах, если не сразу, то достаточно быстро восстановить приблизительное равенство там, где оно нарушено: если капиталист *A* ввел у себя новую, лучшую машину, то его конкуренты *B*, *C* и *D* поспешат, в свою очередь приобрести такие же машины. Но даже и здесь, пока они не успели сделать этого,—а если первый капиталист сумел пред-

усмотрительно запастись привилегией, то пока не истечет срок привилегии,—технически передовое предприятие получает сверхобычную прибыль; и этому не только не препятствует, а, наоборот это обуславливает та же уравнительная сила конкуренции, благодаря которой продаются по одинаковой цене товары, произведенные при разных технических условиях. Эту „сверх-прибыль“, вытекающую из временной технической монополии, Маркс рассматривал, как выражение „относительной прибавочной стоимости“; но если мы обратим внимание на то, что она есть результат монополии, то ее также, и притом с еще большим основанием, можно назвать „рентой технического усовершенствования“. Для иллюстрации представим ее в одной из наших числовых схем:

Строение капитала $940.000c + 60.000v$; норма эксплоатации 100% ; таким образом, рабочие за свою заработную плату дают предпринимателю в общем 120.000 дней труда; но введенная в предприятии машина делает их работу вдвое производительнее той общественно-средней, какая соответствует обычной пока еще технике. Следовательно, рынок учитывает каждый из этих рабочих дней за два, и годовой продукт будет продан за сумму $940.000 + 2 \times 120.000 = 1.180.000$ рыночных единиц, напр., рублей. Вместо нормальных 6% , капиталист выручает 18% . Лишние 120.000 составляют ренту от монополии на машину.

Но если такие монополии, вообще говоря, очень непродолжительны¹⁾, то другой элемент производства—сила природы, имеющиеся в ограниченном количестве, и специально—почва с ее богатствами, составляют объект монополии гораздо более устойчивой, прочной, как сама частная собственность—основа капитализма. А между тем и этот элемент определяет собою большую или меньшую производительность труда, т.-е., при равенстве рыночных условий, порождает неравенство выгод, обуславливает „ренту“. И вполне очевидно, что если в каком-нибудь земледельческом или горном предприятии производительность труда работников окажется вдвое выше обычной вследствие осо-

¹⁾ Лишь как самое редкостное исключение можно указать в наше время случаи, когда технические секреты сохраняются в одном предприятии несколько десятков лет, как, напр., секрет наиболее точного деления кругов в астрономических инструментах у крупной фирмы оптиков Репсольд. Обыкновенно даже привилегии даются всего на несколько лет.

бенного плодородия почвы или исключительного богатства руды, то от этого получится таким же способом и такая же по своим размерам „сверх-прибыль“, как в предыдущем нашем примере благодаря лучшей машине. Вся схема с ее цифрами останется та же, только вместо „ренты от технического усовершенствования“ перед нами будет дифференциальная земельная рента.

Однако в нашем анализе имеется пока еще один важный пробел. Мы принимали, что норма прибыли устанавливается сама собою, независимо от ренты, что это последняя определяет собою лишь индивидуальное склонение выгодности данного предприятия от обычной величины. В действительности это не так. По отношению к ренте от технических улучшений это приблизительно верно, по отношению к земельной и того сказать нельзя. В первом случае дело сводится ко временному уменьшению прибыли большинства капиталистов одной только отрасли производства,—той, в которой выдвинулось одно или несколько технически более прогрессивных предприятий: вооруженные усовершенствованиями капиталисты, чтобы закрепить за собою сбыт при расширенном производстве, всегда несколько понижают цены по сравнению с обычными; это немного уменьшает относительную величину их сверх-прибыли, но гарантирует им полный успех в конкуренции; другие же капиталисты, вынужденные вслед за ними понижать цену, не получают полной обычной прибыли, пока не сравняются с ними в технике. Земельная же рента имеет не временный, а постоянный характер, и ее влияние на уровень прибыли шире и прочнее.

Стихийное уравнивание нормы прибыли силами конкуренции стремится поставить всех капиталистов в такое положение, как будто бы они были членами одного громадного акционерного предприятия, в котором каждый получает дивиденд пропорционально числу имеющихся у него акций; своими неорганизованными методами рынок производит раздел общей суммы прибыли между предпринимателями; и те неизбежные „несправедливости“, которые при этом получаются благодаря стихийности рыночного процесса, все-же являются частичными и преходящими,—тяготение к „равенству“ преобладает над ними. Но по отношению к постоянной ренте—земельной—оно совершенно бессильно, и даже более того: как мы видели, оно ей вполне подчиняется, закрепляет ее, как нечто естественное и необходимое. А между

тем эта рента берется, конечно, из общей суммы прибавочной стоимости, произведенной во всем экономическом механизме; следовательно, это такая часть общественной прибавочной стоимости, которая просто не идет в раздел, регулируемый общественною нормою прибыли. Но если часть прибавочной стоимости не идет в раздел, то изменяется самое определение величины нормы прибыли: она получается в результате деления не всей прибавочной стоимости на весь общественный капитал, а всей за исключением ренты. Этот факт может найти, и обычно находит себе живое выражение в самой классовой структуре общества, когда получателями ренты выступают не капиталисты-предприниматели, а другая социальная группа—землевладельцы.

Итак, поскольку существует неравенство в естественных условиях производства, постольку часть прибавочной стоимости ускользает из-под действия законов, управляющих распределением прибыли, и принимает форму ренты. Но эта часть отнюдь уже не сводится в каждом отдельном предприятии к той величине, которая выражает для него перевес производительности труда над общесредне производительностью: если есть предприятия с производительностью труда более высокую, чем средняя, то должны, очевидно, быть и такие предприятия, в которых она ниже средней; и если бы уже для предприятий в этом отношении средних не существовало никакой ренты, а была бы только нормальная прибыль, то предприятия низшего уровня не давали бы и этой нормальной прибыли; а так как дело идет не о временных, а о постоянных условиях производительности труда, то и невыгодное положение данной группы предприятий было бы не временным, а постоянным, и тенденция к равенству норм прибыли была бы радикально нарушена,—чего не допускает сила конкуренции. Стало-быть, и предприятия с наименее благоприятными естественными условиями труда должны еще давать, по меньшей мере, нормальную прибыль, а следовательно все остальные предприятия, пользуясь условиями более благоприятными, во всяком случае дают, кроме того, ренту.

Но если так, то не следует ли принять, что, по крайней мере, указанная низшая группа предприятий свободна от ренты вполне и приносит одну только предпринимательскую прибыль? Именно таково было мнение Давида Рикардо, основателя научной теории ренты,—но ближайший анализ показывает, что в этом пункте он ошибался.

Исследуя земельную ренту преимущественно в предприятиях сельского хозяйства, где зависимость результатов труда от природы всего значительнее и всего очевиднее, Рикардо представлял развитие экономических отношений таким образом, как будто капитал лишь постепенно и последовательно захватывает в свою эксплоатацию земли, составляющие территорию капиталистического общества: сначала только лучшие участки, потом все более и более плохие, по мере того как растущий, вместе с ростом населения, спрос на продукты сельского хозяйства повышает их цену, а с нею выгодность обрабатывания земли. При этом оказывается, что худшие из прежде занятых участков, дававшие только обычную прибыль и никакой ренты, начинают приносить больше дохода, т.-е. становятся рентоносными, и капиталисты тогда решаются перейти к обработке еще худших участков, которые при новых условиях уже способны вознаградить применение капитала надлежащей прибылью, но ренты еще не дадут. Затем, при дальнейшем росте населения и спроса на сельско-хозяйственные продукты, снова доходность последних занятых участков переходит границы нормальной прибыли, снова капитал устремляется на земли еще худшего качества и т. д.

Против теории Рикардо с исторической точки зрения возвращали, что в действительности развитие вовсе не шло и не идет таким путем, как это изображает схема Рикардо, — что гораздо чаще дело происходит наоборот; напр., с менее плодородной территории Европы капиталистическое земледелие распространялось на плодороднейшие равнины Северной и Южной Америки, Южной Африки и Южной Австралии: чтобы технически завладеть почвой наиболее одаренных природою стран, требовалось предварительно большое накопление и затем эмиграция капитала, тогда как худшие земли европейских стран, находившиеся, так сказать, под рукою капитализма, были заняты уже давно. — Однако это возражение само по себе не может подорвать теоретического значения концепции Рикардо: возможно принять, что историческая последовательность движения капитала была иною, чем в его схеме, но что, тем не менее, схема верно изображает сущность отношений между прибылью и рентой, между предприятиями, находящимися в лучших и в наихудших природных условиях. Но в учении Рикардо, на самом деле, упущен один важнейший исторический момент, существенный для капитализма: полное развитие частной собственности, охватывающей, на-ряду со сред-

ствами производства, имеющими трудовую стоимость, также и те „даровые“ условия труда, которые природа дает людям не в неограниченном количестве. Если принять этот момент во внимание, то немедленно обнаруживается недостаточность теории Рикардо, и к исследованной им „дифференциальной ренте“ приходится присоединить „абсолютную ренту“ Маркса.

Если „наихудшие“ участки земли находятся в руках лэндлорда, он не уступит их даром капиталисту, под его предприятие. Если они принадлежат самому капиталисту, он, соответственно предыдущему случаю, желает учесть эту собственность в доходах своего предприятия: не станет же он продавать свои продукты по низшей цене, чем предприниматель, снявший в аренду участок такого же качества у какого-нибудь наследника прежних феодалов. Идеально-свободным от ренты предприятием было бы такое, которое не нуждалось бы ни в лучшем, ни в худшем участке земли; но в действительности такого предприятия найти, конечно, нельзя. К этому пределу могут довольно близко подходить только промышленные предприятия, концентрирующие иногда на сравнительно ничтожном пространстве земли громадную массу капитала и труда: тут величина ренты, так сказать, теряется в много-кратно ее превосходящей величине прибыли. Но все же рента и тут имеется; а если бы капиталист, в виде исключения, занял никому еще не принадлежавшую землю, как это бывало в некоторых колониях, то рента неизбежно возникает, как только колония станет вполне капиталистической, что предполагает обращение всей ее территории в объект собственности.

Очевидно, что рента с предприятий, пользующихся наихудшими естественными условиями, зависит вовсе не от превосходства их производительности труда по сравнению с какими-либо другими предприятиями, а только от монопольной позиции собственников земли, которые берут себе часть прибавочной стоимости за простую возможность применения капитала на их земле. Это и есть „абсолютная рента“. Она есть наиболее яркое и чистое выражение господства над капиталистической формою производства того частного присвоения, которое исторически и логически служит предпосылкою полного развития этой формы.

Рента дифференциальная повсюду, где она, благодаря наличием различиям производительности труда, возникает, очевидно, просто присоединяется к абсолютной, но никогда не встречается без нее, — тогда как эта последняя, наоборот, возможна и в

отдельности. Таким образом, при анализе прибавочной стоимости во вполне развитом капиталистическом обществе нам приходится ее делить на прибыль, абсолютную и дифференциальную ренту,— при чем только последняя из этих трех частей не присутствует постоянно.

В сущности, связывать дифференциальную ренту с одними „даровыми силами природы“, захваченными в монополию, не вполне точно. Очень важную роль в экономике капитализма играет так называемая „рента положения“, которая определяется близостью или отдаленностью предприятия от его рынка, легкостью или трудностью сообщения с ним. Транспорт представляет заключительную стадию производства товаров, и в этой стадии затраты в высшей степени неравномерны для отдельных предприятий: для предприятия, расположенного в нескольких километрах от его рынка, напр., от большого города—потребителя, они ничтожны, для расположенного в нескольких тысячах километров—огромны; т.-е., получается очень большая разница в производительности труда,— разница, зависящая уже преимущественно от распределения социально-трудовых сил на территории капиталистического общества, а не только от природных условий, облегчающих или затрудняющих транспортное дело. Эта разница определяет собою дифференциальную ренту совершенно таким же способом, как и, положим, разница в плодородии земли.

С концентрацией экономической жизни в городах „рента положения“ достигает местами, как известно, гигантских размеров, напр., десятков и сотен долларов в год на квадратный метр. Ее историческое развитие значительно отличается от развития аграрной, горной и т. п. разновидностей ренты. Но социальная сущность одна и та же для них всех. Если бы воздух и солнечный свет имелись на земле в ограниченном количестве, они также, несомненно, стали бы объектом монопольной собственности и послужили бы основою для ренты.

Исторически, рента, как мы видели раньше, предшествует развитию капитала и прибыли; но тогда она имеет и совершенно иной экономический характер: рента феодальной эпохи неразрывно связана с организаторской функцией в производстве, ее основная форма—натуральная, и т. д. В обществе же капиталистическом рента неизбежно подчиняется его общему строению и преобразуется так, что становится частным видом прибыли на капитал,—ассимилируется с прибылью.

Происходит это таким путем, что рядом с действительным капиталом общества, представляющим его прошлый кристаллизованный труд, возникает капитал фиктивный, соответствующий ренте. Пусть, напр., весь реальный капитал равняется, как у нас принималось, 880 милл.*s* плюс 120 милл.*v*, или 1 миллиарду рабочих дней; прибавочная стоимость, при норме эксплоатации 150%, составляет 180 миллионов рабочих дней; но из нее 80 миллионов присваиваются в виде ренты, и только остальные 100 миллионов образуют „прибыль“ в собственном значении этого слова. Тогда годовая норма прибыли оказывается 10%, и, следовательно, 80 миллионов ренты вполне эквивалентны прибыли с капитала, равного 800 миллионов. Эти 800 миллионов и воплощаются в цене земли. Земля, взятая сама по себе, независимо от вложенного в нее человеческого труда, получает меновую ценность и становится капиталом; величина его есть „капитализированная рента“, т.-е. денежная сумма, годовая прибыль с которой равнялась бы ренте. Эта фикция закрепляется и в экономическом смысле реализуется покупкой-продажей земли, ее закладыванием и т. п. операциями. Капиталист, купивший участок девственной почвы за 100 тысяч рублей, имеет все субъективные основания полагать, что он таким путем вложил уже 100 тысяч рублей капитала в то предприятие, которое на данном участке будет устраивать; естественно, что он считает себя вправе впредь извлекать надлежащее количество прибыли из этого капитала. С точки зрения капитализма, он прав и объективно; доказательство — вполне достаточное и очевидное — заключается в том, что он на самом деле получает затем прибыль на свои 100 тысяч рублей.

Это, разумеется, не делает фиктивную „ценность“ действительной, а служит только выражением основной ограниченности капиталистической точки зрения. Капитализму вообще свойственно создавать такого типа „ценности“; они в кредитном и акционерном мире составляют преобладающий элемент спекуляции. Если, напр., акции крупного предприятия сегодня обращаются по цене в 100 руб., а в совокупности образуют капитал в 10 миллионов, завтра же будут котироваться по 120 руб., и общая их цена достигнет 12 миллионов, — то это, разумеется, отнюдь не означает, что за сегодняшний день в предприятие вложено 2 миллиона рабочих дней кристаллизованного труда; создание минимого капитала означает здесь только то, что предвидится полу-

чение большей прибыли, чем это ожидалось раньше. В этих явлениях, совершенно так же, как и в „капитализации ренты“, очищается от всяких оболочек сущность капитала: оказывается, что он есть возможность присвоения общественно-произведенной прибавочной стоимости, и только; ни организаторская функция, ни какая бы то ни была активная роль в производстве не являются необходимыми атрибутами капитала, не входят в определение завершенной его формы.

в) Рента абсолютная и дифференциальная.

Нельзя считать случайным тот факт, что рента дифференциальная была исследована раньше, чем даже научно установлено существование ренты абсолютной,—хотя исторически эта последняя гораздо древнее. В противоположность феодальной эпохе, которая знала только абсолютную ренту, для капитализма экономически-необходимой и неустранимой является лишь рента дифференциальная; рента же абсолютная для него может рассматриваться, как наследие феодальной системы и выражение сохранившейся в известной степени социальной силы старо-землевладельческого класса.

В ряду реформ, завершающих развитие капиталистического общества, вполне мыслима и возможна „национализация земли“, переход ее в руки государства, которое представляет буржуазно-классовой союз—организацию господства буржуазии. В таком случае абсолютная рента перестала бы существовать; вполне слившись с прибылью капиталистов, она не была бы более постоянным вычетом из нее¹⁾. Но дифференциальная рента, как самостоятельное экономическое явление, осталась бы и тогда, по-прежнему влияя на годовую величину процента прибыли. В самом деле, и тогда одинаковые товары, произведенные при различных природных условиях, определяющих неравную произ-

¹⁾ Даже если бы государство поставило на место абсолютной ренты соответственный арендный налог на каждую единицу эксплуатируемой территории, то и это не было бы абсолютной рентой в социально-классовом смысле этого слова: подобный налог, уплачиваемый капиталистом и идущий на издержки, связанные с общими интересами его собственного класса, существенно отличался бы от той платы, какую теперь получает с капиталиста, за возможность приложения его капитала, представитель другого класса—землевладелец в свою личную пользу.

водительность труда, должны продаваться на общем рынке по одинаковой цене; следовательно, если цена товара, произведенного при худших условиях, будет заключать в себе издержки капитала плюс нормальную прибыль, то цена товара, полученного при большей производительности труда, т.-е. с меньшими издержками, будет заключать уже не только эти издержки с нормальной прибылью, но еще излишек сверх этого—дифференциальную ренту. А вместе с нею неизбежно создается и фиктивный капитал, понижающий среднюю норму прибыли для всех действительных капиталов. Пусть этот фиктивный капитал принадлежит государству, т.-е. тому же классу капиталистов в его организации, в его целом; но все же дифференциальная рента продолжает действовать на величину процента прибыли, и учитывается, как прежде, при его определении, стихийно происходящем в процессе обращения товаров.

Такое глубокое различие между двумя видами ренты, увеличивая сложность и трудности исследования, весьма естественно вызывает стремление привести их к теоретическому единству, найти такую точку зрения, с которой можно было бы дифференциальную и абсолютную ренту рассматривать, как явления экономически-однородные. Наилучший путь к разрешению вопроса—это свести один вид ренты к другому; а так как теоретически более простым и более необходимым из них представляется рента дифференциальная, то делаются попытки именно с ее помощью объяснить ренту абсолютную. “

Объективные основания для таких попыток, несомненно, имеются, и принципиальное решение вопроса не может быть иным. В развитии капитализма встречаются моменты, когда абсолютная рента фактически превращается в дифференциальную. Это происходило каждый раз, когда старая капиталистическая страна приобретала незаселенные колонии с девственную почвой (или колонии, заселенные „дикарями“, коллективная родовая собственность которых капитализмом не признается). Тогда, в интересах развития колонии, обыкновенно предоставлялся частной инициативе свободный захват участков „не занятой“ земли для их возделывания, или же, как бывало в горных местностях, богатых минераллами,—для разработки руд. В такие,—конечно, не особенно продолжительные—периоды создавался особый разряд земель без ренты. Капиталисты-арендаторы, ведущие дело в стране-метрополии, получали возможность выбора между дальней-

шей уплатою ренты своим землевладельцам, или перенесением капитала в колонию, с заменою этой ренты невыгодами транспорта товаров на далекое расстояние. Ясно, что при этом вся старая рента приобретала исключительно дифференциальный характер. Но затем, когда вольные колониальные земли оказывались исчерпанными, возникала и там уже не только дифференциальная, но и абсолютная рента,—принцип монополии на землю вступал снова в силу со всеми своими последствиями.

Однако это временное сведение обеих форм ренты к одной, бесспорно, важное для экономической философии, для монистичного понимания общественных процессов эпохи капитализма, не устраниет необходимости и практически и теоретически отличать абсолютную ренту от дифференциальной. Пока монопольная частная собственность на землю существует, не может на деле уничтожиться и абсолютная рента; а свободный колониальный захват приходит рано или поздно к исчерпанию всей доступной людям поверхности. Только глубокая практическая реформа капитализма, в духе национализации земли, способна реально уничтожить абсолютную ренту. А попытки сделать ее ненужной, как научную концепцию, теперь же, обыкновенно основываются на логических или исторических ошибках.

Подобную попытку сделал несколько лет тому назад П. Маслов¹⁾. Он рассуждает следующим образом. „Естественные силы“ земли еще нигде целиком не использованы, и всюду капиталист-арендатор может, следовательно, прилагать к арендуемому им участку земли новые и новые количества капитала, пока будет получать на них хотя бы обычную прибыль; а это равносильно тому, как если бы он занял для дальнейшего приложения своих капиталов свободный, но худший участок земли, за который никакой ренты платить не требуется. Таким образом вся рента, которую он отдает землевладельцу, есть дифференциальная, зависящая от различной производительности первых затрат капитала, и последующих.

Как видим, П. Маслов взял за основу своих соображений принцип убывающей производительности последовательных затрат капитала и труда, прилагаемых к одному и тому же участку. Мы знаем, что принцип этот не может быть признан постоянно

¹⁾ В первом томе своей большой работы „Аграрный вопрос в России“.

и безусловно верным,—что иногда даже именно первые затраты капитала могут быть наименее прибыльными¹⁾; но в тех рамках, в каких его применяет Маслов, т.-е. при наличности более или менее сложившегося сельского хозяйства и установившейся техники, допустить такую предпосылку можно,—и не в этом слабая сторона аргументации.

Дело в том, что „далнейшего“ приложения капитала к данному, хотя бы и к самому худшему участку, надо все-таки этот участок иметь в своем распоряжении, т.-е. арендовать его (или купить, что существует дела не изменяет), а значит, платить за него ренту безотносительно к этим последующим, еще не сделанным затратам капитала; но „безотносительно“—это и означает абсолютную ренту, в отличие от дифференциальной. Дифференциальная рента зависит от разницы в производительности реальных, а не всех возможных приложений капитала к отдельным участкам. Рента, которую арендатор платит с наихудшего участка, определяется вовсе не тем, что последующее приложение капитала, если оно произойдет, будет менее производительно, и что первое приложение капитала поэтому более производительно и должно приносить сверх обычной прибыли еще дифференциальную ренту. В экономическом процессе действительное вообще не определяется возможным, и настоящее будущим, а как-раз наоборот.

Рассуждение Маслова могло бы еще получить некоторую опору, если бы процент прибыли на капитал в социальном масштабе устанавливался совершенно независимо от ренты, в какой-то другой экономической сфере. Тогда возможно было бы и такое понимание фактов: даже наихудшие участки при первоначальных затратах капитала приносят больше, чем обычную прибыль; излишек есть рента; но так как последующие затраты на том же участке этого излишка не приносят, то эта рента не абсолютная, а дифференциальная, зависящая от различной производительности первоначальных и последующих затрат. Но на самом то деле и процент прибыли на капиталистическом рынке устанавливается в зависимости от ренты, при том именно от всей ренты, в том числе и той, которая берется за пользование наихудшими участками: прибыль на действительный капитал общества получается за вычетом всей этой ренты из общей суммы прибавочной стоимости,

¹⁾ Этот принцип, в его более общей форме („закон убывающего плодородия“) нам приходилось разбирать в одвей из глав I тома (стр. 84. 2-е изд.)

и, значит, процент прибыли уменьшается соответственно величине ренты. Следовательно, наихудшие участки приносят больше, чем обычную прибыль, как раз по той причине, что норма прибыли понижена вычетом собственной ренты, а вовсе не потому, что первые затраты капитала прибыльнее вторых, третьих и т. д.

Источник ренты здесь вовсе не в разнице между последовательными затратами, и признавать ее дифференциальной („разностной“) отнюдь нельзя.

Ошибка анализа у Маслова состоит, очевидно, в том, что он ренту с наихудших участков относит за счет особой прибыльности начальных затрат капитала,—а в действительности она есть результат чистой монополии на землю, и вычет из прибыльности капиталов. Но за ошибкой аналитической тут скрывается—или, по крайней мере, из нее легко может возникнуть ошибка социально-историческая. Абсолютная рента в высшей степени важна для понимания основной структуры современного капиталистического общества и тех границ, на которые в наше время еще наталкиваются его основные тенденции.

Дифференциальная рента предопределяется автоматически в сфере производительности труда; абсолютная устанавливается на совершенно ином поле—в области классовой борьбы капиталистов и землевладельцев, борьбы, протекающей не только в экономических, но также и в политических формах.

Абсолютная рента есть наиболее чистое выражение остающейся—хотя и в чрезвычайно уменьшенной степени— власти над нынешним обществом земельных „сеньеров“ или тех, кто занял их место. Власть эта, в феодальную эпоху безраздельно тяготевшая над обществом, нигде еще в капиталистических странах не исчезла вполне; в политической и культурной области от нее уцелело еще очень многое (влияние аристократии, феодальной религии, и т. под.); в экономической же области сохраняется ее базис, а именно старая земельная собственность. Сначала она поддерживает различные формы полу-крепостнической аграрной эксплоатации, как это наблюдается и до сих пор в отсталых странах, наблюдалось, до последней революции, также в России; а затем, вынужденная отказаться от этих форм под давлением экономических и политических сил развивающегося капитализма, она одевается в новую оболочку. Феодальная тенденция приспособляется к буржуазному миру, и находит в себе опору в его „священной частной собственности“, объектом которой является

в данном случае земля. Вооруженное неумолимой логикою этого великого буржуазного принципа, землевладение наносит жестокие удары другому не менее великому принципу капитализма—прибыли на капитал.—В развертывающейся отсюда борьбе капитала с землевладением высота абсолютной ренты есть результат и в то же время непосредственная мера относительной силы обеих сторон.

В первой половине XIX века, до отмены хлебных законов, Англия была уже вполне капиталистической страной, не только в промышленной, но и в аграрной жизни. Хлебные законы служили для поддержания монопольно-высоких цен хлеба, т.е. высокого уровня аграрной ренты. Стесняя привоз хлеба из других стран, законы эти как-бы суживали аграрную территорию, производившую хлеб на огромный английский рынок, и спрос капиталистического земледелия на пригодную для него землю наталкивался на чрезвычайно сокращенное предложение: лендлорд оказывался сильнейшою стороной, рента увеличивалась за счет прибыли. То была эпоха значительной ренты вообще, и специально—абсолютной ренты¹⁾, а вместе с тем огромного политического и обще-социального влияния аристократии. Буржуазия не могла примириться с таким положением; ее энергичная борьба за отмену хлебных законов была таким образом и борьбою за действительное господство в общественной системе. Сорганизовав свои огромные силы, буржуазия добилась уничтожения хлебных законов. Что произошло при этом с рентою?

Во-первых, конечно, уменьшилась ее величина вообще, и особенно, значит, величина „абсолютной“ ее части. Но кроме того—

1) Посредством простых арифметических расчетов легко показать, что от повышения цены продукта абсолютная рента возрастает быстрее—и обыкновенно гораздо быстрее, чем дифференциальная. Эта последняя растет приблизительно пропорционально самим ценам; рента же, взятая в целом и специально, значит, рента абсолютная увеличивается в значительно большей пропорции. Так, напр., пусть перед нами худший из пригодных для земледелия участков, размером в 100 десятин; затраты постоянного и переменного капитала 10.000 руб., обычная прибыль 10%; участок дает 12.000 пудов хлеба, продаваемого по 1 руб. за пуд; абсолютная рента равна тогда 12.000 рублей минус 11.000 (издержки вместе с прибылью), или 1.000 рублей. Если теперь цена хлеба поднимается на 10%, то получится всего 1 р. 10 к. \times 12.000=13.200 руб.; рента уже 2.200 р., возрастание больше, чем вдвое. Участок же более плодородный дает, положим, не 12.000, а 15.000 пудов; его дифференциальная рента может быть выражена прямо в виде 3.000 пудов хлеба; значит, при повышении цены хлеба на 10% она возрастет также лишь на 10%.

и это второе изменение для теории более важно—значительная доля прежней абсолютной ренты превратилась в дифференциальную. В самом деле, английскому земледелию пришлось вступить в свободную конкуренцию с заграничным, т.-е. ее сельско-хозяйственный капитализм, прежде представлявший сравнительно замкнутую экономическую систему, теснее слился с мировым сельско-хозяйственным капитализмом, стал частью более обширной экономической системы. Те участки, которые были худшими и наиболее удаленными от рынка в старой, изолированной системе земледелия, и приносили только абсолютную ренту, не стали, разумеется, лучшими, но в их уже понизившейся доходности стала играть значительную, если не главную роль, дифференциальная рента их положения: они оказались территориально более близкими к своему рынку, чем конкурирующие с ними заграничные земледельческие предприятия, доставляющие хлеб в Англию. Такое замещение одного вида ренты другим, „абсолютного“—дифференциальным, знаменовало не одну грубо-материальную победу буржуазных интересов над земледельческими, но и победу капиталистического принципа над переодевшимся в новые товарно-меновые формы принципом феодальным.

Во всей истории борьбы прибыли против ренты успехи капитала связаны с подобным преобразованием ренты. Капитал захватывал под экспансивное земледелие девственную почву удаленных стран, степей Сев. Америки, Аргентины, Австралии, где абсолютной ренты совсем или почти не было, и выдвигал их победоносную конкуренцию против обремененного абсолютной рентой земледелия старых европейских стран. Жизненность и доходность старого земледелия подчинялась, таким путем, „дифференциальным“ условиям большего или меньшего плодородия, большей или меньшей удаленности от рынка. Тенденция капитала неуклонно направлялась к тому, чтобы ликвидировать абсолютную ренту, частью по существу,— ее непосредственным сокращением, частью формально,—перенесением ее остатка в сферу „дифференциальных“ соотношений производительности труда в сельской промышленности и транспорте ее продуктов.

Естественно, что для старого земледелия, подчиненного старому землевладению, процесс этот был зачастую весьма болезненным. Глубокий и длительный аграрный кризис западно-европейских стран, охватывающий последние десятилетия XIX века, в значительной мере обусловливался ликвидацией преувеличенных

прежней, монопольно-абсолютною рентою землевладельческих доходов. Веками накопленная экономическая сила землевладельцев и основанное на ней их политическое преобладание, при недостаточной и обыкновенно стесненной конкуренции со стороны сельского хозяйства других стран, долгое время позволяли землевладельцам без труда обращать себе на пользу происходившее тем временем капиталистическое развитие: растущий, благодаря этому развитию, спрос на продукты сельского хозяйства давал им возможность, неуклонно повышая цены на эти товары, отбирать себе все более крупную часть общественно-производимой прибавочной стоимости. Аграрная рента возрастала, что выражалось в постоянно повышавшейся цене земли. Но так могло продолжаться только до тех пор, пока не удалось накопившему силы капиталу прорвать рамки старой аграрной монополии, противопоставить ей аграрную конкуренцию новых стран, подорвать созданные ею цены дешевыми продуктами этих стран, восстановить действие Грудовой нормы цен. Когда такой переворот произошел, доходы аграриев — лендлордов Англии, юнкеров Германии и прочих — резко понизились. Примириться с этим они не могли; свой кризис ренты они всячески старались переложить на плечи своих арендаторов и землевладельческих рабочих. Всей своей экономической силой, которая все еще была значительна, они давили на фермеров, урезывая их прибыль, и на рабочих, прямо или через арендаторов, доводя их плату до нищенского уровня. В результате — и капиталы стремились уходить от земледелия, перекочевывая в промышленность и торговлю, и сельские рабочие по мере возможности бежали из деревни. Земледелие сокращалось и падало, кризис обострялся.

Бессспорно, не к одной борьбе за чрезмерную ренту сводятся причины долгого застоя и частью регресса в европейском земледелии; другая причина — и, может быть, из двух более важная — было непосредственное понижение трудовой стоимости хлеба в системе мирового капитализма: плодородие черноземных степей, захваченных под земледелие в различных колониальных странах, увеличило среднюю производительность труда настолько, что старое интенсивное земледелие, несмотря на все совершенство его методов, оказалось ниже нового создавшегося уровня; некоторый застой был при этом неизбежен. Но нет сомнения, что кризис далеко не достиг бы той остроты и не принял бы того упорно-затяжного характера, какие наблюдались на деле, если

бы не ожесточенная борьба за ренту. Именно она сделала кризис особенно тяжелым для экономически-слабейших элементов капиталистического земледелия — для мелких фермеров и рабочих.

Землевладелец не мог не стремиться всеми силами к удержанию ренты на том наибольшем уровне, какого она достигала. Полуфеодальный землевладелец прежней формации, представитель чистейшего социального паразитизма, не мог хотя бы потому, что с этим уровнем ренты связан его уровень жизни, та степень роскоши и расточительности, которая стала для него необходимой потребностью и условием поддержания его социального положения. Новый землевладелец — капиталист, купивший поместья разорившегося аристократа, заплатил за землю сумму, соответствующую капитализированной ренте, и если не получает ренты в соответственных размерах — страдает в качестве капиталиста, не получающего нормальной прибыли на затраченный капитал¹⁾. Тот и другой борются ожесточенно, чтобы переложить тяжесть ухудшившейся конъюнктуры на третьих лиц — фермеров, рабочих, потребителей, на государство, к помощи которого они отчаяннозывают, и от которого на деле часто успевают ее добиться. Вся эта борьба, однако, должна рано или поздно оканчиваться поражением землевладельцев, потому что направлена против одной из основных тенденций капиталистического развития.

Капитализм стремится уничтожить абсолютную ренту, которая для него является инородным элементом, остатком чуждой экономической формации. Но те средства, которые до сих пор применялись для этого, — средства, не затрагивавшие по существу принципа частной собственности на землю, могли давать лишь некоторое приближение к цене, да и то временное. Захват новых свободных земель под капиталистическую эксплоатацию подрывал абсолютную ренту старых стран, — но потом, когда новые территории оказывались целиком захвачены сетью нового землевладения, там возникала и начинала расти такая же абсолютная рента, и то, что уже было отвоевано у старого землевладения,

¹⁾ Впрочем, и новый землевладелец-капиталист по большей части скоро усваивает себе „аристократические“ тенденции в своем образе жизни, несколько смягчая их только недостатком вкуса и размаха. Развиваясь в сторону паразитизма, буржуа „учится“ жить у своего предшественника — феодала.

капиталу приходилось отвоевывать другой раз, и т. д.¹⁾. Коренная ограниченность способов борьбы исключала возможность окончательной и полной победы капитала над его соперником.

Выводом отсюда является новая позиция, к которой и приходят наиболее решительные представители интересов капитала: отмена частной собственности на землю, ее национализация. Эта крайняя буржуазная реформа устранила бы необходимость абсолютной ренты, устранив индивидуальную монополию земельной собственности; государственная же власть, будучи в этом случае представительницей общих интересов класса капиталистов, не выступала бы по отношению к этому классу в качестве враждебного монополиста. Что касается ренты дифференциальной, то она, оставаясь одной из слагающих для образования товарных цен, также, разумеется, не могла бы удерживаться в руках отдельных капиталистов, берущих у государства в свое пользование лучшие участки: это означало бы монополию исключительно высоких доходов для некоторой части капиталистов. Дифференциальная рента, в виде арендного налога, доставалась бы тому же государству, т.-е., в сущности, классу капиталистов в его делом. Это принципиально уравнивало бы для капиталистов выгоды, зависящие от природных условий производства, и было бы не чем иным, как распространением на всю сумму прибавочной стоимости тенденции к равенству норм прибыли.

В настоящее время представляется весьма сомнительным, успеет ли капитализм вообще достигнуть этого этапа в своем развитии: движение к нему сильно замедляется тем, что главные усилия класса капиталистов по необходимости направляются в сторону самозащиты против нарождающихся элементов социалистических, а борьба с остатками элементов феодальных оттесняется тем самым на второй план; и возможно, что капиталистическая прибавочная стоимость подвергнется ликвидации раньше, чем в ее рамках прибыль успеет ликвидировать ренту. Но несомненно, что если бы этот последний переворот на деле произошел, то мы имели бы перед собою высшую, наиболее законченную форму капитализма.

¹⁾ Очень вероятно, что в этом лежит одна из главных причин того улучшения в ходе сельско-хозяйственного кризиса европейских стран, которое отмечалось исследователями за полтора десятилетия, предшествующие войне.

Пока этого нет, было бы бесполезно и безнадежно пытаться посредством абстрактного анализа установить, до какой границы земельная монополия может урезывать прибыль, и до какой границы капитал своим экономическим давлением может сокращать ренту. Вопрос решается конкретным соотношением силы двух сторон; и с точки зрения одного принципа — капиталистического — нельзя охватить и выразить полностью это соотношение, которое является результатом борьбы двух различных исторических принципов эксплоатации. Но вполне определены естественные рамки борьбы: их образует общая сумма капиталистически производимой прибавочной стоимости; а жизненный смысл этой борьбы сводится к дележу прибавочной стоимости между двумя классами собственников. — Конечно, из этих двух классов экономически более активный, исторически медленнее вырождающийся — капиталисты, и в общем ходе борьбы должна преобладать благоприятная для них тенденция.

с) Земельная рента и трудовая стоимость в обмене.

Земельная рента, входя как слагающая наряду с прибылью в общую величину рыночной цены каждого товара, обуславливает известные дополнительные уклонения цен от трудовой нормы. Теперь мы и рассмотрим характер этих уклонений и их пределы.

Стоимость товаров определяется, как известно, средним количеством общественно-необходимого труда, употребляемым для их производства, и, следовательно, зависит от средней производительности труда в каждой данной его отрасли. Но благодаря теории аграрной ренты Рикардо среди экономистов, даже школы Маркса, успело сложиться и распространиться мнение, что продукты сельского хозяйства представляют исключение из общего правила, — их меновая ценность связывается с высотою производительности труда при худших природных условиях, а не при средних, как следовало бы ожидать. С первого взгляда это кажется даже совершенно очевидным: наихудшие занятые под земледелие участки должны, за покрытием издержек производства, приносить обычную прибыль капиталисту, — иначе он стал бы искать иного помещения для своего капитала; а согласно поправке Маркса, они должны, сверх того, приносить и абсолютную ренту для землевладельца; цена товара на рынке должна заключать в себе все эти элементы и, стало быть, определяется именно худшими, а не

средними природными условиями производства. При средних же условиях и соответственной им производительности труда, сверх постоянных элементов образования цены—издержек, прибыли и абсолютной ренты—получается еще дифференциальная рента, т.-е. меновая стоимость оказывается, как будто, выше той индивидуально-трудовой стоимости, какая свойственна данному предприятию. Предприятие, которое ведется при средних природных условиях, является как-будто уже привилегированным, имеющим возможность обменивать товар выше своей стоимости, подобно тому как выше своей стоимости сбывает товар промышленное предприятие, пользующееся новыми, еще нигде кроме него не введенными машинами. Такое исключение из закона трудовой стоимости объясняют тем, что, благодаря частной собственности на землю, производство и продажа сельско-хозяйственных продуктов имеют всегда несколько монопольный характер; и так как продукты эти—предметы первой необходимости для общества, и спрос на них, с развитием общества и ростом населения, непрерывно увеличивается, то по отношению к ним и создается постоянное уклонение вверх от средней трудовой стоимости.

В действительности, однако, все эти соображения основаны на ошибочной предпосылке, именно той, что дифференциальная рента не есть нормальная составная часть цены товаров при капиталистическом производстве, а своеобразная надбавка к этой цене. Легко показать, в чем тут ошибка. Если стоимость товара слагается из элементов постоянного капитала, «переменного и прибавочной стоимости», то соответственно этому цена товара должна распадаться на издержки (c и v) и на „капиталистический доход“, который заключает в себе обычную прибыль вместе с обычной рентой: вся прибавочная стоимость, производимая в обществе, делится на прибыль и ренту, и только взятые вместе они выражают в области распределения то, что в области производства воплощается в прибавочном труде. Но „обычная рента“—это, очевидно, обозначает среднюю величину ренты для данной отрасли производства; а средняя рента есть совсем не то, что абсолютная. Эта последняя представляет только наименьшую величину ренты для данной отрасли; средняя же величина слагается из абсолютной плюс средняя дифференциальная.

Простой арифметический расчет показывает, что это не может быть иначе. Абсолютная рента входит слагаемым повсюду; к

ней прибавляется дифференциальная, изменяясь по предприятиям от нуля (наихудшие участки) до некоторой наибольшей величины; если вычислить среднюю величину суммы, то в нее войдут и постоянное слагаемое, и средняя величина слагаемого переменного. Из такой средней суммы и следует исходить, если мы хотим строить схему образования цен (вернее—их разложения).

Предположим, что пуд хлеба при средних природных и технических условиях кристаллизует в себе 10 часов абстрактного труда. Эта его трудовая стоимость слагается, допустим, из таких частей:

$$6c + 2v + 2m = 10 \text{ труд. единиц.}$$

Примем далее, ради упрощения, что она и реализуется на рынке в соответствии с этой суммой, напр., в виде рубля (считая, что 1 р. золота представляет тоже 10 часов труда,—цифры, конечно, фиктивные). Тогда из меновой стоимости каждого пуда 60 коп. идет на возмещение постоянного, 20—на возмещение переменного капитала, и 20 коп. присваиваются в виде прибыли и ренты: при норме прибыли 10% будет составлять 8 копеек прибыль и 12—рента.

При худших природных условиях пуд хлеба реально заключает в себе большее количество труда, напр., 12 часов. Для простоты предположим, что весь этот сравнительный излишек вкладывается под формую живого труда, а постоянная часть капитала сохраняет ту же величину—6 нормальных труд. единиц. Следовательно, количество живого труда выразится тогда фактически в 6 часах (12—6), т.е. для производства каждого пуда хлеба должна быть куплена рабочая сила сроком на 6 часов. Норма эксплоатации в нашей схеме 100%, и за 6 часов пользования рабочей силой платится всего 30 коп. переменного капитала (=3 труд. един.). Значит, издержки $60 + 30 = 90$ коп., а продается пуд хлеба, как и в первом случае, разумеется, по рублю. Остаётся на прибыль и ренту 10 коп.; прибыль—10% от 90 коп., будет 9 коп., величина ренты—1 копейка. Это—абсолютная рента, приносимая худшим участком.

Отсюда видно, что из 12 коп. на пуд хлеба, составляющих ренту среднего участка, 11 коп. представляют среднюю дифференциальную ренту.

На лучшем участке реальная сумма труда, нужная для производства пуда хлеба, будет, хотя бы, всего 8 часов, из кото-

рых—допустим опять-таки для упрощения—элементы с равны по-прежнему 6 часам (60 коп.), а живой труд прилагается в количестве 2 часов. На покупку рабочей силы будет затрачено, поэтому, всего 10 коп., сумма издержек $60+10=70$, а прибыль и рента составляют 30 коп., из них прибыль 7 (согласно предыдущим примерам, норма прибыли 10%, а с 70 коп. 10% равняются 7 коп.), рента абсолютная 1, дифференциальная—22 коп.

Итак, цена товара и в сельском хозяйстве определяется среднею производительностью труда, при средних природных условиях. Если ее определяют издержками производства при худших условиях, присоединяя к этим издержкам нормальную прибыль и абсолютную ренту, то это не противоречит действительности; но совершенно с таким же правом можно определять ее издержками при лучших природных условиях, с присоединением прибыли и наибольшей ренты¹⁾.

Того принципиального уклонения от трудового закона в обмене сельско-хозяйственных продуктов, которое обычно признается, при более точном анализе, как видим, найти нельзя,—дело сводится к простому недоразумению. Точно так же не вычеркивают критики и те соображения, которыми это мнимое уклонение объясняется. Хотя хлеб и есть, бесспорно, предмет первой необходимости для людей, но это вовсе не может дать монопольной привилегии продавцам его на рынке, пока спрос не превышает предложения. А последнее, при характерном для капитализма быстром развитии производительных сил, теоретически вовсе не обязательно, исторически же наблюдается не чаще, чем противоположный случай. Теория Рикардо складывалась в Англии, когда там существовали еще „хлебные законы“, и монопольные условия для хлебной торговли поддерживались политической

1) В наших иллюстрациях доля постоянного капитала принималась на единицу продукта одинаковой для всех случаев. На деле это, конечно, не так, и в лучших естественных условиях на единицу продукта затрачивается меньше постоянного капитала (при большей урожайности, напр., относительно меньше надо семян для посева, меньше изнашиваются некоторые орудия и т. под.). Но если внести соответственные поправки, то существование схемы нисколько не меняется, она только становится сложнее. Напр., для худших природных условий мы могли бы взять издержки с в $6\frac{1}{2}$ труд. единиц ($=65$ коп.), издержки v в $2\frac{1}{2}$ труд. ед. (25 коп.), фактическая сумма труда на производство 1 пуда хлеба была бы $6\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}\times 2=11\frac{1}{2}$ часов, а отношения прибыли и ренты оказались бы те же самые, что и в той более упрощенной схеме, которую мы дали.

силою. Но такое положение вещей для капитализма не типично и даже не нормально,—оно являлось результатом недостаточной полноты его развития и было в свое время устранено этим развитием. Если же соответственные теоретические представления удержались гораздо дольше, то здесь перед нами только один из многих примеров специфического консерватизма идеологии, далеко превосходящего консерватизм экономической жизни.

И все-таки земельная рента обуславливает известные отклонения от закона трудовой стоимости, но лишь более частные и менее глубокие; они связаны с весьма неодинаковой потребностью различных отраслей производства в земельном пространстве. Для предприятий индустриальных нужны сравнительно ничтожные участки земли, тогда как для сельско-хозяйственных необходима гораздо более значительная поверхность, иногда и для горных также. Между тем рента находится в зависимости от величины земельных участков. Спрашивается, какое влияние на рыночные цены товаров может иметь это обстоятельство?

Тут опять приходится строго различать роль абсолютной ренты, и роль дифференциальной. Функция последней по отношению к ценам состоит, как мы видели, в том, что она уравнивает величину цен для товаров, произведенных при лучших и при худших условиях, с ценами товаров, произведенных при средних природных условиях. Из такой функции никакого нового уклонения рыночных цен от трудовой нормы получиться не может: земля и другие элементы внешней природы здесь выступают просто как неравномерно распределенные технические условия производства, и посредством дифференциальной ренты рынок сглаживает эту неравномерность в ценах товаров. Другое дело—рента абсолютная. Ее анти-капиталистическое происхождение сказывается в области цен определенным возмущающим влиянием.

В самом деле, абсолютная рента есть тот вычет из прибыли, который выражает собою степень монопольной власти землевладельцев над обществом, степень несоответствия между потребностью производства в земле и наличным ее предложением. Понятно, что такой вычет окажется неравным для тех отраслей производства, которые больше нуждаются в земле, и для тех, которые нуждаются в ней меньше. Для промышленности обрабатывающей, где крупное предприятие часто может довольствоваться несколькими сотнями квадратных сажен, он представляет сравнительно ничтожную величину; для сельского хозяйства, где

расширение производства почти в такой же мере расширяет спрос на землю, он иногда достигает сравнительно больших размеров. А так как норма годовой прибыли здесь и там одинакова, то продукты сельского хозяйства должны продаваться, при прочих равных условиях, относительно дороже. Напр., если абсолютная рента падает на цену производства карманных часов очень малыми долями процента, а на цену производства хлеба и мяса несколькими процентами, то ясно, что для рыночной цены этих последних товаров создается таким образом особое монопольное повышение в несколько процентов, которое несколько изменит уровень, зависящий от непосредственной трудовой нормы и органического строения соответственных капиталов.

В этом случае абстрактный анализ, исходящий из предпосылок капиталистической организации, не может заранее наметить границы подобных уклонений, источник которых лежит в не-капиталистической по существу своему тенденции. Можно только сказать, что капитализм, борьбою своей против абсолютной ренты, стремится уничтожить подобного рода нарушения; и можно сказать с уверенностью, что, напр., в нынешней фазе развития мирового капитализма они уже сравнительно невелики, и едва ли измеряются целыми процентами товарных цен,—тогда как при старых условиях хлебной монополии, какие существовали хотя бы в Англии в начале прошлого века, они были, конечно, гораздо более значительны.

Таково отношение ренты к закону трудовой стоимости товаров. Делались в экономической науке попытки установить это отношение на иных основах, с внешней стороны как-будто более строго проникнутых трудовым принципом. Примером может служить учение Родбертуса.

Аграрную ренту Родбертус объяснял следующим образом. В сельском хозяйстве переменный капитал относительно больше, чём в других отраслях производства, а следовательно, больше и прибавочная стоимость¹⁾; ее излишек образует аграрную ренту.—Легко видеть, что взгляд этот сводится к неправильному применению теории трудовой стоимости. При капитализме цены товаров определяются трудовой стоимостью не прямо, а через посредство нормы прибыли и цен производства. Поэтому отрасли с более низким строением капитала, и земледелие в том числе,

¹⁾ Терминология Родбертуса иная; но нам удобнее пользоваться своею.

никакого привилегированного положения на такой основе занять не могут: как мы знаем, низкое строение, в силу тенденции к равенству норм прибыли, обуславливает само по себе только продажу товаров ниже их непосредственной трудовой стоимости. Следовательно, такое объяснение аграрной ренты должно быть отвергнуто¹⁾. Прибавочная стоимость отдельных предприятий и даже целых отраслей производства в них не остается, а согласно законам капитализма распределяется между ними. Явления ренты не вносят существенного изменения в эти законы,—и только абсолютная рента, которую капитализм стремится уничтожить, частично им противоречит и искажает их действие²⁾.

¹⁾ Странным образом, у Маркса можно еще найти остатки ложной теории Родбертуса. В 3-м томе „Капитала“ Маркс признает, что рента в земледелии воплощает излишек прибавочной стоимости, зависящий от низкого строения капитала; вносится, однако, та поправка, что землевладельцы удерживают за собою этот излишек лишь благодаря монополии на землю. Очевидно, что дело именно в этой монополии, а не в большой величине переменного капитала; иначе развитие машинной техники в земледелии уничтожало бы ренту. И так же очевидно, что землевладельцам, при изменяющихся соотношениях сил в их борьбе с капиталистами за ренту, вовсе не обязательно удастся удержать за собою весь этот излишек; при условиях же особо для них благоприятных они могут „удержать“ и больше, чем весь этот излишек.

²⁾ Изложенное здесь понимание абсолютной ренты выражает взгляды только одного из авторов курса—А. Богданова.

IV. Элементы риска и страхования в общей системе распределения.

а) Индивидуальный уровень прибыли.

В политической экономии часто различают „процент на капитал“ и собственно „предпринимательскую прибыль“. То, что капитал должен приносить своему владельцу без всякого усилия и риска с его стороны, отделяют от остальной части прибыли, которую и рассматривают, как вознаграждение за инициативу, организаторское умение и риск предпринимателя. „Процент на капитал“ должен быть, в данном обществе, для всех случаев одинаков, а „предпринимательское вознаграждение“, очевидно, может быть для каждого данного случая иным, в зависимости от наличности и степени тех элементов, которыми оно обусловлено,—т.-е. инициативы, риска и т. д. Отсюда выводится, так сказать, нормальное различие уровня прибыли разных предприятий, помимо различий случайных, вызываемых стихийными колебаниями конъюнктуры производства и обращения.

Если, напр., капиталист отдает свои деньги взаймы под надежное и достаточное обеспечение—под государственную гаранцию, или под залог значительного имущества,—то он получает за это лишь обычный процент на капитал. Если обеспечение менее надежно, то процент должен быть повышен—в виду риска потерять капитал: плохо управляемое государство заключает займы за более высокие проценты; кредит личный, без материального обеспечения, обычно обходится должнику еще дороже. А кто сам ведет на свой капитал промышленное предприятие, со всем риском конкуренции, со всеми хлопотами хозяина, тот вполне законно может получать еще больше... .

В такой схеме можно признать верным только то, что относится к риску, связанному с употреблением капитала; самое же

разделение прибыли на „процент“ и „предпринимательское вознаграждение“, удобное для обычных, приблизительных расчетов, в точном анализе надо отбросить, как смешивающее разные экономические элементы. Предпринимательская инициатива и хлопоты, вообще, вся организаторская функция предпринимателя не только теоретически может быть от него отделена, но и фактически, по мере развития капитализма, все более отделяется и передается высшим наемным служащим. Тут, следовательно, может быть речь только об оплате квалифицированной, организаторской рабочей силы, а не об особой форме прибыли; и хотя такая оплата, благодаря редкости организаторских талантов, не редко бывает монопольно-высокою, но она не находится в прямом отношении ко вложенному в предприятие капиталу, не выражается в каком-либо определенном числе процентов с него. Вопрос же о предпринимательском риске заслуживает отдельного рассмотрения.

Возрастающая напряженность конкуренции, стихийность кризисов, время от времени поражающих систему производства, а также и стремительный прогресс техники, приводящий зачастую к преждевременному „моральному изнашиванию“, т. е. устарению орудий,—все это создает при капитализме много новых, специально ему свойственных элементов риска для отдельных предприятий. Система кредита еще увеличивает их и усложняет, создавая цепной путь для передачи возникающих экономических потрясений, распространяя их от одних частей системы на другие. Благодаря кредиту, часто даже и простая малодоходность предприятия оказывается достаточной для его крушения. Очень обычно ведение предприятий не только на собственные средства предпринимателей, но вместе с тем и на чужие, сконцентрированные при помощи долговых обязательств, и эта последняя часть капитала может быть наибольшею. Но по сделанным займам надо платить проценты, и притом опять-таки повышенные, в силу того же риска. Если доход предприятия недостаточен для уплаты по ним, наступает банкротство¹⁾). Вообще, риск для капитализма

¹⁾ Такое крушение, гибельное для капиталиста, нередко бывает спасительно для предприятия. Если его техника,—здания, машины, материалы,—а с нею и непроданные запасы товара скапываются сравнительно за бесценок другим капиталистом, который, таким образом, может продолжать дело, вложив лишь небольшой капитал; по отношению к этому капиталу, доходность оказывается уже достаточно высокой. Иногда предприятие

есть явление постоянное, можно сказать—доминирующее—отнюдь не только тот, который существует при натуральном хозяйстве и зависит от стихийной власти природы, но еще более—иной, чисто экономический, вытекающий из господства над людьми их собственных социальных отношений.

Реально весь этот риск воплощается в том факте, что некоторые предприятия гибнут, капиталы их распадаются и поглощаются другими, сохранившимися капиталами. С точки зрения страдающих при этом предпринимателей дело происходит таким образом, что их капиталы не приносят прибыли, а вместо того дают убыток. Но с каким именно из числа конкурирующих приблизительно в равных условиях капиталов это случится заранее неизвестно, а потому для каждого из них риск учитывается в известном повышении прибыли сверх нормального процента,—в повышении, возрастающем с возрастанием риска. Если такого повышения на деле нет, и при известных шансах крушения в будущем капиталист получает лишь ту обычную прибыль, которая типична для вполне прочных, обеспеченных предприятий, то он находит свое положение невыгодным, и у него возникает тенденция к перенесению капитала на иное поле. Излишек прибыли является как-бы необходимым вознаграждением за опасность потерять все, и страховкой премией, которая, накопляясь в его руках, поможет ему пережить критическую полосу убытков. Словом, для предпринимателя это—своего рода „индивидуальное страхование“ от конечной неудачи.

Объективно же, т.е. с общественно-экономической точки зрения, все сводится к тому, что прибыль, взятая за известный период времени, захватывается не всеми капиталистами, а только той большей или меньшей их частью, которая удерживается и выживает среди рокового для остальных процесса централизации капиталов, присущего капиталистическому развитию. Таким образом, как-бы примиряется, за счет предпринимателей-неудачников, тенденция к равной норме прибыли с централизующей тенденцией капитализма. Связь процветания и гибели капиталов здесь принимает форму „страховой“ прибавки к нормальной величине

вполне упрочивается лишь после двух—трех подобных крушений, и несколько капиталистов падают искупительными жертвами для его развития. Это яркий пример господства капитала над капиталистом. В то же время это—обстоятельство, значительно облегчающее подъем производства после его кризисов.

прибыли¹⁾ и закон, управляющий нормою прибыли, поддерживает свою силу, уравновешивая свои нарушения в одну сторону противоположными нарушениями.

Все это относится, главным образом, к тем крупным и сильным капиталам, которые являются типическими представителями развитого капитализма. Что касается мелких и слабых, то их главный и основной риск, вытекающий из их незначительности, конечно, никакими надбавками прибыли не вознаграждается; выступая само тоятельно, они заранее обречены на гибель. Чтобы достигнуть, в отношении риска и страхования прибыли, равных условий с капиталом крупным, они должны отказываться от независимости и соединяться в крупные единицы или к ним присоединяться. На этой основе развивается тенденция к образованию акционерных предприятий.

Во всем распределении прибыли нет никакой существенной разницы между предприятиями промышленными, торговыми, кредитными. Поэтому нам и нет надобности разделять их в своем анализе^{2).}

1) В I томе „Капитала“ Маркс цитирует одного автора, ярко рисующего отношение предпринимательской натуры к прибыли и риску. „Капитал, — говорит этот автор, — боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение; при 20 процентах он приходит в возбуждение; при 50 — положительно готов сломать себе голову; при 100 — опирает ногами все человеческие законы; при 300 процентах нет такого преступления, на которое он бы не рискнул, хотя бы под страхом виселицы“.... (Из П. Дэннинга, цитировано в „Кап.“ I, стр. 721—722, примеч., перевод Базарова и Степанова.)

С точки зрения капиталиста, это — градация страхования, где премия растет сообразно риску; и те же факты могут быть выражены так: „чтобы пойти на всякое применение, капиталу надо иметь в виду, по крайней мере, 10% прибыли; чтобы идти на отчаянный риск, надо 50%; попасть все законы не стоит менее как из-за 100%“, и т. д. История военных прибылей — яркая иллюстрация к этой схеме; во цифры старых времен теперь следовало бы для точности понизить, и значительно.

2) Обычно среди нашей экономической школы рассматривают прибыль торговую и кредитную, как простой вычет из прибавочной стоимости, производимой в промышленных и вообще „производительных“ предприятиях. Но этот взгляд вытекает из ошибочной идеи о „непроизводительном“ характере труда в торговых и кредитных предприятиях. При капитализме это — труд общественно-необходимый, а, следовательно, и производительный. Если и можно говорить о том, что торговый и кредитный капиталы

в) Элементы коллективного страхования капитала: налоги.

Основу капиталистической организации составляет анархическое сотрудничество отдельных, формально независимых предприятий, объединенных стихийной властью рынка. Отсюда неизбежно вытекает коренная недостаточность капиталистического объединения социальной системы: ее исходная точка—обособленные, непрерывно сталкивающиеся интересы частно-хозяйственных единиц, интересы, которыми не только манипулируется, но очень часто и подрывается удовлетворение потребностей социального целого. Капитализм не способен своими собственными экономическими методами гарантировать себя от тех опасностей, которые несет обществу ожесточенная „борьба всех против всех“, обостряющаяся в ходе его развития рыночная конкуренция; и даже в области производственно-технической он не в силах теми же методами выполнять те насущные и общие задачи, которые не укладываются в рамки доходного частного предприятия. Такие опасности и такие задачи многочисленны и важны, и все более усложняются. Необходима капитализму защита всей его экономической системы против классов, им эксплуатируемых—как пролетариат, или им экспроприруемых—как феодальное крестьянство и мелкая буржуазия. Необходима национальному капиталу защита его рынка от враждебной силы других национальных государств. Ему нельзя, далее, обойтись без внешнего регулирования самой же конкуренции, которая, обостряясь, способна порождать самые дезорганизаторские проявления борьбы, самые грубые насилия. А затем организация народного просвещения, которое должно поддерживать рабочую силу на культурном уровне, соответствующем техническим потребностям капитала, организация общественных путей сообщения и сношений,—все это находилось бы в самом жалком состоянии, если бы было предоставлено всецело частной предпринимательской инициативе.

Следовательно, из анархической основной формы организации капитализма возникает масса общих элементов риска:

берут часть прибавочной стоимости промышленных предприятий, то лишь в совершенно ином смысле: тот и другой отличаются особенно высоким строением, и при уравнивании норм прибыли действительно получают часть прибавочной стоимости других отраслей.

возможность потери рынка от внешнего насилия, разрушение капиталов в обостренной классовой борьбе, опасность расстройства системы обращения вследствие перехода конкуренции в различные преступные крайности; риск не найти для производства достаточно интеллигентных работников, потерять выгодные конъюнктуры и даже целые рынки из-за плохих средств осведомления и способов перемещения товаров и т. п. В противовес подобным элементам риска, неизбежно должны складываться соответственные формы „страхования“: они воплощаются в различных функциях капиталистического государства¹⁾.

Организация капиталистического государства развилась из феодальной, и это отнюдь не есть историческая случайность. Вызванная недостаточностью анархического сотрудничества, она могла основываться только на организованном сотрудничестве, а капитал не знает и не признает его в ином виде, как господство—подчинение; но именно по такому авторитарному принципу и была построена феодальная организация, а в то же время она была достаточно широка по социальному объему, чтобы послужить исходной точкой для развития новой классовой организации господства. Отдельное капиталистическое предприятие организовано внутри тоже на основе господства—подчинения; но в начальных стадиях капитализма оно являлось еще слишком узкой социальной единицей, чтобы из него могла выработаться общеклассовая организация господства буржуазии²⁾.

1) Как видит читатель, мы берем здесь термина „страхование“ не в узком его смысле, который сводится к организованному возмещению потерь и убытков, а в более широком, включающем прежде всего активное обеспечение от того или иного ущерба, его сведение к возможно-минимальной величине. Термин „страхование“ кажется нам подходящим здесь потому, что он рельефно выражает движущие силы, классовые мотивы, порождающие организацию обложений, определяющие развитие налоговой системы.

2) В новейших фазах капитализма дело изменяется: в промышленных трестах и финансовых концернах рамки предприятия расширяются до невиданных размеров. Но вместе с тем возникает и тенденция к замещению старой государственной машины силами организованного объединения этих капиталистических гигантов; во многих случаях они уже не только руководят этой машиной, но непосредственно присваивают себе некоторые, формально ей принадлежащие функции,—созывают свои законы и свою полицию и т. п. Но сомнительно, чтобы процесс классовой борьбы дал время дойти этой тенденции до конца,—вероятнее, что он раньше успеет подорвать самое господство капитала.

Итак, экономическая сущность новейшего государства сводится к своего рода страхованию капитала, в общественном его масштабе. Отсюда сама собою вытекает его финансовая функция—расходы и налоги.

Из какой части общественного дохода берутся в развитом капиталистическом обществе налоги? Наш предыдущий анализ приводит к вполне определенному ответу: из прибавочной стоимости. Переменный капитал—доход рабочего класса—выражает нормальную стоимость применяемой в производстве рабочей силы, стоимость жизненных средств для работников. Эта нормальная стоимость не может быть изменена налогами. Напр., если предметы потребления рабочих облагаются косвенными налогами, и вследствие этого делаются дороже на рынке, то это не изменит реальной трудовой стоимости переменного капитала для общества; сообразно повышению цены необходимых продуктов должна повыситься заработка плата, путем соответственного вычета из прибавочной стоимости всего общества; иначе оно не получило бы рабочей силы в нормальном количестве и нормального качества, такой, какая требуется для капиталистической эксплоатации, а это означало бы неприспособленность социальной системы.

В полной мере, однако, подобные соображения имеют силу только для абстрактного, завершенного капитализма, при котором уже нет промежуточных классов между капиталистами и пролетариями, особенно крестьянства и мелкой буржуазии. Налоги современного государства, прямые и косвенные, поражают эти группы отнюдь не только в их излишках, но и в необходимом,— в той части их дохода, которая соответствует переменному капиталу. Тут интересы капитала не требуют поддержания их жизненной энергии на надлежащем уровне, потому что нет прямого отношения между этим уровнем и буржуазной эксплоатацией. Таким образом, налоги часто служат орудием экспроприации крестьянства и мелкой буржуазии, средством ускорения их классовой гибели. В экономически отсталых странах подавляющая часть налогов падает именно на эти полу-капиталистические классы, не затрагивая прибавочной стоимости общественного капитала.

Здесь перед нами вновь выступает различие низших и высших форм капиталистической эксплоатации. Мы видели, как эксплуатируют формально независимых мелких производителей торговый и ростовщический капиталы. Их деятельность заключает в себе

тенденцию к той экспроприации мелких производителей, которая позволяет капиталу подняться на высшую ступень. Государство отражает и выражает общий уровень развития капитала, постоянно несколько отставая от него, как форма более консервативная. В эпоху преобладания низших форм капитала, оно действует их методами и в их направлении, только не в частно-хозяйственном, а в национальном масштабе. И не случайно его налоговая система представляет тогда величайшее даже внешнее сходство с кулаческой эксплоатацией: это два взаимно связанных воплощения одних и тех же экономических сил, порождаемых определенной фазой социального развития. Высшие стадии капитализма приносят и новую систему налогов¹⁾.

Но нас занимает социальная функция налогов именно на этих высших стадиях, и потому мы можем оставить теперь в стороне их историческую роль в борьбе капитализма с до-капиталистическими формами, в которых не вполне еще дифференцировалась прибавочная стоимость, и по той же самой причине нам нет надобности останавливаться на происхождении налогов из абсолютной ренты феодального общества. Абстрактный анализ берет за исходную точку вполне сложившиеся категории жизни, которые соответствуют полному завершению той или иной наблюдавшейся тенденции. Так определяется „сущность“ явления, т.-е. основная, практическая и познавательно руководящая точка зрения на него.

¹⁾ Но всегда с известным историческим опозданием. Авторитарно-феодальное происхождение современного государства сказывается в том, что его аппарат несравненно менее гибок, чем система капитала и рынка в ее целом. Оно остается еще при старых методах обложения, тяготеющих к экспроприации широких масс населения, когда для развившихся уже высших форм капитала это становится невыгодным и неделесообразным. Для капитала, уже с избытком снабженного пролетарской рабочей силой, становится на очередь и обостряется иной вопрос—о сохранении и расширении рынков для его стремительно растущего производства. Тогда ускоренное разорение и экономическая гибель мелких производителей получают совершенно новое практическое значение, весьма отрицательное и именно сводятся к подрыву и сужению ближайшего рынка, наиболее надежного и обеспеченного от конкуренции. Возникает реакция, при известных условиях—революционное противоречие между интересами капиталистического развития и государственно-налоговой организацией. Такое положение характерно, между прочим, для России начала XX века.

В главе о теории рынков мы еще вернемся к этому предмету и остановимся на нем несколько подробнее.

Итак, вот сущность налогов капиталистической системы: это—часть прибавочной стоимости, отделяемая для борьбы против тех элементов риска, которые относятся ко всей системе в ее целом и вытекают из основного принципа ее организации. Мы выбираем эту характеристику потому, что она подчеркивает прежде всего военные функции национальной и классовой защиты капитала от угрожающих ему врагов, как самые главные и преобладающие количественно. Прочие—так называемые „культурные“ функции, напр., просвещение, постройка дорог и т. п., тоже не выходят из рамок нашей характеристики, потому что государство выполняет их именно постольку, поскольку без этого угрожало бы расстройство капиталистического порядка, нераздельного с господством капитала¹⁾.

с) Налоги косвенные.

Исследуя социально-экономическую роль налогов, нам придется различать два их вида: косвенные и прямые. К первым относятся налоги на продукты, вступающие в обращение, ко вторым—налоги на капиталы, землю, людей, доходы. Резких границ тут нет, и, напр., земельный налог в некоторых отношениях приближается к косвенным. Но для наших целей достаточно этой приблизительной классификации.

¹⁾ Такая концепция легко устраивает кажущиеся неясности принятого нашей школой определения государства, как организации классового господства. Напр., если государство вводит страхование рабочих и создает для этой цели специальные налоги, то подобная тактика может представляться прямым противоречием указанному определению: не „классовое господство“, а „общее благо“ руководит, повидимому, его действиями. Но история государственного страхования рабочих в Германии и Франции ясно обнаруживает, что суть дела заключается именно в страховании капитала от обостряющейся классовой борьбы. Во введении английского фабричного законодательства первой половины прошлого века, рядом с тем же основным мотивом, играло известную роль страхование капитала от вырождения необходимой ему рабочей силы (и силы военной также); впрочем, и тут представителями этой тенденции являлись не фабриканты, в большинстве, по мотивам индивидуальных выгод, резко ей враждебные, а государственный аппарат, в котором значительное влияние имели землевладельцы, в сокращении рабочего дня и, значит, увеличении числа рабочих и их спроса на хлеб, положительно заинтересованные. При этом, как известно, рабочим весьма послужило на пользу обострение борьбы лендлордов с капиталистами за земельную ренту (отмена хлебных законов).

Косвенные налоги—форма экономически-низшая. Их влияние прежде всего и непосредственно обнаруживается на ценах товаров: цены обложенных товаров повышаются в такой мере, что налог „перекладывается“ на потребителей. Отсюда возникает ряд кажущихся уклонений меновой ценности от трудовой нормы. В обложении различных продуктов нет обыкновенно никакой равномерности или пропорциональности,—оно определяется расчетами фиска с одной стороны, силою разных групп капиталистов, которым выгодны или невыгодны те или иные налоги,—с другой. Получается, следовательно, рыночное удорожание одних товаров по сравнению с другими, тогда как в их трудовой стоимости такого изменения, конечно, не происходит. Притом, конкуренция не может развертываться свободно; экономическое развитие стесняется в одних направлениях, извне ускоряется в других.

Но именно это противоречие косвенных налогов с тенденциями свободного движения капитала приобретает на ранних стадиях капитализма большое значение для его развития, облекаясь в форму „покровительственной системы“. Таможенные пошлины—частный вид косвенных налогов, применяемый к иностранным продуктам,—служат орудием ограждения юного, неокрепшего капитала против неподъемной конкуренции зрелого иностранного капитала, которая иначе неизбежно погубила бы его. Это—один из коррективов к той роковой стихийности капитализма, которая сама по себе способна была бы сузить его размах и сделать его монополией немногих стран, вступивших на его путь раньше, чем другие. Грандиозный расцвет капитализма Соед. Штатов, Германии, Японии был бы значительно ослаблен и замедлен, если бы на известных стадиях ему не оказала поддержки политика национальной охраны рынка; русский капитализм тоже многим ей обязан в прошлом. Существование чрезвычайно просто представляется с точки зрения теории трудовой стоимости.

Меновая ценность—основа цен—зависит от среднего общественно-необходимого количества труда, приходящегося на единицу продукта. При свободной торговле все страны, ею связанные, образуют одну капиталистическую систему, и стоимость продукта, производимого в технически передовых и в технически отсталых из числа этих стран, окажется выше, чем то количество труда, которое на него тратится в первых, и ниже, чем то, которое требуется во вторых. Следовательно, капиталисты передо-

вой страны, продавая товар по общей, нормальной его стоимости, будут брать за него больше, а капиталисты отсталой—меньше, чем это соответствовало бы действительной затрате труда в их предприятиях. Конкуренция оказалась бы весьма неравною, и в отсталых странах данная отрасль производства заглохла бы, не успевши развить своей техники. Таможенные пошлины, вполне или отчасти¹⁾, обособляют местный капитализм в отдельную, самостоятельную систему, для которой существует и особая трудовая стоимость,—а значит также меновая. Продавая продукты по этой стоимости, капиталисты отсталой страны могут получать достаточную прибыль и постепенно совершенствовать технику своих предприятий.

Та же самая политика может, однако, вести и к чрезвычайно невыгодному для дальнейшего развития насаждению в стране таких отраслей производства, которые мало подходят к ее естественным условиям, в ущерб другим, которые более соответствуют этим условиям, и могли бы, опираясь на них, достигнуть высшей производительности. А затем, если протекционизм удерживается слишком долго, и если закрепляется господство тех буржуазных групп, которым он выгоден, то его результатом является прямая задержка технического развития: пользуясь монополией рынка в своей стране, и извлекая на этой основе без всякого риска и борьбы высокую прибыль, огражденный капитал теряет всякие побуждения к совершенствованию техники; она останавливается и застывает на определенной ступени. Яркие примеры этому дает история экономического развития России: горнозаводского дела на Урале, некоторых отраслей машиностроительной и оружейной промышленности до войны и т. п. Вообще, полезная роль протекционизма в капиталистическом развитии не только весьма ограничена, но и преходяща; за пределами известной стадии капитализма она обычно сменяется прямо противоположной—реакционной ролью.

Позднейшие эпохи капитализма, правда, вновь выдвигают протекционную систему под влиянием обостряющейся борьбы из-за рынков; но в этом сказывается уже наступающий упадок всей капиталистической организации, общая недостаточность мирового рынка. Капитализм прогрессивный и победоносный идет

1) Полное обособление достигается чрезмерно высокими „запретительными пошлинами“, исключающими возможность привоза обложенных товаров.

под знаменем свободной международной конкуренции. Его организация постольку и расширяется до размеров мировой и всеобщей, поскольку этот принцип осуществляется на деле.

Другие виды косвенных налогов не имеют столь важного значения для развития национального и мирового капитализма. Вводятся они обычно для покрытия издержек государства, т.-е. обще-классовых потребностей буржуазии (в широком смысле слова, охватывающем все группы, которые живут за счет прибавочной стоимости). Иногда они очень сильно искажают цены отдельных товаров, повышая их в несколько раз против действительной стоимости. Но трудового закона меновых отношений это не затрагивает по существу; и даже с точки зрения самой буржуазии налоговая надбавка есть нечто внешнее для „ценности“ товара, нечто от нее отделимое и с ней не смешивающееся, как об этом свидетельствуют жалобы потребителей на необходимость покупать обложенные товары дороже их „нормальной цены“. Да и не может быть иначе, раз надбавка создается, изменяется и устраивается без изменения производственных условий, путем „политического“ акта¹⁾.

Вариацию косвенных налогов представляют „государственные монополии“ производства и продажи, или только продажи определенных продуктов, как, напр., прежняя монополия спирта и водки в России, табаку и спичек во Франции и т. п. Цели подобных монополий в обычное (не военное) время—бюджетные, влияние их на цены монополизированных товаров такое же, как влияние косвенного обложения.

Эти так называемые „регалии“ путем незаметных переходов связываются с организационными монополиями, которые государство берет в свои руки потому, что частно-предпринимательский способ организации был бы недостаточен или ненадежен, тогда как потребность, которая должна быть удовлетворена, имеет обще-классовое значение: монополии почты, телеграфов, иногда и путей сообщения и т. п. Здесь сущность функции государства заключается не в присвоении части общественно-производимой

¹⁾ Контрабанда и безакцизная продажа, в обход пошлин и налогов, служат реальным напоминанием о „нормальных ценах“ товаров и тогда, когда обложение держится долго и устойчиво. В отсталых странах, с п. хо организованным государственным аппаратом, как Испания или Россия, эти явления нередко принимали широкие размеры и становились серьезным фактором экономической жизни.

прибавочной стоимости, а напротив, в ее целесообразном потреблении для заполнения пробелов собственно-экономической организации, для устранения элементов риска и опасностей, обусловленных этими пробелами; интересы же фиска выступают, как второстепенное обстоятельство. Поэтому в странах наиболее передовых, почта, напр., не служит для государства доходной статьей, источником прибыли,—она либо обходится ему дороже того, что приносит, либо, если она дает чистый доход, он немедленно идет на улучшение организации дела, на понижение тарифа для публики и т. д.—Но в странах отсталых и эти предприятия рассматриваются государством по преимуществу с точки зрения выгод казны, как один из источников обложения. Тогда монополия организационная практически приравнивается к другим, собственно фискальным „регалиям“, в ущерб, разумеется, основной своей задаче.

В таком соединении разнородных задач и функций оказывается с большей яркостью происхождение государственного хозяйства из феодальных организаторских функций и абсолютной ренты, вообще—из феодального частного хозяйства. Но развитие капитализма стремится сгладить эти следы, подчиняя все строже интересы фиска общегосударственным, или, что то же, классовым общебуржуазным. На этом пути против системы косвенных налогов выдвигается система прямого обложения, которая все более оттесняет первую.

d) Прямые налоги.

По прямой линии от абсолютной ренты феодального хозяйства проходят налоги поземельные. Этим объясняется их своеобразно-двойственный характер, в силу которого они могут рассматриваться и как прямые, и как, в то же время, косвенные. Земля при капитализме есть частный вид капитала, а налоги на капитал обычно относят к прямым. Но, по мнению многих экономистов, поземельный налог перелагается на потребителей в виде надбавки к цене сельско-хозяйственных продуктов, т.-е. является косвенным налогом на эти продукты.

Анализ, однако, показывает, что такой взгляд нельзя считать вполне правильным. Поземельный налог непосредственно затрагивает аграрную ренту. Но сама аграрная рента есть результат землевладельческой монополии, так что устанавливается на поле эко-

номической борьбы двух классов, в зависимости от реального соотношения их сил; следовательно, величина ее представляет уже максимум той дани, которую землевладельцам удалось обложить буржуазное общество. Чтобы повысить эту дань еще более, потребовалось бы новое возрастание относительной силы класса аграриев, или уменьшение силы буржуазии. А для переложения налога на потребителей аграриям пришлось бы сделать то же самое, как если бы дело шло об увеличении самой ренты, а именно — повысить арендную плату для фермеров, повысить цены на продукты собственного хозяйства, где оно ведется. Чтобы при этом преодолеть новое сопротивление со стороны буржуазного общества, надо получить откуда-нибудь новую энергию; но откуда же именно? Самый факт установления поземельного налога отнюдь не указывает на возрастание силы землевладельцев; наоборот, он означает их политическое поражение, признак усиления враждебной стороны. Следовательно, поземельный налог непременно затронет аграрную ренту, и разве лишь при исключительных условиях будет вполне переложен на цену продуктов¹⁾.

Поэтому, когда, напр., физиократы высказывались в пользу замены поземельным налогом всех других, то они являлись решительными представителями интересов капитала в его борьбе за прибавочную стоимость против землевладения. Еще радикальнее выражают ту же тенденцию последователи Генри Джорджа — национализаторы земли. Тут дело идет уже о замещении ренты равным ей поземельным налогом, и его родственная связь с рентою превращается в средство уничтожения ренты.

Мы оставим в стороне налог на людей — „подушную подать“, типичную даже не для феодальной, а для крепостной организации. Слишком очевидно, что этот вид обложения не соответствует основным тенденциям капитализма, который дифференцирует людей на классы с резко различными доходами и создает еще деклас-

1) Частичное переложение все-таки должно произойти, если предположить соотношение сил не изменившимся, или слабо изменившимся. В самом деле, новый налог есть вычет из общей суммы прибавочной стоимости, достающейся на долю частных предприятий. Значит, капиталисты и аграрии отныне в своей борьбе делят между собою уже уменьшенную величину. Если, на основании прежнего отношения сил, они поделят ее в прежней пропорции, то уменьшится доля и тех и других. Таким образом, тяжесть налога падет не на одних аграриев, но частью будет, в конечном счете, переложена и на капиталистов.

сированные группы людей вовсе без определенного дохода—армию безработных, социальный резерв для потребности капитала в рабочей силе.

Не представляют особого интереса для нашего анализа и различные виды обложения непосредственно капитала—промышленное, гильдейское и т. п. Все это—несовершенные и переходные формы для капиталистического обложения: ими достигается, лишь косвенно, та же цель, которая прямо и наиболее совершенно осуществляется подоходным налогом.

Подоходный налог есть предельная форма, к которой тяготеет вообще налоговая система капитализма; он идеально выражает сущность обложения, которая состоит в передаче определенной части прибавочной стоимости в руки общей организации господствующих классов. Но это относится к подоходному налогу в его наиболее развитом и совершенном виде,—к прогрессивному подоходному налогу передовых стран.

Простой подоходный налог, применяемый ко всем доходам без изъятия и пропорционально их величине, очевидно, смешивал бы воедино переменный капитал и прибавочную стоимость: заработка плата, ведь, тоже является при капитализме одною из форм „дохода“. Поэтому налог, строго соответствующий экономическому строению общества при капитализме, не должен касаться вовсе тех наименьших доходов, которые получаются путем продажи рабочей силы, простой или квалифицированной, безразлично; он должен начинаться только с определенного уровня доходов, выше которого обычно поднимаются лишь нетрудовые доходы. Еще правильнее организация налога в том случае, когда закон прямо разграничивает трудовой заработок от других источников дохода.

Мы знаем, что в очень высоких „заработках“ представителей наиболее квалифицированных видов труда значительную долю представляет обыкновенно прибавочная стоимость: наемные организаторы крупных предприятий, в зависимости от личных знаний и способностей, получают иногда огромное жалованье, не уступающее прибыли средних капиталистов,—пользуясь монопольным своим положением на рынке рабочей силы, они заставляют предпринимателей уступать им часть прибыли. Естественно, поэтому, что и такие доходы, в наибольшей своей части „трудовые“ лишь по форме, а не по сущности, нормально подлежат обложению, за исключением действительно трудовой их доли,

той, которая соответствует условиям нормального поддержания данной квалифицированной рабочей силы.

С другой стороны, и в прибыли самостоятельно ведущего свое предприятие капиталиста может иметься элемент „заработка“, соответственно выполняемой организаторской функции. Эта часть прибыли должна быть избавлена от налога, при нормальной его организации.

Если, за вычетом известной суммы в каждом индивидуальном доходе, остальное облагается хотя бы пропорциональным налогом, то налог уже тем самым приобретает характер „прогрессивного“ по отношению к тем же доходам, взятым каждый в его целом: чем больше доход, тем сравнительно большая его часть оказывается подлежащей обложению. В этих рамках принцип прогрессивности налога вытекает непосредственно из самого строения капиталистической системы, из объективного соотношения в ней различных источников дохода. Но тот же самый принцип может проводиться в значительно более широких размерах—уже в зависимости от определенных конкретных условий,—не становясь, однако, в противоречие с потребностями капиталистического развития, а напротив, наиболее полно им удовлетворяя. Этот случай заслуживает ближайшего анализа.

Развитие капитализма неразрывно связано с концентрацией капитала; она же имеет своей основою преимущества крупных капиталов перед мелкими в их конкуренции. Отсюда, повидимому, следует, что усиленное обложение наиболее крупных доходов, ослабляя экономические преимущества больших капиталов, замедляя концентрацию, должно иметь реакционное значение, а самой совершенной должна бы быть признана регressiveная форма подоходного налога, при которой процент обложения понижается с возрастанием суммы дохода. Действительно, разрушение мелких и средних капиталов могло бы быть весьма ускорено таким путем¹⁾). Но дело в том, что развитие капита-

1) Регressiveное обложение практически достигается в **косвенных налогах** на обычные предметы потребления: чем беднее потребитель, тем сравнительно больший процент его дохода возьмут эти налоги и они не мало содействуют разорению мелких производителей, когда капитал про-лагает себе дорогу среди общества частью еще мелко-буржуазного, частью крепостнического. Поземельный налог также, при прочих равных усло-виях, тяжелее ложится на мелкое крестьянство, чем на крупных землевла-

лизма отнюдь не сводится к одной этой разрушительной задаче.

Существенная и основная тенденция капитализма—это прогресс на накопления капитала, и не в индивидуальном только, а в социальном масштабе. Истребление мелких и средних предприятий всегда сопровождается, хотя бы отчасти, реальной растратою и гибелью раньше накопленного капитала в его производственной форме, потому что их орудия и материалы вовсе не так легко и скоро могут быть присоединены и использованы победоносными крупными предприятиями, и к тому же обыкновенно не вполне—по крайней мере, орудия,—подходят к высшей технике крупных предприятий. При чрезмерно быстром вытеснении слабых капиталов этот реакционный момент усиливается и выступает на первый план, оттесняя прогрессивное значение побед крупного капитала.

Далее, в ходе развития капитализма с течением времени становится все более жизненно-важным вопрос о рынках для растущего капитала. Рынки—необходимое условие для успешного накопления—не могут расширяться неограниченно быстро, и даже вообще, с известного момента развития, не могут расширяться так быстро, как способен капитал совершать свое накопление¹⁾. Тогда ускоренное разрушение мелких и средних предприятий становится вдвойне вредным для капитала: оно суживает его рынок и специально наиболее существенную для интересов накопления потребительскую часть рынка, лишая покупательной силы множество рабочих и бывших предпринимателей. На суженном базисе рынка затрудняется и стесняется общее накопление капитала.

Таковы экономические условия, в силу которых далеко не всегда то, что способствует ускорению гибели слабых предприя-

дельцев. Но и в других случаях экономически-сильнейшие группы обыкновенно умеют в самой организации налогов создать для себя изъятия и привилегии.

1) Такое положение неизбежно создается по мере того, как исчерпываются внешние для капитала рынки, образуемые не-капиталистическими странами-колониями, с одной стороны, не-капиталистическими классами метрополий, с другой. Внутренний рынок, образуемый самими капиталистическими предприятиями с их рабочим классом, при постоянном развитии техники необходимо оказывается время от времени недостаточным как это будет показано далее, в теории рынка.

тий, является полезным для капиталистического развития. При высоко развитом капитализме, напротив, все „искусственные“, т.-е. выходящие из пределов чисто экономической борьбы, средства, ускоряющие эту гибель, становятся все более и более вредными для самого же капиталистического накопления. Если бы дело обстояло иначе, то, конечно, регressiveный подоходный налог был бы высшей формой обложения, а еще полезнее была бы насильтственная экспроприация государством капиталов мелких и средних для усиления ими капиталов крупных¹⁾.

Но вместе с ограничением рынков возникают экономические условия, при которых прогressiveный подоходный налог становится наиболее выгодным для развития капитала. Если на ранних стадиях капитализма его интересы требуют, чтобы возможно большая доля прибавочной стоимости „накаплялась“, т.-е. присоединялась к действующему капиталу, то теперь положение изменяется. Накопление чрезмерно быстрое вело бы только к обострению недостаточности рынка и, следовательно, к более значительной растрате производительных сил в виде крахов и кризисов. Для капитализма в целом практически устанавливается известная „норма накопления“, переходить которую для него совершенно бесполезно. На чем эта норма основывается?

Смысль капиталистического накопления заключается в расширении производства: это накопление заключается в том, что некоторая часть прибыли вкладывается в предприятия, в виде средств производства и заработной платы, чтобы в свою очередь приносить прибыль. Взаимная цепная связь отраслей производства требует, чтобы накопление в разных отраслях совершалось в одной и той же пропорции.

В самом деле, одни отрасли дают орудия и материалы другим, сами получают от третьих и т. д. Предположим, что производство красок для тканей расширилось на 10%, а производство тканей, которые ими окрашиваются, всего на 5%. Что тогда получится? Очевидно, это будет перепроизводством красок, лишнее их количество не найдет сбыта, накопление в этой отрасли замедлится, пока не придет к соответствию с ходом дел в произ-

¹⁾ Ускорение истребительного процесса концентрации капиталов подрывает также опоры самой налоговой системы капитализма, уменьшая сумму объектов, доступных обложению.

водстве окрашиваемых тканей. То же будет, если производство железа и стали будет перегонять рост производства изделий из них, или машиностроение—рост суммы отраслей, применяющих машины, и т. п. В действительности, конечно, такая непропорциональность, в больших или меньших размерах, всегда бывает, потому что капиталистическая организация не имеет планомерного руководства. Но механизм рынка производит необходимое выравнивание своими стихийными методами—понижением цен на избыточно произведенный товар, остановкой накопления в одних предприятиях, часто и разорением других, перемещением капиталов и пр. Равновесие достигается, но как всегда в стихийных процессах—ценой расточительной траты сил.

Итак, в капиталистическом обществе накопление, т.-е. расширение производства, совершается в определенной закономерности: для него существует некоторая норма, одна и та же в разных отраслях производства¹⁾. Конечно, эта норма меньше нормы прибыли, потому что часть прибыли с национального капитала идет на потребление для класса капиталистов, часть—на потребности классовой организации господства, т.-е. на милитаризм и пр.

Действительная величина нормы накопления в странах старого капитализма сравнительно ниже, так как там и норма прибыли меньше; в странах молодого капитализма выше; для Германии, напр., до войны была около $2\frac{1}{2}\%$: 7 миллиардов марок в год при национальном капитале 270—300 миллиардов; для Англии она ниже, не более 2%; для Японии, несомненно, выше, как для страны, „догоняющей“ передовые в развитии капитализма; но даже приблизительную цифру здесь указать трудно. Вообще же расчеты, относящиеся к норме накопления, очень затрудняются перемещением капиталов из страны в страну, ростом фиктивных ценностей, бумажных и иных, и другими условиями, но теоретическая суть дела от этого не меняется.

Сравним три предприятия разного масштаба. В одно вложен капитал 100 тысяч, в другое миллион, в третье 10 миллионов. Пусть обычная норма прибыли в стране—5%, норма накопле-

¹⁾ Понятие о „норме накопления“ было мною в первый раз формулировано и обосновано в упомянутой выше статье „Обмен и техника“. (Сборник „Очерки реалистического мировоззрения“, стр. 296—7, 2-го изд. 1905 г.)

ния 20%. Прибыль в 1-м 5 тысяч, во 2-м—50 тыс., в 3-м—500 тыс. Если все они жизнеспособны и нормально расширяются, т.-е. в одно вкладывается за год из прибыли 2 тыс., в другое—20 тыс., в третье—200 тыс., то остаток прибыли сверх накопления будет 3 тыс., 30 тыс. и 300 тыс. Из этого остатка, с одной стороны, должны удовлетворяться личные потребности капиталистов, с другой—может черпать свои ресурсы, в виде налогов, государство. Каждый капиталист живет сообразно своему общественному положению, но потребности не возрастают настолько, насколько капиталы; миллиардер не может есть 1.000 пудов мяса в день и выпивать 1.000 бутылок вина. Если первый из наших трех едва в состоянии жить, как прилично для мелкого капиталиста, на $2\frac{1}{2}$ тыс. рублей, то второй не будет чувствовать себя стесненным, напр., проживая 20 тысяч, а третий вряд ли уронит свое достоинство миллионера, тратя 100 тысяч в год¹⁾. Остается тогда у первого 500 р., или 10% его дохода, у второго—10 тыс., или 20% его дохода, у третьего—200 тысяч, или 40% дохода. Из этих остатков может требовать своей доли государство, национальная организация господства для всего класса капиталистов.

Очевидно, что для этого класса в целом всего выгоднее, чтобы излишки государство взяло целиком. Иначе они или увеличат накопление сверх его нормы, что поведет к бесплодной их растрате, или пойдут на совершенно уже бессмысленную роскошь, не полезную даже лично для капиталистов. В руках же государства они пойдут на общие потребности капитала и капиталистов.

Но тогда получается как раз формула прогрессивно-доходного обложения: 10%, 20%, 40%. Оно оказывается, в этих условиях, наиболее выгодным для капитала. Сам собой намечается и верхний предел прогрессии: если из 5 рублей прибыли на одно накопление идет 2 руб., то обложение, во всяком случае, не может достигнуть трех рублей на 5, т.-е. 60%.

Здесь представляется такое возражение. Норма накопления имеет силу для целых отраслей производства, а не для отдельных предприятий. Пусть в каждой отрасли крупные пред-

¹⁾ В понятие „поддержания“ капиталистического достоинства входят весьма важные для кредитоспособности капиталиста издержки обнаружения капитала.

приятия накапливают свыше нормы, а мелкие — ниже ее; тогда для всей отрасли в целом норма может хорошо удержаться и без прогрессивного налога, а концентрация капитала ускорится, что опять-таки полезно, а не вредно¹⁾.

Но это осуществимо лишь тогда, когда во всех отраслях крупные и мелкие предприятия смешаны в одинаковых, хотя бы приблизительно, пропорциях. На деле же наблюдается совсем иное. Развитие капитализма анархично, а не планомерно: одни отрасли идут вперед технически и экономически и состоят почти из одних, или даже исключительно из одних крупных предприятий; другие отстают, представляя сочетание крупных, средних и мелких в разных соотношениях; в третьих, наиболее отсталых, мелкие преобладают. Металлургия и горное дело, напр., почти повсюду относятся к первому типу; текстильное дело в передовых странах к второму, у нас же скорее ко второму; производство одежды, обуви — ко второму и третьему типу и т. п.

Между тем, в силу цепной связи отраслей, общая норма накопления неизбежно должна соответствовать условиям той отрасли, где накопление наименьшее. Если хоть одна из необходимых отраслей неспособна расширяться более, чем на 2%, бесполезно отраслям с наиболее крупным капиталом расширяться на 4%. Поэтому практически задача целесообразного обложения выполнима только в том виде, как если бы одни отрасли состояли из мелких, другие из крупных предприятий, т.-е. по схеме прогрессивного налога.

Что касается предела прогрессии, то экономический смысл его ясен из предыдущего. Самый большой процент обложения, какой капиталистически возможен, всегда должен давать величину меньшую, чем разность между обычной величиной прибыли и обычной величиной накопления, и меньшую¹⁾ настолько, чтобы оставлять крупнейшим капиталам простор для роскоши, соответствующей социальному положению их владельцев.

Итак, прогрессивный подоходный налог соответствует интересам капиталистического развития тогда, когда накопление капиталов достигло уже высокой ступени, и когда его энергия огра-

¹⁾ Последнее, как мы видели, на деле не всегда верно. Можно вообще принять, что чем дальше уже зашла, вместе с концентрацией и мировым развитием капитализма, общая рыночная „теснота“, тем более невыгодно для капитализма ускорение этой концентрации.

ничивается рамками замедленного расширения рынков. Из тех же объективных потребностей развития вытекает необходимость известных пределов для налоговой прогрессии.

Но несомненно, что даже самые передовые государства нашего времени, практикующие подоходный налог, еще далеки от этих пределов. Приближение к ним повело бы к замещению всех низших форм обложения одной высшей, потому что посредством нее государство тогда получало бы в свое распоряжение всю ту долю производимой в обществе прибавочной стоимости, какая без ущерба для накопления может быть выделена в целях удовлетворения государственных нужд, или обще-буржуазных потребностей.

Чтобы покончить с экономическими свойствами подоходного налога, остается указать, что он, как налог прямой в наиболее точном смысле этого слова, не оказывает искажающего влияния на цены товаров, свойственного налогам косвенным и, в меньшей степени, переходным смешанным их формам.

Весь наш анализ отношения налоговой системы к условиям обмена и экономического развития отнюдь неставил себе задачей дать сколько-нибудь полную теорию налогов капиталистического общества,—этому нашлось бы место лишь в специальном курсе финансовой науки, и потому мы не останавливались на конкретных¹ и частных формах обложения, но только на его типах. Мы имели в виду показать, каким образом абстрактный метод может и должен применяться к исследованию принципов налоговой системы. Это пример, на котором всего легче раскрывается экономическое содержание политических явлений.

Что же касается специально влияния налогов на меновую стоимость, то, как мы видели, те уклонения от трудовой нормы, которые им вызываются, имеют непостоянный и как бы механический характер, так как легко отделяются даже в мышлении самих участников обмена от „действительной“ или „нормальной“ стоимости товаров. Уклонения эти к тому же характерны именно для низших форм обложения, и развитие налоговой системы стремится их устраниить.

V. Место и значение теории трудовой стоимости в науке.

а) Ее объективный характер.

В настоящее время теория трудовой стоимости отнюдь не является господствующей в официальной науке Запада. Касаясь жизненно-важных социальных явлений, она не могла быть безразличной, нейтральной с точки зрения классовых тенденций, и не без основания встречала резко враждебное отношение со стороны идеяных представителей властующих классов. И по той же самой причине она часто подвергается различным искажениям, ошибочным истолкованиям, порождаемым не только классовой враждебностью, но иногда также классовой спутанностью, смешением разнородных идеологических элементов. Наиболее распространенные искажения теории состоят в том, что ей придается характер субъективизма, или в том, что ей приписывается этическая окраска.

Устанавливая связь менового процесса с производственным, теория трудовой стоимости раскрывает, между прочим, закон, лежащий в основе меновых пропорций и цен. Отсюда возникает ее ложное понимание как теории субъективных оценок, управляющих меновой стоимостью товаров. Получается такая концепция: товары должны обмениваться сообразно своей трудовой стоимости потому, что производитель субъективно оценивает их тем количеством труда, которое затрачивает на них; жертвуя для их производства своим временем, силами, спокойствием, он желает получать за них нечто такое, что соответствовало бы этой жертве, т.-е. товар, стоящий приблизительно такого же количества человеческого труда. В этом виде теория была бы совершенно несостоятельна, так как она упускала бы из виду самые основы менового общества—специализацию и общественный характер труда.

При специализации каждый может, разумеется, более или менее ясно представлять себе, чего ему самому стоит его товар,—но откуда он узнает, чего стоит чужой товар его производителю? Это было бы только сравнение известного с неизвестным. И, кроме того, почти каждый товар является делом рук не одного производителя, а целого их ряда: материалы и орудия труда обыкновенно даже самостоятельный мелкий ремесленник приобретает через посредство рынка, и потому трудовая стоимость продукта слагается из атомов труда многих различных работников; она коллективна по самому своему происхождению. Субъективная же трудовая оценка могла бы быть только индивидуальной. А капиталистическое машинное производство развивает фактический коллективизм труда до гигантских размеров, и участие того или другого отдельного работника в трудовой стоимости товара измеряется стотысячными, нередко миллионными ее долями; тут не может быть и речи о субъективной трудовой оценке товара; а если бы она существовала, то для обмена не имела бы прямого значения, так как товар продается вовсе не работниками, которые его произвели.

Трудовая стоимость непосредственно выражает коллективную производительную силу и управляет меновыми отношениями людей как факт объективный и социальный, а не субъективно-индивидуальный. Личные оценки приспособляются к ней, а не она к ним. Абстрактный анализ и обнаруживает ее экономическую необходимость как основной тенденции обмена, доказывая, что экономическая система подчинена ей в своем сохранении, в своем развитии,—что подчинение это есть существенное условие жизненной приспособленности общества. Таким образом, исходной точкой теории трудовой стоимости служит коллективное бытие, а не индивидуальное сознание.

Другого рода извращение этой теории заключается в ее этическом понимании. Его наиболее простая форма свойственна старому утопическому социализму, и может быть резюмирована так: вся стоимость создается трудом, следовательно—трудящийся должен по справедливости получать полную стоимость своего продукта. Концепция эта не только не вытекает из научных основ теории, но скорее прямо им противоречит. Учение о стоимости рабочей силы показывает, что капиталисты могут получать прибавочную стоимость при самой полной и точной оплате рабочей силы. Учение о различии между индивидуальными затратами

труда на товар и, его общественной стоимостью выясняет, что и самостоятельный мелкий производитель, неизбежно отстающий от техники крупно-капиталистического производства, не может получать в обмен за свой товар суммы, соответствующей лично им потраченному рабочему времени: только общественно-необходимое рабочее время, зависящее от средней, нормальной техники, образует стоимость. Но точно так же данная теория не доказывает никакую и справедливости покупки рабочей силы по ее стоимости, или справедливости разорительного для ремесленников уровня цен на их продукты; она вообще не ставит себе подобных задач, а только объясняет связь явлений производства и обмена.

Более тонкое искажение, полемически применяемое новейшими противниками теории, состоит в том, что ей пытаются приписать этическую основу, что, разумеется, радикально подрывало бы научность самой теории. Вот пример, взятый из одного учебника политической экономии:

„И сам Маркс, и его последователи думали, что созданная ими трудовая теория лишена этических, элементов. Однако, как правильно замечает Дитцель, Маркс однажды вполне ясно обнаружил этическую основу своей теории. Это именно в том месте, где он говорит, что нежелание Аристотеля признать труд субстанцией ценности объяснялось строем греческого общества, „основой которого было неравенство людей“. Иными словами, идея равнозначности человеческих личностей и для Маркса была этической предпосылкой для возможности расценки предметов хозяйства по затраченному на их производство общественно-необходимому труду“¹⁾.

Чрезвычайно трудно себе представить, каким образом из этической идеи о равнозначности человеческих личностей можно было бы вывести концепцию общественно-необходимого труда, которая говорит как-раз об экономической разнозначности работников, и согласно которой труд одних людей, работающих более совершенными орудиями и методами, создает в равное время большую стоимость, чем труд других людей, опирающихся на низшую технику. Или каким способом вывести из той же равнозначности различие простого и квалифицированного труда? Ошибка, порожденная полемическим отношением к Марксу и его

¹⁾ „Основы политич. экономии“ Туган-Барановского, стр. 101 — 102.

теории, объясняется чрезвычайно просто. Замечание Маркса об Аристотеле имеет социально-философский характер; оно указывает, почему в идеологии античного мира не могла сложиться теория трудовой стоимости. Для господствующего класса рабы стояли вне общества, были „одаренными речью орудиями“, не более; и вполне естественно, что в его мышлении не умещалась бы идея, что работа этих презираемых существ является истинным источником ценности. Но на деле ценность и тогда, конечно, создавалась трудом, в том числе рабским. Идеологическое препятствие к возникновению теории трудовой стоимости исчезло, когда зародилось „равенство“ людей,—однако, отнюдь не этическая их „равноценность“, а формально-экономическое равенство рынка, на почве которого развилась уже и соответственная этическая идея. Историческая, социальная [предпосылка появления той или иной теории—совершенно не то, что ее логическая предпосылка.

В доказательство субъективного и этического смысла трудовой теории указывают на ее классовый характер, который для нашего времени можно считать несомненным, и который сторонниками теории открыто признается. Но такая аргументация обнаруживает только глубокое непонимание того, что есть „классовый характер“. Всякая научная идея, затрагивающая интересы какого-либо класса или его привычки мышления, тем самым приобретает классовую окраску. Возьмем пример из области астрономии. Учение Коперника о движении земли резко противоречило статическим формам сознания старых феодальных классов; кроме того, оно чувствительно задевало практические интересы духовных и даже светских феодалов, подрывая авторитет их традиционной религиозной идеологии. Но по этим самым причинам оно вполне соответствовало и реальным выгодам и динамическому складу мышления развивающихся в ту эпоху наиболее тогда прогрессивных буржуазных групп общества. Таким образом, новая астрономическая теория оказалась тогда буржуазно-классовой. Делало ли это ее „субъективной“, „этической“ и т. п.? Очевидно, не делало, ни в малейшей степени. Напротив, ее классовый характер, ее связь с движением наиболее прогрессивного в те времена класса, были проявлением, результатом, а потому также косвенным доказательством ее объективности и научности.

Теория трудовой стоимости дважды получила такое косвенное подтверждение. Ей положили начало буржуазные идеологии,

экономисты-классики, именно тогда, когда буржуазия находилась в стадии социального подъема, была полна сил и шла во главе общественного развития. Затем, когда буржуазия начала склоняться к упадку и реакции, теория трудовой стоимости стала научным знаменем нового прогрессивного класса—пролетариата.

в) Теоретическая сила теории трудовой стоимости.

Классовый характер трудовой теории зависит от того, что она самым очевидным и неотразимым образом раскрывает основные противоречия классовых интересов современного общества, прежде всего противоположность заработной платы и прибавочной стоимости. Благодаря этому, трудовая теория служит опорой учения о классовой борьбе и вытекающей из него концепции общественного развития по направлению к социализму. Таким образом, трудовая теория входит органической, необходимой составной частью в мировоззрение научного социализма.

В его системе она легко может быть представлена, как прямой вывод из историко-материалистических предпосылок, специально же из того положения, что экономические отношения людей определяются состоянием производительных сил. В самом деле, трудовая стоимость товаров есть точное количественное выражение технических условий производства; это— обратная величина производительности труда; ей подчиняется количественная сторона обмена, т.-е. меновые пропорции; иначе и быть не может, с точки зрения указанного социально-философского закона. Это— один из важных дедуктивных аргументов в пользу трудовой теории.

Опираясь на нее, мы шаг за шагом проследили общие условия нормальной жизнедеятельности капиталистической системы. При этом оказалось, что трудовая норма, выражая основную тенденцию меновых процессов, управляет ими, однако, не безусловно и непосредственно, а косвенно и среди целого ряда отклонений, частью мелких и случайных, частью же довольно значительных и устойчивых, но, в свою очередь подчиняющихся соотношениям, коренящимся опять-таки в трудовой стоимости¹⁾. Не

¹⁾ Влияние нормы прибыли, которая зависит от соотношения всей прибавочной стоимости и трудовой стоимости всего общественного капитала; влияние органического состава, т.-е. отношения трудовой стоимости переменного и постоянного капитала, и т. п.

следует ли сделать отсюда вывод о несовершенстве и недостаточности трудовой теории, не надо ли признать, что она должна быть заменена иною, которая сразу и полностью выражала бы изучаемые процессы в своих формулах и схемах, от которой не было бы отклонений, для которой не было бы затруднений. Такое требование, действительно, предъявляется критиками трудовой теории, оно выдвигается ими в качестве ее опровержения.

Если бы,—говорят эти критики,—меновая ценность товара была кристаллизованным трудом, то цены совпадали бы с трудовыми затратами. Раз этого совпадения нет, меновая ценность не может быть кристаллизованным трудом, и вся теория должна быть отброшена.

Другими словами, закон трудовой стоимости можно бы принять только в том случае, если бы он непосредственно выражал отношения цен в их конкретности, в их частностях.

Это требование прямо противоречит современным понятиям о научном законе, понятиям, выработанным методологией на опыте точных наук. Если бы закон трудовой стоимости имел притязания на такой абсолютный характер, уже одно это было бы достаточным доказательством либо его неверности, либо—бессодержательности, фиктивного характера.

Всякое частное явление, взятое в его конкретности, представляет бесконечно сложный результат бесконечного числа частичных действующих причин. Чтобы точно его охватить со всей его сложностью, закон должен быть так же бесконечно сложен, как и оно само. Для познания в таком законе было бы очень мало пользы. Познавательная сила законов науки заключается в упрощении, в отвлечении, в абстракции. Выделяя одну за другую тенденции, присущие данным явлениям, начиная с основной, наиболее постоянной и сильной, переходя к менее и менее глубоким, научное познание позволяет шаг за шагом приближаться к объяснению конкретного, никогда, однако, не исчерпывающего до конца его сложности. Это относится, прежде всего, к законам точных наук, но тем более—к законам таких, несравненно менее разработанных, далеких от точности наук, каковы социальные, в том числе политическая экономия.

С точки зрения критиков теории трудовой стоимости, закон, напр., Бойля о соотношении объема и давления газов должен быть решительно отвергнут, потому что он никогда не выражает связи этих двух моментов с полной точностью, а отклонения от

него, за известными пределами, становятся весьма значительны. А на деле он в достаточной мере, для практической ориентировки, выделяет главную тенденцию огромного ряда фактов опыта. Более точный закон Ван-дер-Ваальса к этой тенденции присоединяет еще другую, при обычных условиях гораздо более слабую, но и он никоим образом не дает изучаемой связи во вполне адекватной формуле. То же самое можно сказать о законе падения тел, о любом естественном законе. Тенденция, выраженная в законе сохранения энергии, дополняется тенденцией, которую намечает закон энтропии, схема размножения живых организмов ограничивается законом территориальной емкости и т. п. Лишь совершенно пустые схемы могут применяться к явлению в его конкретности неограниченно и безусловно,—зато, разумеется, и бесплодно.

Следовательно, то, что выставляется, как уничтожающий аргумент против закона трудовой стоимости, это—просто нормальное и типическое свойство всякого действительно-научного закона, и такими опровержениями научная сила теории даже не затрагивается. А она состоит в том, что, пользуясь принципами теории, вполне возможно анализировать и представить в стройной, согласной с действительностью картине общие условия равновесия и развития экономической системы капитализма,—что данное учение, таким образом, дает надежную и прочную руководящую нить для познания обширного цикла экономических фактов.

Правда, в одном пункте исследования эта нить нам как будто изменила,—именно там, где мы встретились с явлениями абсолютной ренты. Мы признали, что тут имеем дело с таким уклонением от трудовой нормы, которое не может быть аналитически определено с точки зрения принципов самой трудовой теории. Но для нас выяснилась вполне достаточная причина этого исключительного для теории положения: абсолютная рента есть воплощение до-капиталистического и анти-капиталистического принципа организации, феодально-монопольного, частичный пережиток иной системы экономических отношений. И мы констатировали, что развитие капитализма стремится к уничтожению этого пережитка. Вполне естественно, что познавательная сила теории не может выйти из рамок того порядка явлений, на основе которого и для которого она была создана.

Можно с уверенностью сказать, что наш анализ далеко еще не исчерпал теоретического значения трудовой доктрины. В под-

тверждение укажем на одно очень важное обстоятельство, которое обнаруживает поверхностный и кажущийся характер многих даже из тех уклонений от трудовой нормы, какие обусловлены различным органическим строением капиталов. Средства потребления рабочих на капиталистическом рынке продаются за деньги, и за деньги покупаются рабочими. Взявшим каждую половину этого процесса, как отдельный, формально независимый акт, мы имеем на-лицо обычные уклонения от закона стоимости, вследствие определенного, неодинакового строения капитала в двух отраслях — производящий продукты, потребляемые рабочими, и производящий товар-деньги. Но взяв то и другое вместе, мы видим, что по существу тут происходит обмен рабочей силы на средства потребления рабочих, деньги же — только технический посредник, играющий в этом акте служебную и преходящую роль. А так как трудовая стоимость рабочей силы и трудовая стоимость средств потребления рабочего одна и та же, то здесь перед нами, в нормальных и средних случаях, настоящий обмен трудовых эквивалентов; уклонения же от него имеют не постоянный, а лишь случайный и частный характер, сводясь к простым колебаниям вверх и вниз от нормы.

Но мы должны также предостеречь против такого истолкования трудовой теории, при котором она, по видимости, объясняет гораздо больше, но на деле теряет свою определенность и силу. Когда говорится, что стоимость товара выражает воплощенное в нем количество общественно-необходимого труда, то под „общественной необходимостью“ следует понимать техническую, а не экономически-конъюнктурную, — ту, которая зависит от исторически данного уровня производительности труда, а не ту, которая зависит от рыночной конъюнктуры момента. Существуют сторонники трудовой теории, которые придают ей эту вторую ошибочную версию¹⁾. Сущность ее такова. Предположим, что товар произведен при нормальных для данного общества технических условиях, и заключает в себе определенную сумму труда — абстрактного, простого человеческого труда. Этим еще не решен вопрос о стоимости. Остается узнать, найдет ли общество весь этот выполненный труд необходимым, а практи-

¹⁾ Особенno Лассаль. Но надо признать, что и у Маркса можно встретить целый ряд мест, которые явно тяготеют к той же версии, в противоречии с изложением доктрины в ее целом. Прежде обе версии вообще не достаточно строго различались среди нашей школы.

чески такая „необходимость“ выразится в рыночном спросе. Если, напр., спрос меньше предложения, то, значит, на производство данного продукта обществу необходима менее значительная сумма труда, чем та, которая в действительности затрачена, и „стоимость“ каждой единицы продукта, а вместе с тем ее цена, будет соответственно ниже фактически воплощенного в продукте количества труда. Наоборот, если спрос превышает предложение, то значит, „общественно-необходимая“ сумма труда в данной отрасли больше, чем та, которая была применена на деле, и „стоимость“, а параллельно с нею денежная цена в такой же мере превосходит реальную трудовую затрату.

Получается, как видим, полное объяснение одновременно и стоимости, и цены, при чем никаким устойчивым и закономерным уклонениям от нормы не остается места. Но, к сожалению, теоретическая сила закона оказывается при этом иллюзорной, объяснение—мнимым. Оно должно было показать нам связь производства и обмена, как двух моментов социального процесса, а между тем в „объясняющем“ понятии смешаны воедино и производственные условия, и вся меновая конъюнктура. Всякая возможность дальнейшего анализа исчезает, и дело сводится к бессодержательной формуле: товар „стоит“ именно столько, сколько общество, представленное рынком, находит „необходимым“ за него давать.

Понятие „общественно-необходимого труда“, очевидно, должно здесь приниматься исключительно в смысле техники, и тогда оно позволяет объяснить закономерность обмена, исходя из условий производства. Только в таком виде может и должна приниматься трудовая теория¹⁾.

Ее познавательная сила состоит не в словесном объяснении фактов, а в том, что она дает надежный метод для их исследования и стройной, свободной от противоречий систематизации.

¹⁾ Основная причина отдельных неясностей в этом отношении у Маркса заключается в том, что слова „общественно-необходимый труд“ он применяет (как местами и сам оговаривает) не в одном, а в разных значениях. Таких значений можно отметить три (не считая маловажных мелких оттенков):

1) общественно-необходимый труд в смысле техническом, связанном с уровнем производительности труда (противополагается индивидуально-необходимому труду в отдельных предприятиях или труду отдельных работников);

с) Практическое значение теории.

Всякое познание служит, в конечном счете, практическим целям, как способ овладевать явлениями, господствовать над ними, целесообразно вмешиваясь в их течение и в их комбинации. Этот конечный смысл познания есть и последний критерий его истинности. Но далеко не для всякой научной истины он лежит достаточно близко, чтобы его легко было установить. Часто бывает даже и так, что он обнаруживается спустя долгое время после открытия самой истины. А учесть его полностью никогда невозможно, и особенно для идей большого объема, охватывающих широкий круг фактов. Такова и теория трудовой стоимости. Однако, уж для настоящего времени ее огромное практическое значение раскрывается достаточно ясно.

Среди огромной сложности современного общества, с его противоречивыми тенденциями, невозможно сколько-нибудь целесообразное активное отношение к его жизни и развитию без точной ориентировки в его действующих силах. Это и дает теории трудовой стоимости. Она выясняет основное строение общественного механизма и коренную несовместимость определенных классовых интересов; она разграничивает классы и вынуждает к выбору между ними, как этого не делает никакая иная теория.

Трудовая теория, своим учением о переменном капитале и прибавочной стоимости, устраниет всякую неясность в вопросе о практическом взаимоотношении рабочего класса, с одной стороны, всех буржуазных элементов общества, с другой; всякое смешение практических тенденций обеих сторон становится невозможным.— Затем, обнаруживая фиктивность той части общественного капитала, которая представлена землевладением, теория устанавливает главное разделение среди самих капиталистических элементов главное противоречие интересов двух классов, возникающих из

2) в смысле „технико-экономическом“: сумма труда, необходимая для поддержания рабочей силы общества и, следовательно, его производства, при данной его организации (противополагается сумма прибавочного труда);

3) в смысле „экономически-конъюнктурном“, сейчас нами рассмотренном (противополагается сумме труда фактически затраченной в данной отрасли).

этого разделения, и различную степень их жизненности, их прогрессивности в современной экономической системе.

Подчиняя ценность общественно - необходимому количеству труда, и ставя ее в зависимость от общественно-достигнутого уровня техники, теория эта выясняет тем самым историческую безнадежность и экономическую реакционность позиции полу-капиталистических, мелко-буржуазных групп общества. Вместе с тем противополагая индивидуальным затратам труда общественную стоимость, она освещает скрытый коллективизм производства, присущий капиталистической системе.

Своим учением о стихийном способе осуществления трудовой нормы, среди ее постоянных нарушений в ту и в другую сторону, теория вскрывает основное противоречие капитализма — между коллективным по существу способом производства, и формальной его неорганизованностью или, точнее, анархичностью, в его целом. А выяснение такого противоречия равносильно указанию практической линии развития общества, к полному, и реальному, и формальному коллективизму.

Все это вместе делает из теории трудовой стоимости как бы своеобразный компас для практической ориентировки в общественных отношениях капитализма, компас, показывающий экономически-прогрессивное или экономически-реакционное направление различных его сил, тенденций, интересов. И это же самое придает теории классовой характер, связывает ее с идеологией наиболее прогрессивного класса.

VI. Теория предельной полезности.

В официальной западной науке нашего времени теория трудовой стоимости отнюдь не является господствующей. Значительное большинство представителей кафедры относятся к ней враждебно, и если бы вопрос об истине мог решаться голосованием специалистов, то нельзя сомневаться, что таковою была бы теперь теория „предельной полезности“, объясняющая путем субъективно-психологического метода и процессы обмена, и связанные с ними функции капитала. Но история науки вообще показывает, что преобладающие среди специалистов мнения далеко не всегда бывают наиболее правильными; а особенно это относится к наукам социальным, находящимся в такой тесной связи с общественной борьбой классов. Во всяком случае, теория предельной полезности, предъявляющая притязания на господство в науке, заслуживает критического рассмотрения.

а) Точка зрения и метод теории предельной полезности.

Учение это берет за исходную точку человеческого индивидуума и старается исследовать его экономическую деятельность, основываясь на его субъективной оценке различных хозяйственных благ, к обладанию которыми он стремится. Метод, как видим, субъективно-психологический. К нему, следовательно, вполне применимы все соображения, которые высказаны нами раньше против таких приемов построения какой бы то ни было общественной науки¹⁾. Но помимо того, мы все-таки ближе рассмотрим принципы и результаты данного применения этих методов.

Теоретики „предельной полезности“ учат, что в основе обмена лежит полезность продуктов, т.-е. их потребительная цен-

¹ См. I том „Курса пол. эк.“, стр. 14—16.

ность, их способность удовлетворять потребности индивидуума. Количество потребности различаются по их интенсивности: одни настоятельнее других,—напр., без хлеба обойтись труднее, чем без вина, без вина привычному человеку труднее, чем без украшений, и т. под. Таким образом, сама собой складывается для человека известная „лестница потребностей“, а значит и соответственных полезностей. Но и каждая потребность, если ее взять отдельно, представляет величину переменную: она слабеет по мере удовлетворения, образуя также ряд ступеней, от максимума до нуля. Следовательно, высшая ступень потребности менее интенсивной должна оказаться равна одной из низших ступеней потребности более интенсивной, и обратно,—лестницы отдельных потребностей частично между собою совпадают, и полезности всяких „благ“ при всяких условиях могут соизмеряться между собою, как величины меньшие или большие.

Итак, допустим, что в распоряжении человека находятся различные блага, каждое в количестве нескольких обычных единиц измерения: 10 фунтов хлеба, 20 метров ткани, 5 литров вина и т. п. Всего настоятельнее потребность в хлебе, но каждый из 10 фунтов, и даже каждая дробь фунта обладают неодинаковой субъективной полезностью для владельца. Так, первые пол-фунта удовлетворяют самую острую потребность в питании, а вторые пол-фунта устраниют остатки голода, отчасти уже утоленного; второй и третий фунт служит для питания остальной семьи, о которой данное лицо заботится всего больше, после себя самого; еще фунта три могут пойти на угождение друзей—потребность проявить гостеприимство; остальные четыре фунта пригодились бы разве только для раздачи нищим—удовлетворения филантропической потребности. Очевидно, что последний из этих четырех фунтов обладает наименьшей „предельной“ полезностью для его собственника¹⁾. Аналогичным образом определяется предельная полезность ткани на основе той потребности, какая еще может быть удовлетворена последней наличной единицею ткани, и т. д.

Если человек решается вывести свой товар на рынок, то сущность дела состоит в том, что какая-нибудь из его потребностей еще не нашла удовлетворения, которого он и стремится

¹⁾ Для математической точности следовало бы говорить о последней, произвольно-малой, доле этого последнего фунта.

достигнуть, жертвуя каким-нибудь из наличных своих благ. Понятно, что он согласится пожертвовать только меньшею полезностью для большей, но отнюдь не наоборот. На рынке он встречается с продавцами других товаров, стоящими на той же точке зрения, но, конечно, принимающими скалу полезностей в иной перспективе. Начинается процесс торга. Предположим, что владелец 10 фунтов хлеба желает часть его выменять на некоторое количество мяса. Ему хотелось бы пожертвовать наименьшим количеством хлеба, но вполне аналогичное стремление проявляет и его контрагент, продавец мяса. Оба они вынуждены уступать друг-другу. До какого же именно предела? Когда полезность последней единицы хлеба, остающейся у его владельца в случае согласия на предполагаемые контрагентом условия, будет равна для него полезности последней единицы мяса, которую он при этом приобретает, то дальнейший обмен хлеба на мясо теряет для него, очевидно, всякий смысл, и на этом процесс торга, с точки зрения интересов данного лица, должен остановиться,— собственно, даже несколько раньше, так как выменивать одно благо на другое, равной субъективной ценности, уже не представляет никакой субъективной выгоды. Точно так же рассуждает и действует продавец мяса и всякий вообще владелец товаров, имеющихся на рынке. С каждой уступкой, которую тот или иной продавец делает своему покупателю, он изменяет субъективную оценку той части своего товара, которая еще не вошла в область торга,— ее предельная полезность повышается, так как дело идет о пожертвовании все более и более интенсивными потребностями, а вместе с тем и суживается возможность дальнейших уступок. Если за фунт мяса требуют четыре фунта хлеба,— но отдавая четвертый фунт, его владелец принужден пожертвовать такой высокой степенью потребности в хлебе, которая пре-восходит его потребность в последней четверти покупаемого фунта мяса, то он либо не согласится на сделку, либо предпочтет взять только $\frac{3}{4}$ фунта мяса за 3 фунта хлеба. Так путем торга из переменных индивидуальных оценок возникают рыночные меновые пропорции¹⁾.

¹⁾ Мы опускаем описание того, как при наличии конкурирующих продавцов и покупателей одних и тех же товаров, механизм субъективных оценок уравновешивает спрос и предложение, при чем цены определяются предельно-низкими оценками со стороны продавцов и предельно-высокими— со стороны покупателей, и каждая совершившаяся сделка

Для капиталистического строя непосредственный обмен товаров на товары является, конечно, фикцией, от которой Grenz-nützler'ы (сторонники теории предельной полезности) переходят к объяснению реальных фактов обмена при помощи разных промежуточных звеньев. На деле товары приходится продавать за деньги; чем же определяется для продавца субъективная ценность денег, которых он прямо потреблять не может? Полезностью тех товаров, которые он может на эти деньги приобрести; за большим или меньшим количеством денег он видит большее или меньшее количество нужных ему предметов потребления. А если он на деньги покупает средства производства: хлопок, машины, уголь,—какова будет предельная полезность этих предметов, весьма непригодных для удовлетворения личных потребностей покупателя? Она будет зависеть от полезности тех продуктов, которые этими орудиями и из этих материалов будут произведены. Когда капиталист продает товары, которые абсолютно ему самому не нужны, какова для него их предельная полезность? Она получается таким путем, что в сознании капиталиста подставляются на место этих товаров деньги, которые он за них может получить, а деньги в свою очередь замещаются иными товарами, соответствующими тем или иным его потребностям, и т. п.

Посредством разнообразных построений, представители школы предельной полезности стараются осветить ее принципами самые различные стороны капиталистически-меновой жизни, приходя нередко к весьма различным результатам. Типичным примером может служить теория „процента на капитал“ Бём-Баверка.

Бём-Баверк исходит из той мысли, что предельная полезность, а значит и ценность блага, которое еще только предстоит получить в будущем, ниже, чем предельная полезность такого же блага, имеющегося в наличии. Капиталист за свой наличный капитал, который он затрачивает, покупает капитал будущий, который реализуется продажею товаров или платежом долга (если

устраняя из процесса торга пару контрагентов, или, по крайней мере, часть наличных товаров, изменяет величину предельных полезностей остающихся в наличии запасов. Все эти подробности для нас не существенны, так как наша задача—принципиальная критика самого метода, его предпосылок и конечных результатов.

дело идет о кредитном проценте). Понятно, что он не согласится за 100 рублей, сейчас отдаваемых из кармана, купить опять 100 рублей, которые пришли бы обратно в тот же карман через год; нет, он должен, во имя обмена равных ценностей, получить через год не 100 рублей, а больше, напр., 105 руб. Разница и составляет процент на капитал. Из субъективных оценок того, что есть, и того, что будет, возникает прибавочная ценность— основа и душа капитализма.

И в других объяснительных построениях метод остается тот же. За исходную точку берется индивидуум и его субъективные оценки разных хозяйственных благ, изменяющиеся в непрерывном процессе торга этого индивидуума с другими, ему подобными, и в то же время с самим собою. Таким путем объясняются объективные факты экономической жизни.

Но реальная необходимость для индивидуума приспособляться, зачастую вопреки всем своим субъективным оценкам, к экономическим условиям, которые он находит готовыми в своей среде, особенно—к наличным ценам на рынке, вынуждает *Grenznützler*'ов дополнять свои концепции указанием на привычные, путем многократного повторения укоренившиеся в обществе, как бы открыто-сталлизовавшиеся оценки разных благ, оценки, которые принимаются отдельными членами общества без критики, без повторения всей цепи субъективных процессов установления и взвешивания полезностей. Этим не устраивается субъективно-индивидуалистическая основа теории: привычные общественные оценки рассматриваются, как результат простого накопления оценок, выполнявшихся индивидуально в различных частных случаях.

Своеобразное видоизменение и дополнение этих методов представляют позднейшие теории американских и английских экономистов, оперирующие с идеей „предельной производительности“ капитала и труда. Идея эта зародилась на основе старого учения Мальтуса и Рикардо об „убывающем плодородии почвы“. Согласно Рикардо, ценность хлеба определяется „предельной производительностью“, т.-е. самой низкой производительностью земледельческого труда, той, которая характеризует наименее плодородный обрабатываемый участок. Кларк, главный представитель школы „предельной производительности“, распространил эту точку зрения на „капитал“, т.-е. на средства производства, и на рабочую силу.

Он изображает дело следующим образом. Можно к данному „капиталу“ приложить большее или меньшее количество „труда“, напр., на 300 станков взять 300 или 150 или 100 рабочих, и обратно, разумеется, можно данное количество работников использовать с помощью большего или меньшего количества станков. При трех сотнях станков первая сотня работников дает наибольшую производительность на каждого; прибавка еще пятидесяти общую сумму продукта увеличит, но не в полтора раза, а меньше,— производительность этих, следовательно, ниже чем первых; прибавка еще полутора сотен опять увеличит, но не вдвое против второй комбинации, а меньше: производительность новых и новых прилагаемых к данному капиталу рабочих сил падает ниже и ниже, и на известном уровне капиталист находит, что дальше принимать их уже не стоит,—их заработка плата для него не будет окупаться. Последний¹ работник, плата которого еще окупается в ценности лишнего продукта, благодаря ему получаемого, и есть „пределный“ в смысле производительности. Аналогичным образом последняя доля капитала, какая еще может быть без убытка использована для производства при данной сумме труда, является „пределной“ в смысле прибыльности.

Кларк полагает, что заработка плата определяется именно производительностью предельного нанимаемого рабочего: он получает полную ценность своего труда, и прибыли не приносит. Но все предыдущие рабочие более производительны, чем он, а плату в силу конкуренции получают такую же. Если бы кто-нибудь из них захотел получать больше, предприниматель стал бы рассматривать именно его, как „пределного“ добавочного рабочего, и нашел бы, что он при этой высшей плате уже не окупается, а потому уволил бы: для предпринимателя все рабочие равны и безразличны. Заработка плата, следовательно, для 300 рабочих у него будет равняться 300 раз взятой ценности продукта предельной единицы труда, но их реальная производительность выше ее производительности не в 300, а, напр., в 600, в 750 раз; эта разница и пойдет в пользу капитала, образует „процент на капитал“.

Надо не упускать из виду, что сама „пределная производительность“ единицы труда, как и единицы капитала, зависит от цены производимого продукта: если продукт станет дороже, то рабочий, до этого момента предельный, перестанет быть таковым, начнет приносить прибыль, и будет выгодно нанять еще доба-

вочных работников. А цена продукта определяется его предельной полезностью. Поэтому принцип предельной производительности сам подчинен принципу предельной полезности, а вовсе не означает подчинения субъективного момента объективной точке зрения.

В сущности, „предельная производительность“ капитала и труда есть не что иное, как предельная полезность единиц того и другого с точки зрения капиталиста. Англо-американская школа—только ветвь *Grenznützler*-ства.

б) Основные ошибки доктрины предельных полезностей.

Из самого содержания разбираемой доктрины очевидно, что она—порождение чисто меновой психологии, что она возможна только в рамках менового общества и для менового общества. Но что дает она для понимания сложных явлений, запутанных комбинаций этого социального строя, для предвидения происходящих в нем, порою грозных в своей неожиданности, перемен, для раскрытия законов его развития? Ибо таков смысл действительного социально-научного познания, такова его цель и жизненное значение.

Основной, неоспоримый факт жизни капиталистического общества—это власть над людьми каких-то социально-стихийных сил. Отсюда возникла и самая потребность в экономической науке. Именно рынок—центр и воплощение этой власти. Там определяется судьба товаропроизводителя, часто в полном противоречии с его расчетами и ожиданиями. Прежде всего теория обмена должна объяснить социальную стихийность рынка, ее могущество, ее причины и тенденции. Как относится ко всему этому учение о предельной полезности?

Легко видеть, что самой своей исходной точкой оно исключает возможность выяснения вопроса. Отдельные люди, их субъективные оценки, их договорные отношения—вот с чем оперирует эта теория. Тут невыполнима даже действительная постановка задачи о социальных объективных силах, господствующих над человеком. Самое большое, до чего можно дойти, оставаясь на почве данного учения—это понимание того, что, благодаря различиям индивидуальных потребностей и субъективных оценок, отдельная личность может уйти с рынка неудовлетворенной. Таким „объяснением“ важнейший вопрос социальной экономики

капитализма явно не может быть ни разрешен, ни, разумеется, устранен: он остается во всей своей полноте и суровой реальности. Теория, стоящая на этом уровне понимания общественного бытия, просто не является серьезной экономической теорией, как бы ни был значителен ее успех в официальной науке при наличных там классовых тенденциях.

Но именно классовые тенденции вполне объясняют подобную позицию. Вопрос о власти общественных отношений над людьми касается самых основ капитализма, и неизбежно связан с их критикой. А это есть именно то, чего официальная наука должна избегнуть во что бы ни стало. Не даром крупнейший ее представитель, Е. Бём-Баверк, писал в своей главной работе, что огромное практическое значение развивающихся им теорий заключается в подрыве заблуждений и лжеучений социализма.

Нечего и пытаться с подобной теорией подходить, напр., к явлениям кризисов, при которых стихийность рынка беспощадно игнорирует не только индивидуальные оценки различных полезностей, но и всякие привычные общественные оценки, сложившиеся путем накопления индивидуальных. И нельзя ссыльаться на то, что разбираемое учение дает только теорию ценности, а потому не обязано объяснять того, что лежит вне ее: капиталистические кризисы протекают именно в виде переворота рыночных ценностей¹⁾.

Естественно, что ничем не лучше оказывается отношение доктрины „предельных полезностей“ к вопросу о тенденциях развития капитализма, о законах преобразования его форм. Ничего этого нельзя определить или вывести на основании личных потребностей индивидуума или его субъективных оценок. Таким образом, доктрина оказывается глубоко статичной по своему духу, непригодной для понимания исторической динамики менового общества, а тем более—других социальных формаций, в него переходящих или из него возникающих. И опять-таки, нельзя

¹⁾ Конечно, и здесь возможны мнимые объяснения, в виде достаточно сложной цепи сколастических словесных построений. Иногда же дело сводится к тому, что идеи объективных экономических теорий переводятся на язык субъективной школы. Такова, напр., теория кризисов М. А. Бунятина, под видом учения о „перекапитализации“, широко использовавшая марковские принципы объяснения кризисов, разумеется, ничего не выигрывающая от такого переодевания („Экономические кризисы“, М. 1915).

сказать, что теории ценности до всего этого нет и дела: обмен есть специальная форма распределения, пришедшая на смену иным его формам, и в свою очередь преходящая, при чем все они опираются на определенные способы производства, связанные между собою непрерывностью технического развития. Что же, в таком случае, дает, и что по существу представляет разбираемая теория?

Она есть попытка изобразить психологический механизм образования меновой ценности, взяв за основу индивидуум с его потребностями, исходным пунктом его „субъективной оценки“ разных „благ“. Следовательно, это вовсе даже не экономическая доктрина, в ней отсутствует точка зрения социально-трудового процесса, точка зрения объективных хозяйственных отношений между людьми. Но если принять ее за психологический анализ переживаний индивидуума в меновом обществе, то и тогда ее нельзя признать удовлетворительной: она должна была бы показать, каким способом индивидуальная психика приспособляется к объективным, за пределами ее сознания создавшимся условиям меновой жизни; а данная теория начинает именно с того, что игнорирует эти условия,—и затем пытается „объяснить“ их через ту же индивидуальную психику, им подчиненную и в зависимости от них сложившуюся, вместе со своими „субъективными оценками“. Никакого реального понимания экономических процессов, позволяющего овладевать ими, при этом, очевидно, получиться не может; но также и никакого реального успеха в понимании психики индивидуума, условий ее сохранения и развития в данной социальной среде.

На таком пути все объяснения, как мы сказали, могут быть только мнимыми. Это легко видеть, напр., на тех же теориях „процента на капитал“. Бём-Баверк сводит его происхождение к различию субъективных оценок блага нынешнего и блага будущего. Ясно, что это всего меньше объяснение действительного генезиса прибыли в ее весьма материальной форме, как массы прибавочного продукта. Но это, конечно, попытка обоснования права капиталиста на нее: он дал рабочему такую же по величине „субъективную ценность“, какую потом получил от него в продаже товара, ибо 100 рублей, затраченные им тогда, в настоящем „равны“ 105 рублям, которые он имел в виду получить в будущем. Почему же именно 100 рублей „равны“ 105 через год, а не тысяче, миллиону, или 101 рублю? Ясно; потому, что о быч-

ный процент на капитал в данном обществе—5%. Этим объективным фактом и определилась разница „субъективных оценок“ блага настоящего и будущего. Реально же сто рублей есть сто рублей, и только; если, напр., они выражают ценность ста пудов хлеба, то ста пудами в прошлом году, в вынешнем и в будущем можно накормить лишь совершенно одинаковое число людей: как реальное „благо“, удовлетворяющее реальные потребности, это величина все одна и та же. Но в данном обществе, при данном уровне эксплоатации, можно за 100 р. получить через год 105 р.; вот реальное и необходимое объяснение того „субъективного“ объяснения, которое дает Бём-Баверк.

Теория Кларка глубже и объективнее только по внешности. Предприниматель субъективно оценивает все рабочие силы одинаково, но „последняя“ из них производит всех меньше; она и оплачивается полной ценностью производимого ею; все предыдущие производят больше, а оплачиваются той же ценой. Ничего общего с реальностью производства, с техническим процессом эта схема не имеет: она выражает лишь совершенный отрыв от него тех, кому подходит данная теория. Никакого „пределного“ работника нет; если по отношению к почве закон убывающего плодородия значение, хотя в ограниченных рамках, иметь может, то по отношению к средствам производства и его живой силе он чистейшая фикция. При капиталистической, научной технике аппарат предприятия—планомерно организованное целое: к таким-то средствам производства должны быть приложены такие-то по качеству и столько-то по количеству рабочие силы. Если их приложено больше или меньше, то это просто техническая неумелость или сверхнормальная эксплоатация, недостаточное использование средств или преждевременное разрушение рабочей силы; то и другое противоречит потребностям капитализма, как социальной системы, сводится к нарушениям его жизненного равновесия. Теория Кларка несовместима с принципом технической рациональности в производстве, и любопытно, что эта теория возникла в той же Америке, из которой вышли первые зародыши „научной организации труда“, в виде тэйлоризма, буржуазно-инженерской попытки развить техническую рациональность до конца.

Характерно, что в центре теории Кларка—равно как и Бём-Баверка—стоит вопрос именно о проценте на капитал, т.-е. о той части прибыли, которая не связана ни с какой реальной функци-

цией в производстве, о той части, в которой воплощается момент социального паразитизма (рантьерства).

Доктрина „предельной полезности“—последнее звено в цепи буржуазных теорий стоимости. Эпоха торгового капитала дала наивно-фетишистическую меркантильную теорию: ценность товара была для нее просто тою суммой денег, которую за него можно получить—чисто купеческая точка зрения. Эпоха мануфактур, создавшая капиталиста-предпринимателя, тесно связанного с производством своей организаторской деятельностью, и крупные предприятия с преобладающей ролью ручного труда, породила теорию трудовой стоимости Петти - Смита; учение это было завершено уже в начале эпохи машин Давидом Рикардо, но это небольшое идеологическое запоздание—вещь очень обычная в силу консерватизма идеологий—не должно маскировать для нас первоначального, чисто мануфактурного генезиса буржуазной теории трудовой стоимости. От позднейшей, пролетарской доктрины Маркса она отличается тем, что была неспособна дать коллективистическое понимание труда, образующего стоимость, идею об общественно необходимого труда, и смешивала социальную меру труда с мерой индивидуальной. Машинное производство, вызывая в капиталисте иллюзию равнозначности человеческого труда и вытесняющей его работы машин, подорвало воззрения классической школы среди буржуазных идеологов, тем более, что социалисты воспользовались идеями Петти-Рикардо, как исходным пунктом для развития новой, пролетарско-классовой теории. В то же время происходит отдаление капиталиста от производства, непосредственную организацию которого он передает наемным агентам, он сохраняет еще за собой высшие функции коммерческого руководства и контроля; и тогда его специально-конторская точка зрения отражается в тяготении „вульгарной экономии“ к доктрине об „издержках производства“, как основе стоимости. Эти взгляды по своей пустоте и фетишистичности не уступают идеям меркантилизма: стоимость одного товара определяется через стоимость других товаров—средств производства; их стоимость, в свою очередь, через стоимость третьих, посредством которых они были произведены, и т. д., без конца, при чем еще постоянно присоединяется достаточная прибыль, как нечто само собой разумеющееся и само по себе понятное, или как нечто оправдываемое „воздержанием“ капиталиста, „услугою“, которую он оказывает обществу, и т. под. Но в борьбе против пролетарской идеологии

такое оружие оказывается слишком слабым, да и коммерчески-руководящие функции предпринимателей в производстве все более идут на убыль; развивается широкое рантьерство на основе кредитной и акционерной системы; в жизни буржуазии преобладающее содержание сводится к меновым и погребительным функциям. Тогда наступает время для учения „предельной полезности“, которое всецело вращается между полюсами потребления благ и их обмена.

с) Сопоставление теорий „предельной полезности“ и „трудовой стоимости“.

Противоположность этих двух учений бросается в глаза: одно—всесдело индивидуалистическое, другое—по существу коллективистическое; одно оперирует субъективными переживаниями, другое—объективными отношениями людей; одно считает первично-определяющим свойством товара его потребительную ценность, другое—трудовую стоимость. Возникают, тем не менее, попытки „примирить“ обе системы взглядов, представить их, как взаимно дополняющие и поясняющие друг друга. У нас, в России, такую попытку сделал, напр., Туган-Барановский. В Западной Европе они делались социалистами индивидуалистических оттенков: некоторыми оппортунистами и синдикалистами. Сущность подобных синтезов обычно такова.

К экономическим процессам применяется философская концепция, согласно которой явления могут рассматриваться с двух сторон, субъективной и объективной, при чем та и другая связаны параллелизмом. Утверждается, что различие обеих теорий и есть различие этих двух точек зрения, одинаково важных и полноправных, и только в своей совокупности дающих целостное познание. Субъективная ценность, возникающая из предельных полезностей, соответствует объективной трудовой стоимости, как, положим, субъективное ощущение удовлетворяемого голода соответствует объективному усвоению организмом питательного материала.

Искусственный, натянутый характер подобных концепций обнаружить нетрудно. Субъективная сторона трудового процесса, в котором образуется трудовая стоимость, отнюдь не есть ощущение личных потребностей или оценка полезностей, а ощущение усилия и сопротивления. Объективная же сторона индивидуаль-

ных оценок по полезностям вовсе не заключается в той или иной сумме труда, а сводится к определенному возбуждению чувствительных центров. Никакого параллелизма двух способов познания, очевидно, не получается. В действительности, тут имеется как раз противоположность индивидуально-потребительской и социально-производственной точки зрения, в свою очередь порожденных противоположными классовыми тенденциями.

Поэтому понятно, что, напр., Туган-Барановский не мог удержаться на такой двойственной позиции. „Параллелизм“ буржуазного и пролетарского метода он заменил гораздо менее противоречивым, хотя достаточно путанным параллелизмом двух буржуазных методов: „предельных полезностей“ и „издержек производства“. Разбирать такие воззрения нам здесь нет надобности.

Теория трудовой стоимости является единственной объективно-экономической доктриной, дающей ключ к пониманию как противоречий капиталистического общества, его стихийности, так и его тенденций развития, опирающихся на эту стихийность и ведущих от нее к новым формам социальной организации.

Вот почему для экономической науки теория трудовой стоимости и теория „предельной полезности“ просто несопоставимы. Эта последняя лежит, в сущности, за пределами экономической науки, и по отношению к ней вполне оправдывает характеристику, данную Энгельсом: „теория беспредельной бесполезности“.

VII. Теория рынка и кризисов.

Рынок заменяет общий организующий центр для анархичной в своем целом капиталистической системы. Он—место реализации всех товарных стоимостей и специально прибавочной стоимости; от него исходят импульсы, приводящие в движение общественный капитал, потому что только реализация делает возможным это движение, а стоимости не реализованные—капиталистически мертвы. Он и средоточие всех общих противоречий капитализма, центр общественной стихийности, господствующей над людьми.

Теория рынка долгое время не привлекала усиленного внимания экономистов. Буржуазно-классическая экономия, конечно, занималась ею, но сравнительно мало. Напротив, за последние десятилетия интерес к ней выступает на первый план. Это различие соответствует двум фазам капитализма, из которых первая характеризуется быстрым и легким расширением рынка, вторая—возрастающим его стеснением. Первая была по преимуществу эпохой завоевательного шествия капитала, когда огромное преобладание до капиталистических и полу-капиталистических форм открывало ему почти незначительный простор для реализации производимых стоимостей. Вторая начинается тогда, когда простор этот в значительной мере исчерпан, и капитал, уже господствующий в своих высших формах, вынуждается все более и более искать условий реализации в себе самом, в своем „внутреннем рынке“ в точном смысле этого слова.

Промышленные кризисы были тем практическим толчком, который направил исследования экономистов на вопрос о законах движения рынка в его целом, его расширения и сужения. Теории рынков создавались для того, чтобы объяснить явления кризисов. Так и теперь, гигантский кризис, принявший форму войны, вновь концентрировал внимание науки на условиях бытия и развития мирового рынка.

а) Строение рынка.

Основная, самая важная для теории черта рынка—это соотносительность его частей и их цепная связь.

Каждая отрасль производства служит рынком для других и, в свою очередь, находит в них свой рынок. Так, горное дело нуждается в машинах, которые покупаются у машиностроителей, и в разных материалах, покупаемых у заводчиков химического производства, само же, в свою очередь, поставляет металлы для первых и разные минералы для вторых; машины необходимы также для прочих отраслей промышленности, в том числе—производящих предметы потребления рабочих, а эти предметы потребления имеют свой рынок в виде рабочей силы, занятой всеми отраслями. Прядильное производство работает, главным образом, для ткацкого, хлопковые плантации для прядильного и т. д. Благодаря такой связи всякое расширение и всякое сужение рынка распространяется как-бы волнами среди капиталистической системы, и этим способом само себя во много раз увеличивает.

Напр., если для ситце-печатного производства спрос расширился на миллион рублей, то отсюда на рынке немедленно возникает многомиллионная волна расширения. Увеличивается сбыт для ткацкого производства, напр., из пол-миллиона рублей, для производства машин, применяемых в ситцепечатном и в ткацком деле, на триста тысяч, для химического производства, доставляющего материал красок, на сто тысяч; расширяется спрос ткацких фабрик на пряжу, а прядильных на машины, хлопок, спрос машинных заводов на металлы и т. д. Требуется добавочное количество рабочей силы во всех этих отраслях, и соответственно возрастает спрос на предметы потребления рабочих, а отсюда идет новая волна расширения рынка, разумеется, более слабая, чем та первая, которую она была вызвана. Еще более слабая волна может при этом возникнуть оттого, что капиталисты, прибыль которых растет, предъявляют повышенный спрос на предметы своего личного потребления. Совершенно таким же образом распространяются волны сужения рынка.

Рассматривая ближе эти цепные процессы, легко увидеть существенную разницу между двумя группами отраслей производства: теми, которые доставляют предметы потребления

людей, и теми, которые дают орудия и материалы для производства. Волны рынка, исходящие из той и из другой группы отраслей, имеют разные свойства, разное значение для всей системы капитализма. Зависимость рынка в целом от потребительского рынка проще и яснее; она поддается даже, по крайней мере, в общей форме, математическому выражению. Если мы знаем как образуются „цены производства“ разных товаров, то мы могли бы предсказать общий размер волны расширения или сужения рынка, возникающей из определенного возрастания или уменьшения потребительского спроса¹⁾. Чтобы показать это, для упрощения примем, что в средней цене каждого товара доля прибыли составляет 10%, доля издержек на средства труда и на рабочую силу—90%. Пусть растущий спрос позволяет расширить производство тканей на миллион рублей. Для этого требуется, очевидно, добавочное количество материалов, орудий, предметов потребления рабочих, на 900.000 рублей. Но для их производства, в свою очередь, необходимо добавочное количество других, соответственных средств производства и предметов потребления рабочих, на 90% от 900.000, т.-е. на 810.000 руб.; они же, далее, обусловливают расширение спроса еще на 90% своей цены, т.-е. на 729.000 руб., и т. д., до бесконечности, по закону геометрической прогрессии. Сумма же этой прогрессии, т.-е. величина всей волны расширения рынка, будет $\frac{1.000.000 \cdot 100}{100 - 90}$, т.-е. 10 миллионов.

Если бы доля прибыли в средней цене товаров была 5%, то расширение достигало бы, при том же начальном толчке, 20 миллионов, если бы она была 4%, то—25 миллионов и т. п. В действительности же, конечно, дело гораздо сложнее, потому что доля прибыли в ценах товаров далеко не так равномерна; но сущность изучаемой связи именно такова. И очевидно, что подобные расчеты можно отнести не только к величинам изменения рынка, но и к образующейся из них „абсолютной“ его величине в данное время.

¹⁾ „Цена производства“ составляется из средней суммы издержек производства товара плюс нормальная прибыль и соответствует, при обычных условиях рынка, средней цене товара. В каждом же отдельном случае рыночная цена может отклоняться от нее в ту или другую сторону.

Теперь рассмотрим тот случай, когда волна расширения начинается с одной из отраслей другой группы, напр., с машиностроительной. Допустим, она расширила свое производство тоже в масштабе одного миллиона рублей, вследствие, напр., временно усиленного спроса на новые машины, который быстро удовлетворен на долгое время вперед, так что это расширение на миллион уже непосредственно не является ответом на спрос другой отрасли, и играет роль „первичного“ расширения только оно возникло не в последнем звене производственной цепи, а в одном из средних. Тогда по направлению к начальным звеньям волна идет, как и в предыдущем случае: для лишних машин потребуется лишняя сталь, железо, медь, и, далее,—чугун, уголь. Поскольку на этом пути будет нужна лишняя рабочая сила, а следовательно, предметы потребления работников, часть волны, очевидно, пойдет и далее, по всей цепи, как в предыдущем случае, пока не исчерпается. Но это будет только часть волны, соответствующая относительной величине переменного капитала, т.-е. ее десятая или пятая часть, если он составляет десятую или пятую часть всего капитала. А другая, тилически главная по размерам часть волны, соответствующая доле постоянного капитала, так развертываться дальше не может. Вновь производимый затем, на только что расширившейся базе, излишек стали, железа, меди, чугуна, угля нашел бы место на рынке, если бы машиностроительная промышленность продолжала предъявлять усиленный спрос; но для нее толчок исчерпан, ей некуда сбыть и большую часть тех лишних машин, которые она после него по инерции произвела, ее размах временно даже сокращается, а значит, и спрос также. Волна попадает в тупик и разбивается, получается относительное перепроизводство по всем звеньям от машин до угля. Равновесие системы нарушено.

Нарушение это может еще осложниться, если те новые машины, которые мы взяли за исходный пункт расширения, представляя достаточно крупный шаг технического прогресса, вытесняет из производства большее число рабочих, чем то, которое вновь вовлекается расширением спроса на продукты вследствие их удешевления повышенной техникой. Тогда к неполной, обрывающейся волне расширения, о которой у нас шла речь, присоединяется волна сужения, идущая, конечно, по всей цепи, потому что уменьшение числа рабочих есть сокращение потребительского спроса.

Итак, ясно, что условия равновесия при расширении рынка не нарушаются только тогда, когда волны расширения исходят из области производства предметов потребления. Волны же, исходящие из сферы средств производства, тяготеют к перепроизводству.

А из этого ясно, что действительную основу возрастаия рынка в его целом составляет рост потребительного рынка.

На упущении из виду этой связи, чрезвычайно важной для всей теории капиталистического развития, построена известная теория рынков и кризисов М. Туган-Барановского. По его мнению, рынок в целом может расширяться даже и при сужении потребительного рынка: производство материалов и орудий труда растет в силу развития техники, повышающего органический состав капитала, тогда как рабочая сила, с ее потребительным спросом, все более вытесняется из производства; тот и другой процесс могут, как полагает г. Туган-Барановский, развиваться неограниченно, при чем сужение потребительного рынка все время будет более чем покрываться расширением рынка средств производства, — и вообще этот последний способен сам для себя создавать новый и новый спрос. Получается следующая своеобразная картина. Уголь, железо и машины производятся все в большем и большем количестве лишь для того, чтобы послужить для дальнейшего увеличения производства угля, железа и машин и т. д., без конца, без всякого отношения к размерам того спроса, который служит для удовлетворения непосредственных человеческих потребностей; этот последний может сохраняться приблизительно на одном уровне, или слабо возрастать, или, напротив, уменьшаться, не мешая первому процессу идти дальше и дальше.

Разъясняя и доказывая свою теорию при помощи разных цифровых схем, Туган-Барановский приходит к неизбежному и естественному вопросу:

„Не вызовет ли, однако, это относительное замещение человеческого потребления производительным потреблением средств производства образования избыточного продукта, не находящего себе помещения на рынке“, — и он отвечает на это так:

„Совершенно очевидно, что ничего не стоит построить новую схему... и наглядно показать, что самое широкое замещение рабочих машинами не в силах само по себе сделать какую-либо

машину излишней и бесполезной. Пусть все рабочие вплоть до одного будут замещены машинами; в таком случае этот единственный рабочий будет приводить в движение всю колossalную массу машин и с их помощью производить новые машины и предметы потребления капиталистического класса. Рабочий класс исчезнет, но это нисколько не затруднит реализацию продуктов капиталистической промышленности. Капиталисты будут получать в свое распоряжение большую массу предметов потребления, и весь общественный продукт одного года будет поглощаться производством и потреблением капиталистов следующего года. Если же капиталисты, в своей страсти к накоплению, пожелают сократить свое собственное потребление, то и это вполне осуществимо,—в этом случае сократится производство предметов потребления капиталистов, и еще большая часть общественного продукта будет состоять из средств производства, предназначенных для дальнейшего расширения производства. Будут производиться, напр., уголь и железо, которые будут идти на дальнейшее расширение производства угля и железа. Расширенное производство угля и железа за каждый последующий год будет поглощать уголь и железо, произведенные в предыдущем году, и так до бесконечности, пока не будут исчерпаны естественные запасы соответствующих минералов." (Туг.-Бар., „Теоретич. основы марксизма“, стр. 154—155.)

В схемах, которыми Туган-Барановский доказывает правильность своей теории, все средства труда и потребляемые продукты фигурируют лишь в совершенно отвлечённой форме—их денежных цен. Эта безличная и безразличная форма капитала представляет конечную цель для капиталиста и всецело заполняет буржуазное сознание. Благодаря этому Туган-Барановский и не видит за нею реальных элементов производства. А между тем стоит только отчетливо представить их себе в конкретном их виде, т.-е. прежде всего как настоящие машины, орудия, материалы, выполняющие свою определенную техническую функцию,—и все абстрактное построение разлетается в прах. Тогда получается вот что.

Современный капитализм производит машины при помощи машин, но отнюдь не без всякого смысла и технической связи. Одни машины служат для производства других,—но и другие уже служат не для производства третьих, а для производства предметов потребления. Гигантские кузницы и литейные мастерские

механической промышленности, ее различные станки и станины не только воспроизводят самих себя; оттуда выходят также ткацкие и прядильные станки, различные аппараты для выработки пищевых продуктов, машины, применяемые при постройке обитаемых людьми зданий, приспособления, посредством которых эти здания освещаются и отопляются, напр., машины газовых заводов, электрических станций, калориферы и пр.; далее, там приготавливаются также и локомотивы, пароходы, автомобили, телеграфные аппараты и т. п. Таким образом, огромное большинство машин служит не для того, чтобы создавать новые орудия и материалы труда, а для других целей, относящихся к производству и транспорту предметов потребления. Очевидно, что спрос на эти машины зависит всецело от изменения потребительского рынка. То же относится, конечно, к различным сырьем и вспомогательным материалам производства, как уголь, нефть и т. п.; значительная часть их добывается ради их применения в производстве продуктов, потребляемых людьми непосредственно.

Таким образом, в общественном разделении труда, производство, напр., тех машин, которые применяются в машиностроительной индустрии, вместе с производством других машин, предназначенных для промышленных отраслей, приготавливающих предметы потребления, и вместе с предприятиями этих последних отраслей образуют объективно один, только разъединенный в пространстве, технический аппарат, производящий предметы человеческого потребления. Поэтому расширение спроса во всех областях рынка необходимо опирается на расширение потребительского рынка, и вне связи с ним невозможно. Без увеличенного потребления тканей невозможен рост производства различных машин текстильной промышленности, а от него зависит известная часть спроса на механизмы машиностроительной индустрии. Схемы Туган-Барановского игнорируют все это, потому что он, оперируя только с рублями, интересующими капиталиста, не видит конкретного трудового процесса и даже не интересуется реальным применением тех средств производства, которые скрыты от него фетишизмом денежных цен.

Туган-Барановский опустил из виду весьма простую вещь: если с помощью токарного станка можно производить не только прядильный, ткацкий станок, швейную машину, аппараты для химических производств, части локомотива, велосипеда, аэроплана, но и другой токарный станок, то с помощью прядильного станка

или швейной машины или велосипеда никак нельзя производить ни токарного, ни ткацкого станка, ни других машин. Если ему кажется, что вообще машина способна рождать вообще другую машину, то лишь потому, что для него всякая машина тождественна с той суммой рублей, которую она представляет, а в этом виде, конечно, нельзя отличить токарного станка от ткацкого.

Но ведь и в самом деле можно продать ткацкие станки и заменить их на вырученные деньги токарными? Без сомнения. Но в системе производства от этого ровно ничего не изменится; те же станки обоего рода будут существовать, как прежде, только переменят владельцев.

Однако можно и не возобновлять ткацких станков по мере их изнашивания, а заказывать взамен их токарные? И можно эти последние употреблять уже отнюдь не для приготовления увеличенного количества ткацких станков, а исключительно для умножения токарных? В таком виде, идея Туган-Барановского как-будто исполнима. Но посмотрите, что получится.

Если посвятить токарный станок всецело размножению его же рода, то до его кончины он успеет послужить производству не одного и недвух, а во всяком случае большего числа таких же станков; какого именно—только специалисты могут сказать, хотя бы с приблизительной точностью; поэтому возьмем неправдоподобно-малое число, хотя бы 10. Что касается нужных для этого материалов, а также других орудий, то они должны, очевидно, получиться путем аналогичных замещений в других отраслях: сокращения выделки пряжи, усиления выделки железа и т. п. Итак, мы имеем вместо прежнего миллиона ткацких станков миллион токарных и посредством них производим уже 10 миллионов новых токарных. Но эти последние опять не могут ни бесплодно валяться в складах, ни служить производству ткацких станков, а предъявляют свои права на размножение, и в той же пропорции. Таким образом, следующий технический оборот этой формы капитала принесет нам уже 100 миллионов станков, а еще следующие—миллиард, 10, 100 миллиардов и т. д. Между тем, цикл жизни такого станка в работе измеряется, если не месяцами, то во всяком случае минимальным числом лет. Арифметические таблицы Туган-Барановского, может быть, и выдержали бы такое головокружительное развитие, но реальный капитализм вряд ли оказался бы способен последовать за ними.

Капиталистическая система анархична и полна противоречий, но она не является технически-бессмысленной, какой изображал ее Туган-Барановский. Его схемы украшены нравственным негодованием против капитализма за то, что он способен производить машины ради машин и не заботится о человеческих личностях; но действительный смысл этих схем заключается в той идее, что капитализм не нуждается в расширенном потреблении для своего развития и не подрывает сам своих основ, относительно сокращая потребительный спрос техническим прогрессом, ибо всегда может создать для себя достаточный рынок в производстве средств производства. Следовательно, тут перед нами экономическая апология капитализма, в которой ничего не изменяют нравственные соображения самого автора.

Свою теорию г. Туган-Барановский пытался подкрепить фактами. Сопоставляя, напр., данные о производстве и вывозе Германии, он приходит к следующему выводу:

„... внутренний рынок Германии расширяется очень быстро для угля и железа, гораздо медленнее для предметов одежды. Почему? Очевидно, потому, что развитие капитализма создает усиленный спрос на средства производства но не на предметы потребления...“

„Соответственно этому, доля населения, занятого производством предметов потребления, уменьшается, а доля населения, занятого производством средств производства, возрастает“ (приводятся цифры переписей, из которых видно, что первая часть населения возросла с 1882 по 1895 год на 8%, а вторая на 59% („Основы политич. экономии“, стр. 712, 709).

„Впрочем, общезвестный факт, что новейшее капиталистическое развитие характеризуется чрезвычайно быстрым расширением таких отраслей производства, как горная промышленность, химическое производство, изготовление машин и прочих продуктов, не входящих в состав человеческого потребления, между тем как земледелие, текстильная промышленность и другие отрасли производства, непосредственно работающие для человеческого потребления, находятся в относительном застое. Прежде хлопчато-бумажное производство было господствующей отраслью капиталистической промышленности, теперь эту роль играет же́лезоделательное производство.“ („Теоретические основы марксизма“ стр. 156.)

Все такие данные говорят о бесспорном факте относительного замещения людей в производстве машинами. Но они никоим

образом не могут быть признаны за доказательство взглядов Туган-Барановского.

Тут надо принять во внимание следующее. Если рынок орудий и материалов производства зависит от рынка предметов потребления, то это вовсе не означает, что между ними должна быть прямая пропорциональность. Она существовала бы только при неподвижной технике, при неизменной повсюду производительности труда. Если же, напр., повышается производительность труда в ткацком деле, то происходит как бы перенесение части мертвого живого труда из ткацких предприятий в те, которые для них приготовляют новые, более совершенные орудия, а следовательно, если расширяется спрос на ткани, которые стали дешевле, то еще в большей, сравнительно, мере расширяется производство орудий для их производства. Если мы представим техническую цель предприятий, имеющую конечным назначением производство тканей, в ее целом, то получится, примерно, такая картина: добывание угля и железа для производства машин механического производства; приготовление самых этих машин; затем производство при их помощи станков прядильных и ткацких; затем их применение—производство самых тканей¹⁾. Очевидно, что с прогрессом машинного производства все более значительную часть этого цепного аппарата должны составлять его первые звенья: элементы постоянного капитала в общественной системе должны расти быстрее элементов переменного; другими словами,—органический состав общественного капитала повышается. При этом, как известно, понижается обычный процент прибыли, т.-е. относительная доля прибыли в ценах производства. А мы уже видели, что чем меньше эта доля, тем сильнее растут волны расширения или сужение рынка, напр. когда эта доля 10%, то увеличение потребительного спроса на миллион дает волну расширения в 10 миллионов, а когда только 4%, то в целых 25 милл. Следовательно, с прогрессом капитализма рынок в целом растет относительно быстрее его потребительной части. Поэтому нет ничего удивительного, если на малом расширении потребительского рынка основывается сравнительно большое расширение рынка в целом, но из этого не следует, что такое же—и даже неограниченное—расширение

¹⁾ Вполне аналогичную цепь производства материалов мы, для краткости, опускаем.

всего рынка может получаться при сужении рынка потребительского.

Итак, рынок—регулятор капиталистического производства—при всей своей анархичности имеет вполне определенное строение. Основной его частью, к которой тяготеют и от которой в конечном счете зависят все остальные, является потребительный рынок. Объединяющей формой служит цепная связь отраслей производства. Технический прогресс, изменения органический состав общественного капитала, делает развитие рынка неравномерным, но базисом расширения рынка всегда остается рост непосредственного потребления.

b) Рыночная реализация.

Рынок управляет экономической жизнью общества путем реализации меновых ценностей. Продажа товаров есть тот способ, посредством которого каждая хозяйственная клетка социального организма почерпает из экономической среды энергию для дальнейшей жизни и развития. Продажа товара—цель и предел производственного цикла в каждом предприятии, а в то же время и начало нового цикла. Остановить реализацию—значило бы остановить самое движение капитала; когда она нарушается, становится недостаточной, тогда механизм современного общества испытывает потрясение, охватывается болезнью.

Поэтому главный вопрос теории рынка—это вопрос об условиях достаточной реализации стоимости производимых товаров. Исследуя его, надо, прежде всего, отрешиться от денежного фешизма и ни на минуту не упускать из виду, что объективно—деньги только посредник, при помощи которого товары обмениваются на товары. Затем, надо не упускать из виду конкретной формы товаров, их „потребительной ценности“, потому что она—необходимое условие, от которого зависит самая возможность реализации¹⁾.

¹⁾ Именно потребительную ценность товаров или, точнее, характер их общественной полезности упустил из виду в своих многочисленных схемах Туган-Барановский. У него получается так, что, напр., при сужении ткацкой промышленности производство ткацких станков, скрывающихся от него под общим понятием „машины“ или „средств производства“, может все-таки расширяться. „Машины“ будут куплены „для производства новых машин“. Как будто все они для такого дела годятся! Маркс никогда не забывал этого в анализе рынка.

Ради последовательности, мы начнем анализ с положения отдельного предприятия на рынке. Пусть это будет, положим, текстильное предприятие, производящее ситец. Оно предъявляет спрос на рабочую силу, на специальные машины, на пряжу, а для машин также на уголь, смазочные масла и т. п. Спрос на рабочую силу сводится, в свою очередь, к спросу на предметы потребления рабочих. Следовательно, в самых общих чертах отношение предприятий к рынку выражается формулой органического состава применяемого в нем капитала; напр., в данном случае, положим, такою:

$90.000c$ (спрос на элементы постоянного капитала—орудия и материалы) $+10.000v$ (спрос на покупаемые за переменный капитал, в виде заработной платы, предметы потребления рабочих) $+10.000m$ (прибавочный труд в самом предприятии) равняется 110.000 трудовых единиц, воплощенных в товаре предприятия (предложение тканей, в нем произведенных).

Хотя ситец может потребляться рабочим, но практически удобнее игнорировать ту ничтожную долю спроса на него, которая будет предъявлена рабочими данного предприятия. Таким образом, надо считать, что спрос и предложение здесь относятся вообще к различным областям производства, и внешним образом независимое, „частное хозяйство“ находится на деле в полнейшей зависимости от целого ряда других предприятий, а через них—от всей сети общественного разделения труда.

Мы должны брать за исходную точку исследования состояние равновесия общественной системы, при котором каждая часть ее находит достаточную опору для своего сохранения. В данном случае приходится, значит, принять, что вплоть до взятого нами момента предприятие находило достаточный рынок и для своего спроса, и для своего предложения. Но действительное равновесие получается лишь при том условии, что предприятие столько же берет, в разных формах, кристаллизованной трудовой энергии общества, сколько само, в свою очередь, ему дает. Для этого требуется, чтобы весь прибавочный труд шел на личное потребление капиталистов. В схему включается еще спрос—10.000 трудовых единиц—на предметы, потребляемые самими предпринимателями, главным образом, очевидно, предметы роскоши.

Примем, далее, для простоты расчетов, что строение всего общественного капитала, в среднем, такое же, как в нашем текстильном предприятии: напр., 900 миллионов c $+ 100$ миллионов $v + 100$

миллионов m , — и что при этом весь прибавочный продукт потребляется капиталистами, так что никакого накопления не происходит. Тогда легко представить себе, а также изобразить в числовых схемах устойчивое распределение предприятий между различными отраслями, при чем одни покупают продукты других, другие — третьих, третьи — первых и вторых и т. д., взаимно реализуя стоимости товаров без всякого расстройства и задержки¹⁾.

Но как только на сцену выступает капиталистическое накопление, дело усложняется. Предположим, что капиталисты потребляют только половину прибавочного продукта, т.-е. 5% из 10% прибыли. Значит, следующий цикл производства начинается с капиталом не в 1.000, а уже в 1.050 миллионов. Если техника при этом не изменяется, то органический состав общественного капитала останется тот же. Новый оборот капитала представится в таком виде:

945 милл. $c + 105$ милл. $v + 105$ милл. $m = 1.155$ милл.
труд. ед.

Чтобы накопление в данных размерах стало возможным, для этого, как видим, в предыдущем цикле необходимо было произвести излишek орудий и материалов труда, равный по стоимости 45 милл., и жизненных средств для рабочих, равный 5 милл. труд. единиц, а следовательно, предметы потребления высших классов должны были быть произведены лишь в количестве 50 милл. труд. единиц. Вне этих соотношений, между рынком и потребностями производства оказалось бы несоответствие, более или менее значительное. Напр., если бы средства производства были доставлены на рынок в достаточном количестве для указанного нами накопления, но предметов потребления рабочих было бы произведено не 105 милл., а по-прежнему 100 милл. труд. единиц, то накопления не могло бы произойти; тогда, из-за недостающих в одной области пяти миллионов единиц продукта, в

¹⁾ Такие схемы для разных случаев простого и расширенного воспроизводства общественного капитала даны во II томе „Капитала“. Но Маркс не считал алгебраического способа составления схем-иллюстраций методом разрешения экономических вопросов, как считал г. Т.-Б. До известной степени, Туган-Барновского сбила с толку неполнота схем равновесия у Маркса: в них метод равновесия прилагается по отношению к величинам меновой ценности разных элементов производства, при чем оставлена в стороне их конкретная форма.

другой области обнаружилось бы перепроизводство в сорок пять миллионов.

Но пусть накопление в данном цикле произошло успешно и вполне пропорционально для разных областей производства; в таком случае, оно само по себе вынуждает новое, и притом большее накопление в следующем цикле. Прибавочный продукт, равный по стоимости 105 миллионам, распределяется на основании предыдущего теперь таким образом:

материалы и орудия труда (элементы постоянного капитала общества)	47 $\frac{1}{4}$ милл.
средства потребления рабочих (элементы переменного капитала общества)	5 $\frac{1}{4}$ "
средства потребления капиталистов	52 $\frac{1}{2}$ "

Чтобы все это нашло себе место на рынке, производство должно дальше расширяться уже на большую, чем в первый раз величину, соответствующую не 50 милл., а $47\frac{1}{4} + 5\frac{1}{4}$, т.-е. 52 $\frac{1}{2}$ миллионам, а в следующем периоде обращения на еще большую (по вычислению, — 55 $\frac{1}{8}$ милл.) и т. д. Но имеются ли при этом прогрессивном расширении необходимые условия, столь же успешной реализации? Скорее, наоборот, имеются условия, приводящие с наибольшей вероятностью к ее нарушению.

Потребление капиталистов должно все время возрастать пропорционально общему расширению производства. Между тем в действительности чем дальше идет накопление капитала и, значит, рост дохода, тем меньшую его долю капиталист склонен тратить на личное потребление, во-первых, потому, что даже и самые широкие потребности уже достаточно удовлетворяются этой меньшей долей, во вторых, потому, что капиталистическая борьба развивает в предпринимателе, как мы знаем, всего сильнее жажду дальнейшего накопления. Оно объективно является жизненной миссией капитала и неизбежно становится господствующей тенденцией в хозяйстве. Если богач прошлых времен из 100.000 дохода мог тратить на личные потребности 50.000, то нынешнему богачу с миллионом дохода не только нет необходимости, но прямо-таки трудно довести эти потребности до уровня затрат в 500.000, часть дохода, присоединяемая к капиталу, таким образом, должна возрастать ¹⁾.

¹⁾ Следует заметить, что даже расходы, представляющие с точки зрения отдельного капиталиста издержки личного потребления, далеко не всегда оказываются таковыми с точки зрения общественной си-

Следовательно даже при простом пропорциональном расширении производства, при неизменной технике, есть на-лицо условия, приводящие к относительному сужению основной части рынка — спроса на предметы потребления. А каждое такое сужение порождает ряд волн дальнейшего сокращения спроса, далеко превосходящих в конечном результате первоначальный толчек. Уже здесь обнаруживается внутренняя неустойчивость анархической производственной системы, внутренний порок, прогрессивно развивающий элементы ее общего расстройства.

Еще сильнее и сложнее выступают противоречивые разрушительные тенденции при изменениях техники.

Каждый шаг технического прогресса требует новой формы равновесия для рынка. Соотношение частей рынка изменяется. Если принять, что до момента, когда вводится усовершенствование, между ними имелось реальное соответствие, то с этого момента оно нарушается и может быть восстановлено лишь расширением системы в целом — или же частичным разрушением ее элементов.

В самом деле, допустим, что введена машина, повышающая производительность труда, но расширения производства в той отрасли, где она применяется, не последовало. Тогда дело сводится к тому, что уменьшается потребность капитала в рабочей силе, а с нею рыночный спрос на предметы потребления рабочих. Но это сокращение потребительского рынка, в свою очередь, как мы знаем, порождает сужение рынка орудий и материалов, употребляемых в производстве предметов потребления рабочих, а затем и тех, с помощью которых все эти предметы изготавливаются; в связи с этим еще некоторое уменьшение спроса на рабочую силу, и новая, более слабая волна сужения рынка и т. д. Тогда технический прогресс превращается в свою противоположность — в понижение общей суммы производительных сил трудовой системы.

Но такой случай для капитализма все же лишь исключение. Его технический прогресс обычно сопровождается расширением производства в затронутой этим прогрессом отрасли, и картина получается уже иная. Если, положим, новая система ткацких станков позволяет удешевить ткань, и предприниматели, в расчете

стемы. Если, напр., он покупает редкую картину за 10.000, проигрывает на рулетке или дарит фавориткам сотни тысяч, то это есть лишь перемещение прав на прибавочную стоимость, и в массе случаев те же „затраченные“ деньги продолжают играть роль капитала, только в других руках.

на больший спрос, производят ее в большем количестве, то, во-первых, уменьшается или устраняется сокращение спроса на рабочую силу в самом ткацком деле, во-вторых, возрастает спрос в отраслях, доставляющих для него материалы и орудия, а в связи с этим, опять-таки, в известной мере, и потребительный рынок, основанный на рабочей силе. Наконец, может расширяться и спрос на предметы потребления капиталистов, благодаря росту прибавочной стоимости. Весь процесс протекает в виде ряда замирающих волн рынка, и может завершиться новым его равновесием уже на более широкой основе.

Однако по мере ускорения технического прогресса, такой переход к новому равновесию должен происходить все труднее и труднее. Когда повышается производительность труда в отраслях, приготовляющих материалы, орудия, машины, то противоречие между различными сторонами процесса оказывается вообще глубже и остree, чем в предыдущем нашем примере. Пусть производство машин совершенствуется, и для прежнего их количества требуется значительно меньше рабочих рук; между тем расширить их производство можно только в том случае, если расширятся отрасли, в которых применяются эти машины. А для их расширения нужно, разумеется, увеличение потребительного рынка, на который они работают, на лицо же имеется пока его сужение, вызванное уменьшением спроса на рабочие руки в машинном производстве. Значит, здесь необходимо сразу расширение нескольких отраслей кроме той, в которой произошло техническое изменение,—иначе соответствия между частями рынка не получается. Такое условие далеко не всегда, конечно, само собою осуществляется; тут гораздо чаще в систему рынка проникает внутреннее противоречие, которое, может быть, не обнаружится немедленно, благодаря огромной величине и сложности этой системы, благодаря длительности оборота общественного капитала, но будет развиваться в глубине, чтобы затем вместе с другими накопляющимися противоречиями сказаться в общем потрясении системы.

Надо прибавить, что с прогрессом капитализма одна часть потребительного рынка, и часть очень большая — спрос на предметы потребления капиталистов — становится все менее эластичной в сторону расширения (но не сужения). Благодаря централизации капитала, численность класса капиталистов относительно уменьшается. Этому не могут воспрепятствовать даже кредит и акционерная форма предприятий, порождающие крупное и мел-

кое рантьерство, ибо при периодических или случайных потрясениях системы они же ведут к тому, что гибнут не единицы, а сразу множество представителей капитала. Понятно, что чем меньше численность класса, тем меньше он может повлиять на общую жизнь рынка, даже сравнительно сильно расширив свое потребление. Вдобавок, мотивом к такому расширению, сколько-нибудь общему и значительному, может быть только благоприятная конъюнктура, т.-е. хорошая и легкая реализация, а нужда в нем для уравновешивания системы рынка возникает, конечно, при условиях прямо обратного характера.—гри неблагоприятном ходе дел, при стесненной реализации. Но как раз тогда дает себя почувствовать большая эластичность этой области рынка в смысле ее способности к сужению: так как основу ее составляют предметы роскоши, от которых отказываться на время даже представителям капитала не так уж трудно, то это в значительной мере и происходит на деле; прибавляется еще новая волна сокращения рынка, стеснение возрастает.

Итак, если технический прогресс шаг за шагом создает новые трудности для процесса реализации, между тем как способность системы преодолевать их своими внутренними средствами не увеличивается, а, напротив, даже уменьшается, то очевидно, что накопление противоречий должно рано или поздно приводить к состоянию более или менее глубокой неприскобленности всей системы, к серьезным разрушительным изменениям в ее среде. Но тут капитализм, в своем стихийном искаании, находит еще один путь к восстановлению нарушенного равновесия. Это—внешние рынки.

По точному смыслу понятия, внешним рынком для капитализма может явиться, во-первых, всякая другая экономическая организация, хотя бы такого же типа, но живущая самостоятельной жизнью, напр., капитализм другой страны; во-вторых, некапиталистические и полукапиталистические классы хотя бы той же самой страны. Так, для русского капитализма внешним рынком служили и все другие страны, в которые вывозятся русские товары, и в самой России—крестьянское хозяйство, уже денежное, меновое, но еще не развившееся в настоящие капиталистические формы¹⁾.

¹⁾ В этом последнем случае обычное словоупотребление, основываясь на географической и политической связи, пользуется термином „внутренний рынок страны“. С экономической точки зрения этот термин, очевидно, неточен.

Но и внешние рынки могут лишь временно поддержать нарушенное ходом развития равновесие капиталистической системы. Их роль сводится к расширению, неизбежно все-таки ограниченному, той основы, на которой держится рынок в целом.

В самом деле, пусть одно капиталистическое общество вступает в обмен с другим таким же обществом. Что это значит? Только то, что образуется новая, более обширная система капитализма, заключающая в себе обе первоначально отдельные. Без сомнения, если каждая из них найдет в другой спрос на излишки, не находящие сбыта в ней самой, то это поможет им обеим в данный момент избежнуть рыночного расстройства и, может быть, даже еще расширить свое производство, не выходя из границ необходимого соответствия между частями рынка. Но это даст лишь новый толчек к техническому прогрессу, и возрастанию производства орудий и материалов труда за пределы того, что допускается размерами медленнее растущего потребительного рынка. Новое несоответствие, более значительное, чем прежде, начнет создаваться в обеих странах одновременно, и если, благодаря обширности общего рынка, оно дольше останется скрытым, то зато окажется тем сильнее тогда, когда, наконец, пробьется наружу.

По существу, то же относится и к внешним рынкам экономики-низшего типа. Их главная особенность состоит в том, что они дольше сохраняют свой „внешний“ для эксплуатирующего их национального капитала характер, т.-е. не так скоро увеличивают его внутренние противоречия прибавлением своих собственных, как в предыдущем случае. В обществах, еще только выходящих на путь капиталистического развития, основа рынка — область предметов потребления — относительно шире, поэтому там технический прогресс еще сравнительно долго не создает больших трудностей для реализации. Кроме того — что особенно важно — капитал, эксплуатирующий эти внешние рынки, может направить их развитие так, как это требуется в его интересах. Он наводняет их именно теми товарами, для которых у себя не находится достаточно сбыта, и этим препятствует расширению местной промышленности соответственного характера, допускает же только развитие тех отраслей, с которыми он не конкурирует, или которые, напротив того, ему нужны, напр., индустриальный капитал экономической метрополии поощряет своим спросом произ-

водство сырых материалов в колониях¹⁾). В силу таких соотношений, подобного рода внешние рынки могут, так сказать, дольше служить передовому капиталу, облегчая для него реализацию.

Но прогресс капитализма, не знающий остановок и все более ускоряющийся, рано или поздно исчерпывает и эти рынки. Частью они просто становятся для него недостаточны, частью из „колоний“ превращаются в конкурентов, переходя сами к высшим формам капитала. Тогда явления недостаточности рынка обостряются и приводят ко все большим нарушениям всего социального механизма, ко все большей растрате производительных сил общества, к частным, а потом и общим экономическим кризисам.

Итак, внешние рынки имеют для капитализма то объективное значение, что они позволяют ему продолжать свое развитие на более широкой основе, дальше развернуть производительные силы его мировой системы. В этом смысле они для него жизненно-необходимы. В ограниченной, изолированной стране капитализм не только развивался бы гораздо медленнее, но рисковал бы заахнуть и выродиться, не успевши подготовить производственных условий новой высшей социальной формации.

Устранить же болезни и потрясения капиталистической системы, зависящие от основного ее строения, внешние рынки не могут, потому что этого строения они не изменяют. Но они замедляют наступление кризисов и, увеличивая общую сумму сил системы, позволяют легче справляться с кризисами.

с) Общие причины кризисов.

Проследим теперь развитие и исход типичного экономического кризиса, протекающего в мировом масштабе.

Капитализм анархичен, неорганизован в своем целом, но это целое слагается из высоко организованных элементов—отдельных предприятий. Внутри их царят техническая сознательность и плано-

1) Выражения „внешний рынок“, „колония“, „метрополия“ здесь берутся все время в чисто-экономическом смысле, который может значительно не совпадать с политическими делениями. Напр., русское крестьянство, вовлеченнное в обмен и подчиненное власти торгово-ростовщического капитала, представляло „внешний рынок“ для крупной промышленности самой России, но также Германии, Англии. До развития крупного машинного производства в России, вся она была только „экономической колонией“ капитала других стран, главным образом—Германии.

мерность, между ними—борьба, в которой существование каждого из них находится под угрозою. Чтобы устоять в борьбе, надо быть вооруженным сильнее, чем другие; победу обеспечивает наибольшее накопление и более совершенная техника. Стремление расширять предприятие и улучшать способы производства диктуется капиталисту властью рынка, силою конкуренции. Подчиняясь ей, он планомерно и систематически действует в таком направлении. Это относится к каждому предпринимателю в отдельности, а значит, и ко всем ним, вместе взятым. На всем протяжении экономической системы происходит постоянное расширение производства, наибольшее, какое капиталисты в состоянии осуществить, и, равным образом, наибольшее повышение техники, какое им удается. То и другое ведет к определенному нарушению равновесия — к недостаточности рынка и перепроизводству.

Благодаря сложному, цепному строению всего механизма перепроизводство обнаруживается отнюдь не сразу, не тотчас после объективного своего возникновения, оно долго остается в скрытом состоянии, накапляясь до значительных размеров, и по этой причине оно выступает на сцену резко и внезапно, принимая стихийно-грозную форму.

В самом деле, предположим, что текстильная промышленность уже дошла до пределов насыщения своего рынка, и что из производимого ею в данный момент продукта значительная часть на деле окажется излишней, обреченной не найти сбыта. Очевидно, что пока этот новый продукт еще не закончен и не дошел до рынка, перепроизводство, динамически уже существующее, невидимо, недоступно для наблюдения. Но и когда продукт попал на рынок, положение вещей обрисовывается не так скоро. Непосредственно с потребителем имеют дело мелкие торговцы, покупающие у крупных, в свою очередь делающих закупки у фабрикантов. Нужно время, чтобы мелкие торговцы на деле убедились в чрезмерности своих запасов и перестали приобретать новые запасы у оптовых торговцев; нужно затем время, чтобы эти убедились в сокращении спроса и приостановили операции с фабрикантами, и опять-таки время, чтобы фабриканты замедлили темп производства. Каждая следующая стадия этого пути проходится быстрее предыдущей, но все же и последняя из указанных требует по меньшей мере недель, или даже месяцев, ибо уже протекающий цикл производства прерывать убыточно, а чи-

сто-организационная сторона сокращения дела, находящегося в полном ходу, достаточно трудна и сложна.

В более ранних кризисах, 30-х, 40-х годов прошлого века, крушение наступило именно на этой стадии, — текстильная промышленность являлась его обычным исходным пунктом. В дальнейшем, развитие производственного механизма перемещает его центр тяжести в железо-делательную и каменноугольную промышленность, в области, производящие средства производства, и позднейшие кризисы разражаются уже тогда, когда первичная волна сокращения достигает этих значительно более удаленных от непосредственно-потребительского рынка отраслей; а предшествующие моменты протекают в виде частичных заминок в соответственных сферах производства и обращения. Здесь, таким образом, период скрытого перепроизводства еще продолжительнее, его накапливающаяся до взрыва величина еще больше. Отсюда — такая грандиозность кризисов 1873 и конца 90-х, начала 900-х годов.

Самый ход кризиса есть яркое выражение цепной связи рынка. Крушение распространяется с одной отрасли на другую сообразно тому, какая для какой служит рынком. Но каждый из этих этапов становится началом новой, вторичной волны: сокращение производства всюду немедленно уменьшает потребительский рынок, создавая безработицу и побуждая даже капиталистов суживать свои потребности. Благодаря этим вторичным волнам кризис растет лавинообразно; крушение кредита, выступающее уже на первых этапах, нанося удары не только слабым предприятиям, которые от этого гибнут массами, но даже наиболее крупным и прочным, обостряет процесс еще более; таким образом его разрушительная работа сама себя усиливает и ускоряет.

Наконец она все же исчерпывается. Ценою растраты некоторой части накопленного общественного капитала, после промежуточного периода застоя, устанавливается равновесие между производством и рынком. Реализация входит в нормальные условия, капиталы начинают приносить надлежащую прибыль; конкуренция вступает в свои права, вызывая вновь неуклонно, шаг за шагом, расширение производства, улучшение техники. Последнее находит в кризисах особенно сильный стимул: с внешней стороны, единственno-доступной буржуазному сознанию, главным явлением кризиса представляется падение цен на товары, и ка-

питалисты усиленно ищут способов создать такое положение, при котором эти низкие цены их бы не разоряли,—ищут усовершенствований, удешевляющих производство. Новый промышленный цикл развертывается в еще более широких размерах, чем предыдущий, завершаясь в свою очередь и новым, более грандиозным кризисом.

Изложенная нами теория рынков показывает, что основою для этого цикла должен служить расширенный, по сравнению с началом предыдущего цикла, потребительный рынок. Возможно ли это? Здесь возникает следующее возражение, формулированное г. Туган-Барановским:

„С точки зрения этой теории совершенно непонятен промышленный подъем, неизбежно следующий за кризисом. Ведь кризис и промышленный застой делают народную массу не богаче, а беднее; каким же образом, после нескольких лет промышленного застоя, наступает промышленный подъем, и рынок оказывается в силах дать место гораздо большему количеству товаров, чем до кризиса? Если бы названная теория была верна, то следовало бы ожидать, что капиталистическая промышленность совсем не будет идти вперед. всякая попытка расширить производство наталкивалась бы на стену народной бедности, и, в общем, капиталистическая промышленность пребывала бы в состоянии хронического застоя“ (Туг.-Баран., „Основы полит. эк.“, стр. 742).

Какущаяся логичность этого возражения скрывает за собою ряд неточностей и ошибок. Прежде всего, г. Туган-Барановский сопоставляет в двух промышленных циклах не соответствующие одна другой, а разные фазы: он указывает, что рынок во время процветания дает место большему количеству товаров, чем во время предыдущего процветания, тогда как от кризиса и застоя народные массы стали беднее. Но пока они беднее, т.-е. в течение кризиса и застоя, спрос на рынке действительно меньше, чем при прошлом процветании; а когда уже развился новый подъем, „народные массы“ капиталистического общества вовсе не „беднее“, чем в такой же фазе предшествующего цикла; промышленность уже вновь успела втянуть большую часть безработной армии; капиталисты и остальная буржуазия тоже, в виду хороших прибылей, увеличивают свое погребление, которое они сократили во время кризиса и застоя. Критик не понял, что промышленный цикл и есть цикл обогащения и обеднения „на-

родных масс" капитализма в зависимости от хода производства. Для г. Туган-Барановского, если „народные массы“ обеднели в течение кризиса и застоя, то они и дальше остаются „обедневшими“. Между тем, по отношению к пролетариату самые эти понятия „бедности“ и „богатства“ теряют свой смысл: у рабочего нет ничего, кроме рабочей силы, и все его „богатство“ сводится к возможности применять ее в производстве.

Но, в чем главная ошибка г. Туган-Барановского, это в том, что он не понимает вообще того механизма, который ведет рынок от временного расстройства к новому процветанию, и потому г. Туган-Барановский придумывает такой механизм именно в виде фантастического производства машин и угля ради машин и угля. Действительность не нуждается в таких утопических методах, и путь ее несравненно проще. Чтобы понять его, надо иметь в виду следующее:

Во-первых, кризис не только стихийно возникает вследствие неорганизованности социальной системы, но еще более стихийно протекает, и в своих размерах идет дальше, чем до восстановления простого равновесия между основной — потребительной частью рынка и всеми остальными его областями. Волны кризиса, усиленные общим потрясением кредита, с особенной силой поражают те сферы производства, которые зависят в отношении спроса на их продукты от наибольшего числа других отраслей, т.-е. производство угля, железа, машин и других средств производства. Здесь крушение получается относительно наибольшее, как результат наибольшего числа ударов со всех сторон. В производстве средств потребления упадок относительно меньше,—но также неизбежно превосходит по размерам то непосредственное сужение потребительного спроса, в котором лежит начало кризиса, ибо непроданные большие запасы продуктов заставляют до минимума сократить текущее производство, а в иных предприятиях и совсем временно его приостановить. Кризис, таким образом, резко переворачивает все соотношение частей системы: потребительный спрос к моменту начала кризиса был недостаточен для предприятий, его удовлетворяющих, а спрос со стороны этих предприятий недостаточен для предприятий, доставляющих им орудия и материалы, и т. д., в известной уже нам цепной связи; теперь же, наоборот, как ни сужен потребительный спрос, но отрасли, его удовлетворяющие, сузили свою работу еще сильнее (пока не растают их запасы, разу-

меется), а отрасли, приготавляющие для них орудия и материалы— еще сравнительно сильнее и т. д.

Очевидно, что такое положение системы уже заключает в себе необходимые условия для начала нового поворота к подъему. Волна расширения должна возникнуть приблизительно тогда, когда в отраслях, имеющих дело с потребителями, залежавшиеся товары будут в наибольшей доле проданы, и явится необходимость усилить производство, чтобы удовлетворять дальнейший спрос; это обнаружится, конечно, в некотором повышении цен. Чтобы расширить работу, данные группы предприятий принуждены будут сделать заказы в тех отраслях, которые доставляют им материалы и орудия, так что и тут начинается некоторое оживление и т. д. Каждый этап этой возвратной волны, в свою очередь, порождает известное расширение потребительского рынка, а следовательно, и производную волну подъема: увеличивается число занятых рабочих, расширяется потребление у буржуазии; процесс идет таким образом дальше и дальше, сам себя непрерывно поддерживая и ускоряя, пока не приведет, наконец, через новое процветание к неизбежному новому крушению.

В стадии подъемного движения цепная связь рынка играет, как видим, совершенно такую же роль, как в стадии развивающегося крушения; только, разумеется, восстановительная работа выполняется гораздо медленнее, чем предыдущая разрушительная: всюду, в природе и в обществе, явления дезорганизации могут протекать с большей скоростью, чем соответственная творческая работа жизни.

Переход от кризиса к оживлению облегчается еще одной, экономически очень важной особенностью кризиса: он есть своеобразная проверка и переоценка капиталистических ценностей. Он разрушает менее жизнеспособные предприятия;—а те, которые более жизнеспособны, пережив кризис, получают больше простора для своего развития. Многие из них получают возможность усилить и укрепить себя приобретением за бесценок средств производства, принадлежавших предприятиям погибшим. Более того— ряд предприятий становится жизнеспособными благодаря той их „переоценке“, которую приносит кризис.

В самом деле, в эпохи процветания и связанного с ним „грюндерства“, усиленного созидания новых предприятий, немало из числа этих последних основывается при недостаточно благоприятных технических и финансовых условиях, с чрезмерными

затратами основного капитала, с большим обременением займами, по которым приходится платить проценты, превышающие доходность предприятия, и т. п.¹⁾). Кризис ликвидирует сразу хозяйства такого типа, не давая им тянуть свою жизнь при помощи дальнейших займов, искусственно маскирующих положение балансов, и других аналогичных методов. Предприятия переходят в новые руки, по дешевой цене, за счет разорения прежних владельцев и их кредиторов. Для новых хозяев вложенный капитал меньше, от обременяющих платежей они избавлены, и дело может оказаться вполне доходным, хотя весь его технический аппарат тот же²⁾). Та самая величина прибыли, которая в предыдущей фазе, до кризиса, заставляла бы предпринимателей жаловаться на плохие дела, теперь оценивается, напротив, как очень хорошая, и данное хозяйство рассматривается, как находящееся в „оживлении“; оно может дальше накоплять капитал и развиваться, к чему раньше было, разумеется, совершенно неспособно. Все это—только потому, что кризис указал и укрепил его истинную ценность в экономической системе.

Итак, ни общие причины кризисов перепроизводства, ни связь их со стадиями процветания не представляют никаких принципиальных загадок, раз понято строение мирового рынка, анархического в своем целом, организованного планомерно в своих элементах, объединенного переплетающейся цепной связью своих отраслей.

d) Периоды кризисов.

Предыдущий анализ объяснил нам необходимую цикличность колебаний производственной системы капитализма. Но он никоим образом не дает указаний на правильную перио-

¹⁾ Напр., авансированный капитал 1 миллион; из них 300.000 принадлежат основателям предприятия, 700.000 добыты путем кредита по 5%. Действительная доходность предприятия 35.000, т. е. 3½% на весь капитал. Но эти 35 тысяч уходят на проценты по долгам, а так как требуется еще погашение этих долгов, то предприятие для владельцев, несмотря на реальную доходность, дает убыток.

²⁾ Продолжим прежний пример. Предприятие ликвидировано и продано целиком за 350.000, которые пошли кредиторам. Первые предприниматели разорены, кредиторы получили 50 коп. за рубль. Зато новые хозяева, восстановив с небольшими затратами деятельность предприятия, получают при новом оживлении около 10% прибыли (доход около 35.000, вложенный капитал 350.000).

дичность кризисов, на сколько-нибудь постоянную продолжительность промышленного цикла. Здесь легко установить только ряд влияний, способных вызывать удлинение этого цикла, и ряд других влияний, направленных к его сокращению. Те и другие при развитии капитализма действуют одновременно.

Главное замедляющее условие тут, несомненно, возрастание самой системы, ее обширности и сложности: объединение различных капиталистических стран, именно путем обмена и кредита,— открытие новых внешних рынков,—развитие колоний в капиталистическом направлении, увеличивающее богатство этих стран и, значит, емкость их рынков. Очевидно, что для расшатывания гигантски выросшего механизма надо больше времени, его стихийное сопротивление внутренним противоречиям сильнее. При нынешнем интернациональном капитализме уже возникший кризис требует несколько лет, чтобы обойти все страны. Соответственно должны удлиняться и другие части промышленного цикла.

В ту же сторону действует то усложнение производственного аппарата, которое зависит от прогресса в разделении труда между предприятиями, от их специализации на отдельных стадиях производства тех или иных товаров. Длиннее становится цепь связей производственного аппарата от предприятий, работающих прямо на потребителя, до предприятий, приготовляющих основные средства труда; продолжительнее ход волн рынка, распространяющихся по линии этих связей.

Развитая система кредита оказывает замедляющее влияние на некоторые части промышленного цикла. Крушение наступает не так быстро, благодаря поддержке, которую в течение известного времени находят со стороны кредита предприятия, уже на деле не имеющие достаточного сбыта. Но самый путь к перепроизводству может даже ускоряться действием этой могучей экономической силы, собирающей разрозненные частицы капитала, чтобы в экономически-сильных предприятиях они служили дальнейшему расширению производства. Есть основания думать, что второе, ускоряющее влияние кредита, вообще говоря, более значительно. Однако нельзя с уверенностью утверждать, чтобы он всегда влиял в сторону сокращения цикла.

Наиболее сильное действие в смысле уменьшения периода кризисов должен оказывать прогресс техники сообщений и сношений. Быстрый транспорт людей и товаров, усовершенствован-

ная почта телеграфы, телефоны, а также развитие прессы с ее объявлениями и т. п., чрезвычайно ускоряют капиталистическое обращение: с одной стороны, гораздо меньше тратится времени на отыскание сбыта, с другой—на доставку продуктов к их рынку. Соответственно сокращаются, очевидно, и все фазы цикла.

В этом же направлении должна влиять интеграция предприятий¹⁾, которая другим способом уменьшает продолжительность обращения: благодаря ей, короче становится цепь связей экономического механизма, потому что несколько звеньев сливаются в одно.

Итак, во всяком случае, существует несколько различных моментов, от которых зависит длительность промышленного цикла, и величина которых изменяется в ходе капиталистического развития. Не противоречит ли этому отмеченный экономистами прошлого века факт правильной периодичности кризисов? Не указывает ли она на какой-то основной, упущеный нами момент, который остается приблизительно постоянным, и по сравнению с которым прочие ничтожны? Едва ли это так.

В действительности, равномерная периодичность наблюдалась только для трех циклов, по 10—11 лет, между 1825—1857 годами. Дальше, если брать общие мировые кризисы, о которых только и должна тут идти речь, выступают новые цифры—16 и 27 лет. И можно думать, что приблизительное равенство упомянутых трех периодов в XIX веке само—случайный исторический результат временного равновесия замедляющих и ускоряющих влияний в течение второго и третьего из них. Легко убедиться, насколько это вероятно.

Первый период—между половиной 20-х и половиной 30-х годов—специальному объяснению не подлежит: само собой понятно, что если крушение бывает следствием накапливающихся противоречий анархичного аппарата, то процесс этот требует при данных условиях какого-нибудь определенного промежутка времени, который здесь фактически и оказался около 11 лет.

Второй период—примерно от 1836 до 1847 года—был эпохой значительного расширения тогдашнего капиталистического мира:

¹⁾ Интеграцией, или комбинированием, называется соединение дополняющих друг друга, раньше специализированных предприятий, напр.—прядильного, ткацкого и ситцепечатного дела, или железо-плавильного с железо-делательным и машино-строительным и т. п.

быстрого развития капитализма в Соед. Штатах, явившихся новым огромным полем для мирового капитала, а также усиленного использования английским и отчасти французским промышленным капитализмом ближайших „внешних рынков“; таковыми являлись более отсталые страны Европы, готовившиеся вступить, в свою очередь, на путь капиталистической жизни, особенно Германия, Австрия. Это возрастание размеров мировой системы движения капитала само по себе должно было бы, как мы видели, увеличить в заметной степени продолжительность цикла. Но в то же время происходило другое важное явление: впервые созданы были железнодорожные сети, пароходство распространялось широко на реках и на море, телеграф был проведен в массе местностей и т. п.: стремительный прогресс путей транспорта и сношений, который должен был сильно ускорить стихийное движение капитала.—Роль других влияний вряд ли была тогда сколько-нибудь велика; а эти два, действуя в противоположные стороны, могли в достаточной мере уравновесить друг друга, чтобы изменение цикла не превзошло в общем нескольких месяцев—величины, математически говоря, все же далеко не ничтожной по сравнению с 10-годичным периодом.

Третий цикл, от 1847 до 1857 года, характеризовался также одновременно и значительным расширением мирового капиталистического механизма—выступление Германии, отчасти Австрии на путь промышленного капитализма, захват множества новых колониальных рынков,—и развитием способов транспорта и сношений: масса новых железных дорог, телеграфов и т. п., а также техническое их усовершенствование. Вряд ли, однако, на этот раз первое влияние было бы достаточно уравновешено вторым, которое все же было относительно слабее, чем в предыдущем периоде; но путь к перепроизводству был, сверх того, ускорен открытием новых источников золота, особенно в Калифорнии; огромные количества золота, проникшие оттуда в систему обращения, придали, как всегда, более быстрый, лихорадочный темп движению мирового капитала. В общем, оказалось опять достаточно десяти лет на весь пробег от кризиса до кризиса.

В дальнейшем равновесие замедляющих и ускоряющих моментов нарушается. В методах сообщения и сношений больших переворотов уже не происходит, а капиталистический мир продолжает разрастаться так же быстро или еще быстрее, чем прежде: одна за другой вступают на широкую дорогу капитала

лизма новые страны; колониальные захваты почти не оставляют свободного уголка на поверхности земли. Дифференциация производства между предприятиями в эту эпоху еще усиливается, усложняя систему и удлиняя цепные связи рынка; интеграция лишь позже начинает играть крупную роль. Следующий период достигает уже 16 лет: 1857—1873 г.г.

Существует, впрочем, и иной взгляд относительно этого. Полагают, что период, собственно, не изменился, но что обычный мировой кризис перепроизводства был замещен двумя частными кризисами—английским кризисом хлопчато-бумажной промышленности, который был вызван войной в Соед. Штатах, прекратившей подвоз хлопка в Англию, и американским финансовым кризисом 1868 года, возникшим на основе биржевых спекуляций.

Но как ни были значительны и остры эти^{*} частные кризисы, стоит их сопоставить с гигантским потрясением 1873 и последующих годов, опустошившим одну страну за другую, чтобы видеть, насколько несоизмеримы эти явления, насколько искусственны попытки представить их, как более или менее эквивалентные. Тут оказывается предвзятая мысль теоретиков, которые хотели во что бы то ни стало подогнать факты под схему десятилетней периодичности—обобщения трех фактов. При этом схема все равно не выдерживалась: между 1857 и 1873 годами оказалось два периода, около 8 лет каждый—разница на 2 года (точнее даже—на $2\frac{1}{2}$ года) с предыдущими циклами.

В наибольшем кажущемся противоречии с нашей точкой зрения стоит странный 7-летний промежуток между последними кризисами—1900 и 1907 года. Допустить скачок от 27-летнего до 7-летнего периода, при неизменности тенденций мирового капитализма, при гигантской массивности его аппарата—слишком трудно без насилия над теорией. Но если присмотреться ближе к обоим кризисам, то само собой выступает простое объяснение.

Кризис 1900 г., можно сказать, миновал Америку; напротив, кризис 1907 г. имел Америку своим центром и исходным пунктом, в Англию же и Германию проник путем отражения. Каждый из них по глубине и длительности уступает кризису 1873 года. Между прочим, и этот последний в Англии и Америке разразился, как промышленный кризис, лишь через несколько лет после своего начала. Америка же в частности, благодаря своему географическому положению, с одной стороны, а также благодаря своей проекционной политике, с другой—до

сих пор представляет весьма самостоятельную область мирового капитализма. Это объясняет, почему в 1900—1901 г.г. она могла избежнуть общего потрясения; к тому же именно начало 1900 годов было для нее эпохой быстрого захвата и использования новых рынков, отнятых у Испании. Таким образом, для Америки развязка отдалась на несколько лет, и кризис 1900 г. не достиг полного мирового масштаба. Тут обнаружилось временное „двоецентрие“ капитализма. Когда перепроизводство наступило в Америке—Европа уже успела оправиться; кризис перекинулся и туда, но также не мог достигнуть глубины настоящего мирового кризиса. Словом, перед нами два, разделенных 7-ю годами, завершения одного поступательного процесса, две половины великого кризиса, соответствующего кризису 1873—1878 годов.

Конечно, указанное двоецентрие может лишь временно спутать картину общего развития. Ни географическая обособленность, ни протекционизм, ни завоевание новых рынков Соед. Штатами не смогут в будущем настолько ослабить возрастающую связь и единство мирового цикла, как они это сделали своей исключительной комбинацией в данном случае. И в ходе военного мирового кризиса 1914 и следующих годов двоецентрие хотя еще отчасти сказалось более поздним вступлением Америки в войну,— но сказалось уже гораздо слабее.

За двойным кризисом 1900 и 1907 г.г. можно было ожидать нового, впрочем, едва ли особенно крупного сокращения продолжительности промышленного цикла; но военный мировой кризис нарушил намечавшийся ход процесса. После вступления на путь капитализма таких стран как, Турция, Ост-Индия, Китай, расширение капиталистического мира по необходимости идет медленнее: новых стран, столь огромных и населенных, которые могли бы в кратчайший срок увеличить его собою, уже не остается. Между тем, в методах сообщений и сношений начинается новая полоса стремительного прогресса: воздушные сообщения и беспроволочный телеграф находятся еще в начале своего развития. Кроме того, с накоплением колоссальных капиталов, образованием трестов и особенно финансовых концернов усиливается все более интеграция предприятий, перевешивая противоположную ей тенденцию. Таким образом, влияния, ускоряющие движение промышленности по циклу процветания-кризиса, повидимому, получили перевес. И по общему ходу вещей в 1914 году предчувствовалась уже возможность перелома конъюнктуры,

намечались уже признаки его приближения. Между прочим, это, вероятно, учитывалось теми высшими кругами финансового капитала Германии, Англии, Франции, которые толкали свои правительства к войне: война, помимо других возможных выгод, должна была устраниТЬ ближайшую опасность перепроизводства. Таким образом, если бы финансовый капитализм не выдвинул своей специфической формы кризиса, военной, то кризис „мирный“ разразился бы в Европе около 1915 года, и несколько позже в Америке: период был бы опять около 15 лет.—Но, разумеется, и замена „мирного“ кризиса—мировая война—была явлением в своем роде не менее закономерным, лишь характерным для другой фазы капитализма, как мы выясним в дальнейшем. Изложенная нами точка зрения ближе всего сходится с мнением, которое высказал Энгельс в одном из примечаний к III тому „Капитала“¹⁾. Он склонялся к мысли, что периоды кризисов вообще имеют тенденцию удлиняться с развитием капитализма; при этом, несколько искусственно, допускал для раннего периода формирования мирового рынка, цикл пятилетний, затем, для более позднего (1847—1867 г.г.) десятилетний, и считал возможным, что дальние циклы стали много длительнее; в связи с этим он выразил еще в 1894 г. предчувствие нового острого кризиса, тогда как огромное большинство экономистов (и Каутский в том числе) полагали, что время острых кризисов уже прошло, что они сменились хронической депрессией. Энгельс имел в виду только главный замедляющий момент—рост, расширение мировой системы капитализма, не выделяя различных моментов, влияющих в ту и другую сторону.

У Маркса во II томе „Капитала“ намечена еще иная концепция периодичности,—правда, формулированная с большой осторожностью и сдержанностью, даже с необычной для него нерешительностью выражений. Это—мысль о связи промышленных циклов с типическим периодом оборота основного капитала в главных отраслях индустрии.

Элементы основного капитала (станки, паровые машины и т. п.) снашивается постепенно, сохраняя в производстве свою форму и функцию; предприниматель при каждой продаже товара откладывает сумму, соответствующую этому снашиванию, кладет ее, обычно,

¹⁾ Часть вторая III тома, стр. 27—28 (перевод Базарова и Степанова изд. 1923 г.).

в банк, и таким образом накапляет средства для того, чтобы заменять во-время те элементы основного капитала, которые отказываются служить, или которые износились „морально“, т.-е. технически устарели и становятся недостаточно прибыльны. Маркс принимал, что обновление основного капитала главных отраслей в широком масштабе происходит приблизительно в одной фазе цикла, именно вслед за самым кризисом. Это дает спросу толчок, и притом с преувеличенным размахом, потому что сразу пускаются в ход для заказа и покупки новых технических элементов суммы, накопленные в целом ряде лет,—а волны расширения должны оказаться во много раз больше величины этого временного спроса; и начальное внутреннее несоответствие, оставаясь скрытым, развивается дальше и дальше, пока не прорвется в новом кризисе, за которым дело пойдет дальше в таком же самом порядке. Периодичность обновления основного капитала главных отраслей оказывается материальною базою периодичности кризисов.

Сомнительность основной предпосылки сказывается у Маркса в ряде оговорок, которыми он обставляет свой вывод:

„Хотя периоды, когда вкладывается капитал, весьма различны и далеко не совпадают друг с другом, тем не менее кризис всегда является исходным пунктом для крупных новых вложений капитала; следовательно, рассматривая дело с точки зрения всего общества, он в большей или меньшей степени дает материальную основу для следующего цикла оборотов“¹⁾). И перед этим: „Можно думать, что в решающих отраслях промышленности этот цикл жизни составляет теперь средним числом десять лет. Однако дело здесь не в определенном числе...“ и т. д.

Едва ли действительная связь двух моментов правильно выражена в этих предположениях. Верно, разумеется, что кризис толкает к техническим улучшениям, к обновлению „морально“ изношенных орудий; а в фазе процветания стимулы этого рода слабеют. Но отсюда следует, что цикл такого „морального“ обновления еще не изношенных материально элементов определяется циклом кризисов, а не наоборот, и для определенной, напр., десятилетней периодичности кризисов объяснения не получается. Что же касается реального изнашивания элементов основного капитала, то периоды его очень разнообразны не только по отрас-

¹⁾ „Капитал“, т. II, стр. 163 (Базаров и Степанов, 1923; разрядка моя А. Б.).

лям, но даже в отдельном предприятии; связанное с ним обновление раскладывается, конечно, по всем фазам промышленного цикла; и теоретически следует ожидать, что это обновление, а особенно расширение основного капитала без изменения техники должно тяготеть больше к фазам высокой конъюнктуры, когда успешнее накапливается капитал, и легче получается кредит.

Так или иначе, во всяком случае теперь нельзя решать вопроса о периоде кризисов, исходя из старого представления о постоянной продолжительности цикла: факты опровергают это представление. Абстрактный же анализ позволяет установить ускоряющие и замедляющие моменты, которые затем надо исторически сопоставить на основе наблюдений.

е) Вопрос о преодолении кризисов.

Кризисы являются мучительной болезнью для экономического организма. Спрашивается, может ли он, наконец, справиться с этой болезнью своими внутренними силами, есть ли в нем условия для успешной борьбы с нею, хотя бы в будущем.

Причиною кризисов мы признали основную неорганизованность нынешнего экономического строя. Преодолеть их он может, следовательно, лишь в том случае, если в нем развиваются достаточно сильные и глубокие элементы организованности. И так как мы имеем в виду систему капиталистическую, то дело идет, очевидно, о результатах организации капитала в борьбе с кризисами.

Только три из известных нам форм организации капитала могут казаться сколько-нибудь соизмеримыми с этой задачей: биржа, как центральный осведомительный аппарат системы; синдикаты и особенно их высший тип—тресты, как форма прямой планомерной организации целых отраслей промышленности, и финансовый капитал, как метод самого широкого регулирования гигантских группировок, выходящих иногда за пределы целых отраслей.

Что касается биржи, то мы знаем, что, по крайней мере, одна ее сторона—ее борьба, ее спекулятивная игра, ажиотаж—только усиливает неустойчивость социального механизма и обостряет явления кризисов. Что может дать, наряду с этим, но в противоположную сторону ее осведомительная деятельность?

Механизм срочных покупок, на первый взгляд, является серьезным орудием организации рынка. Каждый капиталист может

видеть и подсчитать, на какие рынки, в какие сроки и в каком количестве намечается доставка интересующих его товаров; предыдущий опыт, накопленный биржею, дает ему в то же время довольно ясное представление о вместимости этих рынков. На рынки, близкие к переполнению, он поэтому не станет отправлять своих товаров, и будет искать рынков более свободных. Но что этим достигается?

Более равномерное распределение продуктов между отдельными частями мирового рынка,—но и только. А общие кризисы происходят вовсе не от неравномерности в этом отношении,—она порождает только частные потрясения. Всеобщее производство здесь не затрагивается,—разве только создаются условия для более строгой одновременности в его проявлениях.

Но может показаться, что осведомление о предстоящем заполнении рынков заставит капиталистов остановиться в расширении своего производства? Ни в каком случае,—это противоречило бы их непосредственным интересам. В их борьбе, в их взаимной конкуренции побеждает тот, кто может бросить на рынок свой товар по более дешевой цене, чем другие. Но для этого он должен совершенствовать технику и расширять предприятие. Если он сократит размеры своего дела, то ничего не изменит в общем ходе вещей, а только окажется в худших условиях накопления и конкуренции. Если рынки становятся тесны—тем энергичнее надо действовать, чтобы свалить на других тяжесть положения, а самому выплыть на их счет. Таковы по необходимости расчеты каждого, и все вместе работают тем усерднее для будущего кризиса.—Очевидно, что биржа своей централизацией сведений о рынке организовать его против кризисов совершенно неспособна.

Гораздо серьезнее представляется роль в этом отношении предпринимательских синдикатов, и специально—трестов. Когда они реально овладевают своей отраслью промышленности, то они действительно в состоянии регулировать ее рынок, и делают это: сокращают и расширяют, сообразуясь с его условиями, размеры производства, изменяют цены и т. п. Тут наибольшая осведомленность соединена с огромной реальной силой.

Но—мы знаем, мировые кризисы имеют свою основу вовсе не в той или иной отдельной отрасли производства, а в его целом. Значит, во всяком случае, пока в тресты организована только часть капиталистического мира—и, напр., в наше время еще не особенно большая—они в общей закономерности промышленного

цикла ничего изменить не могут; они только сами легче переносят кризисы, чем индивидуальные предприятия. К тому же и тресты, непосредственно регулируя свой специальный рынок путем, напр., сокращения производства, не могут учесть косвенных и отраженных последствий своей тактики—тех рыночных волн, которые возникают при этом благодаря цепной связи отраслей производства, и вновь достигают собственного рынка тех же трестов. Трест сокращает работу своих предприятий и удаляет многие тысячи рабочих, чтобы уменьшить опасность кризиса для своей отрасли; но тем самым, суживая потребительский рынок, он, быть может, дает сильный толчок в направлении к общему кризису.

Можно, однако, представить себе развитие трестов зашедшим так далеко, что они охватят всю промышленность, все области труда и рынка, не оставляя уже места индивидуальным предприятиям. Такая картина, при нынешнем темпе борьбы классов, разумеется, очень мало вероятна: рабочее движение шире движения к трестам и растет быстрее, так что раньше должно создать общую организацию для преобразования экономической системы, чем тресты успеют охватить эту систему целиком. Тем не менее нам, для ясного понимания роли трестов по отношению к мировым кризисам, стоит рассмотреть и такой предельный случай: способен ли преодолеть кризисы универсальный капиталистический механизм в новой его форме—в виде нескольких десятков трестов, объединяющих все прежние частные предприятия, по отраслям?

Общей планомерной организации производства при этом все-таки еще нет, а значит, нет и общей организации предпринимательских интересов. Цепная связь рынка остается: каждый трест является покупателем по отношению к трестам, производящим для него средства производства, продавцом—по отношению к другим трестам, а некоторые из них—те, которые приготовляют специально средства потребления,—также и по отношению к „публике“, т.-е. рабочим и капиталистам, как потребителям. Следовательно, остается, во-первых, отношение между одной частью рынка—основной—и другими, зависящими от нее; во-вторых, благодаря этому, стихийное распространение волн рынка, только чрезвычайно ускоренное тем, что разные отрасли прямо и непосредственно связаны между собою, каждая взята в своем целом, а не мелкими частями; наконец, в-третьих, между ними в этой

их связи сохраняется борьба за цены, какая всегда бывает между контрагентами в покупке-продаже. Легко убедиться, что при этих условиях система трестов не только была бы неспособна избавиться от общих кризисов, но что, напротив, их стихийная неизбежность и опустошительная сила должны возрасти.

В самом деле, заинтересован ли каждый трест в расширении своего производства и в улучшении техники? Конечно, да,—ради непосредственного увеличения прибыли, с одной стороны, ради большей дешевизны продукта, увеличивающей спрос на него,—с другой. Расширяя производство, пока спрос оказывается на-лицо, данное мировое предприятие тем самым порождает волны расширения мирового рынка в целом, потому что, увеличивая число рабочих и прибыль акционеров, увеличивает спрос на потребительском рынке, а также само покупает больше, чем прежде, орудий и материалов у других трестов, толкая их непосредственно на тот же путь возрастания производства, при чем и здесь повышение суммы заработной платы и прибыли порождает новые волны рынка аналогичного характера. Ни один из трестов не откажется использовать благоприятную конъюнктуру, хотя бы и предвидел грозные последствия в дальнейшем: враждебно противостоя другим таким же предприятиям, он не станет жертвовать своими интересами в настоящем ради общих интересов в будущем: это значило бы ослабить себя перед своими противниками, с которыми ведется, хотя не конкуренция, но, тем более жестокая борьба за цены необходимых материалов и орудий, а также за цену производимого товара, если он, в свою очередь, служит для этих других средством производства. Следовательно, рост производства идет до тех пор, пока не обнаружится недостаточность потребительского рынка, совершенно так же, как и при нынешней, разрозненной организации.

Конечно, эта недостаточность была бы здесь подмечена легче и быстрее, при чем вызовет сразу энергичные меры для „регулирования“ рынка. В чем эти меры будут состоять? Конечно, в быстром сужении производства всех трестов. Но это сразу же и должно обусловить очень большое сокращение потребительского рынка по сравнению с предыдущим моментом. Напр., ввиду достигнутого предела емкости рынка, уменьшают размеры ведения дела на четвертую часть, и, значит, оставляют без заработка четвертую часть рабочих, которые и перестают предъявлять спрос на предметы потребления: таким образом, маленькая недо-

статочность потребительного, а в силу цепной связи, и всего мирового рынка превращается в огромную, порождая необходимость нового сужения производства, и т. д. Резкое падение прибыли уменьшает не в меньшей степени спрос на предметы роскоши,—отсюда еще новые волны кризиса. Очевидно, это та же картина, которая наблюдается и теперь,—но там она выступала бы, так сказать, в более систематизированном виде, в более резких очертаниях, в более острых проявлениях,—в таком быстром темпе, какой невозможен при нынешней, более дробной и менее стройной, но в силу этого менее подвижной организации.

Надо принять в расчет еще одно могущественное влияние, специально свойственное такой предполагаемой мировой системе трестов, влияние, обостряющее стихийность рыночной борьбы между ними, а, значит, и силу кризисов. Это—монопольная позиция каждого треста по отношению ко всякому другому тресту, которому он продает свой товар, или у которого он покупает средства производства. Борьба между монополистами более жестока и напряжена, чем борьба между конкурентами, потому что имеет своей целью не только непосредственную прибыль, но также—экономическую власть.

В самом деле, представим себе взаимные отношения, напр., между трестом производителей хлопка и трестом прядильных и ткацких фабрик. Производители хлопка почти не имеют иных покупателей, кроме треста текстильщиков; а когда у продавца всего один возможный покупатель на весь его товар, то может показаться, что покупатель тогда диктует цены. Но и организации текстильщиков не у кого покупать необходимый материал труда, хлопок, иначе, как у того же единственного продавца; отказавши в своем товаре, хлопковый трест прекращает производство прядильного. Условия таковы, что каждый из двух окажется всецело во власти другого, если будет хоть немного экономически его слабее, если другой способен хоть немного дольше него продержаться в случае разрыва обычной меновой связи. Всякое столкновение из-за цен должно обостряться, потому что уступка одной стороны изменяет соотношение сил в пользу другой, облегчая в дальнейшем ее новые победы, чрезвычайно увеличивая вероятность полного поражения и подчинения уступивших. Пусть организация хлопковых плантаторов значительно повышает цены на хлопок, тогда как цены тканей доведены уже до возможного максимума, дальше которого начнется убыточное

для ткацкого треста сокращение спроса. Если текстильщики принимают повышение цены хлопка, то должны соответственно повысить цену тканей, что означает сокращение спроса, или же, не повышая ее, терпеть убытки; в том и другом случае трест слабеет, накопление либо замедляется, либо даже прекращается, и последующая борьба тем скорее может быть гибельна для него. Если ткацкая группа отказывается принять новую расценку пряжи, то она должна вступить в борьбу с трестом плантаторов. Борьба имеет форму как бы стачки двух мировых организаций друг против друга и, конечно, превращается в страшный экономический кризис для всего общества.

Общество, состоящее целиком из трестов, есть, как мы сказали, несомненная фикция. Но капитализм нашел иную, более широкую, хотя и гораздо менее тесную форму объединения—финансовый капитал, срастание капитала промышленного и кредитного в рамках, отнюдь не ограниченных отдельными отраслями производства. Под регулирующей властью финансового капитала уже к 1914 году была на деле собрана, в виде гигантских концернов с их бесчисленными, часто невидимыми, разветвлениями, наибольшая часть капиталистического мира. Чтобы выяснить, способна ли эта организационная форма устранить кризисы, нет надобности прибегать к абстрактным построениям и фикциям,—ответ имеется, данный самой жизнью: это мировая война. Она есть невиданный по масштабу и по остроте проявлений экономический в своей основе, хотя и протекающий не только в экономических формах, кризис капитализма.

Можно считать вполне выясненным и установленным, что эта война возникла из непрерывно обострявшейся борьбы монопольных финансово-капиталистических группировок за мировой рынок, как мирные промышленные кризисы возникали из борьбы частных предприятий на том же мировом рынке, лишь в условиях относительно свободной конкуренции. Форма нового кризиса была обусловлена тем, что экономические методы борьбы оказались недостаточными для гигантских монопольных организаций, и тем, что экономическая их сила позволила им захватить фактическое руководство государственными аппаратами капиталистических стран, дала возможность распоряжаться всеми их ресурсами.

Но все же эта форма кризиса настолько своеобразна, что нам придется в дальнейшем исследовать ее отдельно, в связи с породившими ее организационными условиями финансового капитала.

f) Главнейшие теории рынков и кризисов.

Изложенная нами теория рынков и кризисов представляет развитие той точки зрения, которая была намечена, во многом бегло и неполно, в работах Маркса. Исходный пункт этой теории—система производства в ее целом и в ее движении, при чем принимается, что рынок и распределение выражают и оформливают связи производства.—До сих пор, однако, существуют и пользуются известным влиянием иные взгляды, ищащие объяснения тех же экономических фактов на более узком поле: для одних основою рыночных колебаний и кризисов является область распределения, для других—область производства, но взятая не в движении целого, а в статическом соотношении частей.—Первая точка зрения свойственна, главным образом, утопическим критикам капитализма, таким, как Сисмонди, Родбертус, наши народники; вторая заключает в себе скрытую апологию капитализма, ее главный представитель — Туган-Барановский. Наша концепция дает возможность легко выяснить недостатки и противоречия теорий того и другого типа.

Сисмонди, выдающийся идеолог мелкой буржуазии, гибнущей на поле неравной борьбы с техническими и экономическими силами крупного капитала, объяснял периодическую недостаточность рынка и общие кризисы упадком покупательной силы народных масс. По его мнению, капитализм, и особенно машинная индустрия, разоряя самостоятельных мелких производителей и заменяя рабочих машинами, тем самым подрывает свой главный рынок и, стремительно увеличивая сумму производимых товаров, неизбежно приводится к такому положению, что эти товары некому продать. Несмотря на свою экономически-реакционную тенденцию, эти воззрения довольно верно передают внешнюю сторону объясняемых фактов, особенно для той сравнительно ранней эпохи машинного капитализма, которую мог наблюдать Сисмонди.

У Родбертуса в теории кризисов главную роль играет идея возрастающей неравномерности распределения между капиталистическими классами, порождаемой самим развитием техники при капитализме: именно, доля рабочего класса, важнейшего массового потребителя, по мнению Родбертуса, постоянно должна относительно уменьшаться. Заработную плату он, согласно Ри-

кардо, определяет минимальной стоимостью необходимых жизненных средств—учение, которое пропагандировал впоследствии Лассаль под именем „железного закона заработной платы“. Но Родбертус решительно расходится с Рикардо в вопросе о техническом развитии сельского хозяйства, дающего главную часть предметов потребления рабочего класса. Рикардо полагал, что производительность труда в этой области должна постепенно падать, вследствие исчерпывания земельных запасов и перехода к менее плодородным участкам; в таком случае стоимость необходимейших предметов потребления, а значит, и стоимость рабочей силы должна относительно возрастать, и заработка плата, не увеличиваясь реально, должна поглощать, тем не менее, в денежной-меновой форме все большую долю общественного дохода, равно как и аграрная рента; прибыль же капиталистов обречена на последовательное уменьшение. Родбертус, напротив, опираясь на агрономический опыт, утверждал, что производительность сельско-хозяйственного труда непрерывно возрастает, хотя и не так быстро, как в обрабатывающей промышленности; а значит, соответственно уменьшается цена рабочей силы, и заработка плата образует все меньшую долю всего общественного дохода. В системе обмена между тремя главными классами равновесие, таким образом, нарушается, недостаточность покупательной силы рабочего класса прогрессивно затрудняет реализацию стоимости товаров; в этом—основная причина кризисов.

Нам нет надобности останавливаться на специальных ошибках теорий Сисмонди и Родбертуса; достаточно указать на две главные: с одной стороны, обеднение народных масс, принимаемое первой из них,—далеко не постоянное и не всеобщее при капитализме явление; и растущий промышленный пролетариат может достигать не меньшей, а даже большей покупательной силы, чем та мелкая буржуазия, на месте которой он образовался;—с другой стороны, „железный закон заработной платы“, лежащий в основе второй теории, объективно опровергается в ходе капиталистического развития: стоимость рабочей силы определяется не минимальным, а нормальным уровнем жизненных потребностей рабочего, и этот уровень повышается по мере прогресса техники и классовой борьбы, так что относительное понижение доли рабочего класса в общественном доходе отнюдь нельзя признать неизбежным. Но, помимо таких ошибок, имеется одна основная, общая не только двум данным доктринаам, а

вообще всякой, которая станет объяснения кризисов искать в области социального распределения,—это непонимание того, что система распределения имеет производный и подчиненный характер по отношению к системе производства, и к ней приспособляется, так что не может самостоятельно определять ее колебаний.

В самом деле, факты показывают, что общие размеры производства возрастают быстрее, чем покупательная сила масс; а почему это возможно и до какого предела, выяснить на основе теорий, исходящих из распределения, никаким способом нельзя. Затем, они оставляют совершенно загадочным и даже непостижимым то обстоятельство, что кризисы сменяются эпохами расцвета, каждый раз более широкого и грандиозного. Тут вполне уместно неверное по отношению к теории Маркса возражение Туган-Барановского. Если в кризисах обнаруживается простая недостаточность покупательной силы масс, и если сами кризисы отнюдь эту силу повышать не способны, а, наоборот, очевидно, должны непосредственно ее понижать еще более, то каким же способом отсюда получится новый расцвет? Казалось бы, о нем не должно быть и речи—упадок производства должен явиться окончательным и устойчивым.

Итак, теории данного типа вообще не могут объяснить промышленного цикла. В основе их лежат действительные, важные факты: непосредственно, кризис вызывается, в самом деле, недостатком покупательной силы на рынке, и если итти глубже, именно покупательной силы народных масс. Однако исследование здесь пошло лишь немногим далее простого описания фактов, немногим далее простой картины кризисов. Для объяснения надо большее: надо наблюдаемые факты не только описать более или менее точно, но установить еще их связь с другой областью, имеющей более основное значение,—от явлений рынка перейти к процессам производства, там найти объективные причины, т.-е. движущие силы этих явлений.

Может показаться, что именно на этой почве стоит всего решительнее теория рынков и теория кризисов г. Туган-Барановского. Для него распределение совершенно стушевывается перед производством, и может даже не приниматься в расчет при исследовании рынков и кризисов. Ни о какой неизбежной недостаточности рынка при растущем капитализме, по его мнению, не должно быть и речи: капитализм имеет способность не-

ограниченно создавать для себя рынок, и притом совершенно независимо от размеров непосредственного потребления: машины могут обмениваться из угля, а уголь на машины и т. д., без конца, хотя бы непосредственное человеческое потребление беспредельно сокращалось. Поэтому никакой внутренней необходимости кризисов капиталистическое развитие в себе не заключает; оно вполне мыслимо без них. И можно составить схемы для какого угодно расширения производства при каком угодно сужении потребительского рынка, такие схемы, что если бы развитие происходило согласно указанным в них пропорциям, никаких кризисов не было бы. Если же кризисы на практике происходят, то исключительно потому, что необходимые пропорции между отраслями производства при их расширении не соблюдаются; только из этого нарушения пропорциональности и возникают общие потрясения экономической системы,—разумеется, всегда лишь преходящие; их ценою нарушенные пропорции восстанавливаются, и открывается путь к новому процветанию. Ясно, что всякое усиление организации капиталов—в возрастание полноты и точности биржевого осведомления, синдикаты, тресты, финансовые концерны—уменьшает шансы кризисов, и нет ничего невозможного, что капитализм окончательно справится с ними, или, по крайней мере, сведет их к неопасному минимуму. Предполагать же возможность крушения самого капитализма путем прогрессивного усиления кризисов тогда совершенно не приходится.

Эта, столь утешительная для капитализма, точка зрения действует, однако, с первого взгляда, непонятной отчаянную борьбу капиталистических стран за внешние рынки. По мнению Туган-Барановского, никакой трудности здесь нет. Если страна ввозит товары из-за границы, то она должна и вывозить их для оплаты своего ввоза. „Для Англии,—говорит этот автор,—внешний рынок потому так важен, что ее внутренний рынок в значительной части заполнен иностранными товарами. Одним словом, вывоз объясняется ввозом, и этого вполне достаточно...“

Такое объяснение трудно назвать иначе, как легкомысленным. Не говоря о том, что сам по себе ввоз ничуть не более понятен, чем вывоз, легко установить, что исторически, в развитии общественного разделения труда между странами, именно вывоз давал той же Англии стимулы к развитию ввоза, а не наоборот: благодаря прибыльности индустрии, работавшей на вывоз, отступали и забрасывались важные отрасли сельского хозяйства, и ввоз

их продуктов становился необходим для страны, равно как и ввоз разных сырых материалов для той же индустрии. Туган-Барановскому приходится вывоз из Англии бумажных тканей объяснять тем, что в нее ввозится много хлопка. Ясно, какую ценность имеют подобные теории.

Это—один из частных выводов теории рынков и кризисов Туган-Барановского. Что касается ее основной и коренной ошибки, то мы ее выяснили при анализе строения рынка; она сводится к тому, что техническая связь производства ускользнула от автора теории, скрывшись за денежным фетишизмом; и так как все машины с точки зрения их цены между собою однородны, представляют ту или иную сумму денег, то Туган-Барановскому и кажется, что все они одинаково могут служить для одной и той же технической цели—производства новых машин. Для индивидуального капиталиста это так и есть: он может продать ткацкий станок и на вырученные деньги купить или построить другую машину; но в системе общественного хозяйства ткацкий станок не может заменить, напр., токарного.

Таким образом, заимствованная Туган-Барановским у Маркса мысль о непропорциональности в развитии разных частей рынка, как причине кризисов, получила у него совершенно извращенный характер: реальные технические пропорции отдельных звеньев производственного аппарата были подменены идеальными бухгалтерскими пропорциями денежной оценки частей капитала, и противоречие, скрытое в тенденции капитализма к безграничному развитию производства при его неорганизованности в целом, было окончательно замаскировано.

Старые, выдвинутые утопистами, теории кризисов тяготели к моральной критике капитализма, как развивающего производство в ущерб народному благосостоянию. Может показаться, что такова же тенденция взглядов Туган-Барановского, и сам он усиленно подчеркивает моральную противоречивость капитализма, освобождающего личность от разных старых цепей, но в то же время абсолютно равнодушного к ее судьбе, заменяющего ее в производстве машинами и создающего машины ради машин, уголь ради угля. Но эти вне-экономические соображения никако не изменяют того, что по своей экономической сущности теория Туган-Барановского, как мы раньше указывали, есть чистейшая апология капитализма.

Объективный смысл ее заключается в доказательстве экономического совершенства капитализма, его способности неограниченно поддерживать себя, как самодовлеющую экономическую систему. В его организации отрицается существование коренного объективного противоречия,—и тем самым утверждается, что объективный ход вещей вовсе не ведет к его крушению. Признается противоречие моральное, и допускается, что оно рано или поздно должно подорвать капитализм; но очевидно, что раз оно не имеет под собою экономической основы, то это случится очень поздно, и накопление моральных сил для замены капитализма иным строем практически требует такого периода времени, что борьба за этот иной строй в настоящем превращается в утопию, ибо опыт показал, что самые безнравственные с нашей нынешней точки зрения системы держались тысячелетиями, и что даже вообще никогда никакой экономический строй одними моральными силами не был низвергнут. Экономическая апология, прикрытая моральным осуждением, не перестает от этого быть апологией, и вместе с тем, благодаря такой своей подкладке, неспособна дать объективного объяснения фактов.

Объективная теория рынков и кризисов берет изучаемые факты в их целом, разрывает одевающую их оболочку фетишизма и, не занимаясь их моральной оценкой, обнаруживает в них экономические противоречия, растущая сила которых есть могучий двигатель прогресса вначале частичного, затем преобразующего и самые основы общественного строя.

Своебразную попытку развития этой объективной теории сделала Роза Люксембург в своей работе „Накопление капитала“. Исходя из принципов, намеченных Марксом, она пришла, однако, к существенно иным выводам, именно, к отрицанию самой возможности капиталистического накопления без внешних, в экономическом смысле, рынков.

Роза Люксембург полагала, что в идеальной системе капитализма, где есть на-лицо только капиталисты и рабочие, но нет „третьих лиц“ в виде мелко-буржуазных и крестьянских масс, не может быть полностью реализован продукт расширенного воспроизводства, специально—та избыточная его часть, которая должна идти в накопление, послужить для расширения производственного процесса. Эту часть некому, в таком случае, купить: ни рабочие, ни капиталисты не в состоянии этого сделать.

Почему не могут рабочие? Потому, говорит Роза Люксембург, что „класс капиталистов ассигнует рабочему классу лишь строго определенную часть всего общественного продукта, на сумму, равную переменному капиталу. Следовательно, если рабочие покупают средства существования, то они возмещают классу капиталистов только полученную от него заработную плату—ассигнованную им сумму, равную переменному капиталу. Вернуть больше они не могут ни гроша“¹⁾. Этого не изменяет и естественный прирост рабочего населения: содержание подрастающих членов пролетарских семей уже включено в нормальную сумму заработной платы, в общий переменный капитал, и также включены в него вновь вступившие из молодежи рабочие; ни то, ни другое не увеличивает его.

Класс капиталистов имеет достаточные средства, чтобы купить весь прибавочный продукт; но это, по мнению Р. Люксембург, вопроса не решает, а только переносит его, притом в обостренном уже виде, на следующий оборот капитала. „В самом деле, допустив, что накопление началось, и что расширенное производство в следующем году выбрасывает на рынок еще большую массу товаров, чем в этом году, мы снова наталкиваемся на вопрос: где же мы тогда найдем покупателей для еще более возросшего количества товаров?..“²⁾

Ничего не прибавляют для решения задачи и существующие, хотя бы в чистом капиталистическом обществе, промежуточные слои организаторской интеллигенции, технической, административной и т. п. Ибо доходы этих слоев сводятся всецело к тем же элементам: частью заработной платы, т.-е. переменного капитала, поскольку дело идет об удовлетворении нормальных потребностей необходимых участников производства, частью прибавочной ценности, поскольку капиталисты делятся ею с этими слоями путем сверхнормальной оплаты.

Вывод получается такой: в чисто-капиталистическом обществе реализация той доли прибавочного продукта, которая должна служить для накопления, была бы вообще невозможна. Купить ее могут только элементы, стоящие вне чисто капиталистической системы, т.-е. принадлежащие к полу-капиталистическому и до-капиталистическому товарному хозяйству: мелкая буржуазия,

¹⁾ „Накопление капитала“, стр. 83 русск. пер. (М. 1921).

²⁾ Р. Люксембург. „Антикритика“, стр. 16 русск. пер.

крестьянство, своей ли страны или захваченных в товарообмен колоний. Капитализм вообще может расти и развиваться лишь до тех пор и постольку, пока и поскольку находит для себя эти экономически-внешние рынки: поскольку они исчерпываются, становятся полем для возникающего собственного капитализма, постольку, как бы механически, исчерпывается и возможность прогресса капитализма в самой ее основе. Основа же эта, как видим, представляется своеобразно паразитной.

Построение это заключает в себе, однако, целый ряд ошибок. Первая из них та, что в капиталистической системе, при необходимом для нее существовании кредита, технически—все может быть „куплено“ в каких угодно расширенных размерах. Неверна поэтому воскрешенная Розой Люксембург старая теория ограниченного „фонда заработной платы“. Капитал, насколько ему надо, может вовлекать в производство новых и новых рабочих, при чем их потребительный спрос порождает во много раз его превосходящие волны расширения рынка. И повышение органического состава капитала, как мы видели, позволяет на основе небольших расширений потребительского спроса получать все более значительный прирост общей величины рынка.

Поскольку же реальное накопление не укладывается вполне в этот нормальный прирост, постольку получается именно перенесение вопроса на следующий оборот в обостренном виде: капиталисты покупают некоторый излишек; но после расширенного воспроизводства он опять есть и притом увеличен, они его вновь покупают и т. д., вплоть до кризиса, который его ликвидирует, и более чем ликвидирует.

Внешние рынки расширяют базу этого процесса, но его смысла и характера не меняют. И докапиталистические товаро-производители представляют не отвлеченную „покупательную силу“: они обменивают в конце концов товары на товары; и их товары являются также элементами воспроизводства и потребления, также должны найти свое реальное место в общем механизме, увеличивая размах его расширения, а не просто покрывая это расширение.

Роза Люксембург взяла за исходный пункт действительные трудности реализации, но преувеличила их до степени невозможности. В этом сказалась, конечно, известная публицистическая тенденция, противоположная скрытой апологетике Туган-Барановского: его извращению объяснительных принципов, намечен-

ных Марксом, она противопоставила свое. Но, разумеется, для объективной теории оно не нужно. Правильному пониманию, верной оценке условий экономического развития и оно может только помешать¹⁾.

В особенности оно ведет к ложному представлению о степени жизнеспособности и устойчивости капитализма. При всех своих растущих и обостряющихся противоречиях это—формация динамически наиболее прочная из всех, до сих пор пережитых человечеством. Никакая из прежних не выдержала бы и малой доли того чудовищного взрыва разрушительных сил, которого свидетелем была наша эпоха.

g) Значение кризисов производства в судьбах капитализма.

Кризисы производства представляют наиболее важное и наиболее резкое проявление действительной природы капитализма, как переходной экономической формации. Высокая организованность элементов системы—предприятий—и неорганизованность ее целого, вот коренная черта этой социальной организации, причина ее глубокой, основной неуравновешенности. Тут перед нами, по-существу, промежуточный этап между максимальной раздробленностью мелкого товарного производства и универсальной организованностью производства социалистического. Сущность капитализма лежит в его тенденциях к централизации производства и концентрации классовых сил среди постоянной борьбы; для будущего, социалистического историка весь капитализм, вероятно, будет представляться не чем иным, как процессом собирания элементов производства, болезненным и противоречивым благодаря своей стихийности.

Кризисы—не только яркий симптом этого процесса, но также его могущественный деятель. Они ускоряют технический процесс, они разрушают более слабые из разрозненных элементов системы и толкают к объединению более сильные, они вынуждают все более тесное классовое сплочение. Наглядный пример—великий кризис 1873 года, от которого ведут свое начало синдикатное движение среди предпринимателей, с одной стороны, и невиданный

¹⁾ В этой критике теории Р. Люксембург я немало воспользовался работами И. М. Дволайцкого, главным образом статьей „К теории рынка“ в № 3 „Вестника Социалистической Академии“ за 1923 г.

до тех пор рост социалистических идей и партий в целом ряде европейских стран—с другой.

Как мы видели, в рамках капитализма его принципиальное противоречие, порождающее кризисы,—неорганизованность экономической системы при организованности ее клеток—предприятий,—неизбежно лишь усиливается по мере того, как сами предприятия растут, сливаются, объединяются в гигантские группировки. Таким образом и кризисы необходимо должны обостряться и становиться все грандиознее; а параллельно с этим должно усиливаться их дезорганизующее, равно как и организующее действие на мировое хозяйство—подрывание устоев капитализма и сплочение классовых сил друг против друга. Факты показывают, что это и происходит на самом деле. Новая форма мирового кризиса, развернувшаяся с 1914 года, только наиболее яркая иллюстрация того же закона.

VIII. Идеологическое развитие в эпоху торгового капитала.

Эпоха торгового капитала была преддверием капитализма в полном и строгом смысле этого слова, т.-е. промышленного капитализма. Ее переходный характер ярко выразился в идеологиях тогдашнего общества: то было время глубоких культурных революций, напряженной и бурной идейной работы, какой до тех пор еще не приходилось выполнять человечеству. Меновая идеология уже не развивалась, как прежде, только в складках феодальной, а начиная прямую борьбу с ней за господство. В силу новых потребностей капитала, на основе порожденных ими великих технических открытий и изобретений впервые намечалась демократизация знаний. Дух нового времени—новый принцип социальной организаций—пробивал себе дорогу через все препятствия, среди культурных столкновений, порою невиданно-жестоких. Гуманизм, возрождение наук и искусств, и Великая Реформация знаменуют огромные по своей важности этапы его наступления, побед его над прошлым. Прежний, стихийный консерватизм жизни подрывается в основе. Темп развития резко изменяется.

а) Индивидуализм и меновой фетишизм.

Элементом буржуазного общества является меновое частное хозяйство, зависящее от социального целого вследствие объективной связи общественного разделения труда, но в то же время противостоящее всем другим подобным хозяйствам на рынке, где эта связь реализуется. Две стороны экономического положения буржуазной общественной ячейки находят себе выражение в двух сторонах ее идеологии—в индивидуализме и меновом фетишизме. Первый есть обобщающая схема обособленности, борьбы индивидуальных интересов, оторванности элемента от его целого;

второй, наоборот, схема социальной связи — извращенная и опустошенная настолько, что становится идеально совместима с первою.

Член буржуазного общества получает свое практическое воспитание в борьбе индивидуальных интересов; он противостоит на рынке другим членам того же общества, как собственник своих товаров — другим собственникам. В своих расчетах он вынужден систематически учитывать их силу, как враждебную, их задачи — как противоположные своим личным задачам, будут ли они его контрагенты в обмене или конкуренты; те вещи, которые он называет „своими“, для него несравненно ближе, чем эти люди, которые представляются ему „чужими“. Отсюда возникает определенное направление мыслей, обобщающая линия работы сознания. Все элементы бытия разграничиваются по категориям „мое“ и „не мое“, а сам человек становится для себя автономным „я“, обособленным центром активности, познания, стремлений, которому в качестве чужого или враждебного „не я“ противополагается все остальное. Мышление и чувство, вращающиеся в этих категориях, и образуют сущность индивидуализма. Из экономической сферы его тенденции распространяются на все другие области, окрашивая собою и науку, в которой субъектом познающим признается индивидуум, и искусство, в котором он же является героем, и социальные нормы, в которых опять-таки он выступает как носитель ответственности — правовой, этической. Отвлеченная философия завершает эту линию, создавая фикцию чистого „я“ — собственника всех переживаний личности, т.-е. на деле — живых ее элементов.

Но действительность несравненно шире построений индивидуализма: она и в меновом обществе заключает объективное сотрудничество, объективную связь и взаимную зависимость людей, которые борьба рынка, столкновение интересов, разграничения собственности могут только замаскировать, но не уничтожить; иначе не было бы и самого общества. Тот же рынок есть и центр организации социальных связей, пункт, где реализуется сотрудничество. На рынке товаропроизводитель находит возможность из общественного труда, кристаллизованного в „чужих“ товарах, почерпнуть необходимые условия для поддержания и развития своей жизни, отдавши другим свою долю того же общественного труда в виде „своих“ товаров. Эту возможность он и называет „меновой ценностью“. Но ее социальный смысл и содержание недоступны ему, как индивидуалисту, — заслонены от него анти-

гонизмом и обособленностью частно-хозяйственных клеточек общества. Меновая стоимость сводится для него к голой способности обмена и превращается в „природное“ свойство товара, с которым она связана, на-ряду с другими его свойствами—весом, цветом и т. д. В этом абстрактно-фетишистическом виде она не только противоречит индивидуализму мышления и воли, но, напротив, дает ему новую опору. Поскольку товар есть „собственность“ данного лица, поскольку меновая стоимость товара превращается в индивидуальную силу, дает человеку власть приобретения чужих товаров, власть над различными благами товарного мира. Деньги—завершенная форма фетиша меновой стоимости—указывают индивидууму новый путь к расширению личного бытия, к развитию личного могущества, ставят перед ним идеал безграничного накопления. Социально-трудовая энергия, сила сотрудничества, в ее денежном перевоплощении, становится чисто индивидуальной целью, и еще резче противопоставляет человека другим людям в борьбе с ними за эту цель.

Таким образом, меновой фетишизм есть необходимое приспособление человеческого сознания к объективно-противоречивым условиям жизни менового общества, где социальная связь производства реализуется в индивидуалистической борьбе рынка. Поэтому такой фетишизм и является для этого общества „объективной, т.-е. социально-значимой формой мышления“, как было указано его первым критиком, Марксом¹⁾. И по той же самой причине область фетишизма не ограничивается рынком, а расширяется на весь человеческий опыт, всюду сопровождая индивидуалистическую тенденцию.

Так, меновое общество еще более, чем всякое иное, нуждается в социальных нормах, регулирующих поведение людей, в обычаях, праве, нравственности, вносящих необходимые элементы организованности в анархичные отношения „автономных“ человеческих атомов. Без этого регулирования оно разложилось бы, распалось бы в пыль; самая жизнь рынка стала бы немыслимой, так как антагонизм покупателя и продавца, вражда конкурентов между собою, обостряясь, постоянно переходили бы в стихийную борьбу и грабеж, если бы их не ограничивало общее признание взаимных привилегий и обязательств. Эти нормы и все им подобные служат выражением коллективных интересов общества в целом или его

¹⁾ „Капитал“, т. I, русск. перевод Базарова и Степанова, стр. 42.

классов или социальных групп,— и вырабатываются коллективным процессом приспособления; в них кристаллизованы, оформлены реальные общественные связи.

Но индивидуалисту недоступен этот жизненный смысл этических и правовых норм, ибо недоступен его сознанию сам коллектив, истинный субъект их и источник. Подчиняясь нормам, товаропроизводитель относится к ним, как к силе, для него внешней и независимой от него; иначе и быть не может, потому что не он создал их,—он находит их готовыми, объективно-данными, и часто ощущает их силу, как сурово-принудительную, как беспощадно-враждебную личным его стремлениям и чувствам. Значит, не видя источника обязательности норм в коллективности, и не находя его в самом себе, фетишист вынужден относить его просто к самим нормам: им должно подчиняться, потому что они — нормы. Правовое требование подлежит исполнению потому, что оно „закон“; этическое правило следует соблюдать потому, что это „нравственно“. Как меновая сила—стоимость—приписывается материальной вещи, товару, так регулятивная сила—обязательность—приписывается идеальной вещи—норме. И здесь и там основа фетишизма одна и та же, а именно, разрыв между личностями и социальным целым, утрата сознания сотрудничества; и здесь и там характер извращения один и тот же: отношения людей понимаются, как свойства вещей¹⁾.

Точно такую же эволюцию, в силу тех же условий, испытывает и область познания. Мы уже видели (в главе об античном рабстве), что именно на почве обмена и ускоренного благодаря

1) Буржуазное общество полно еще остатками авторитарных отношений, и неизбежно нуждается в них для скрепления своей организации (государство, армия, семья, капиталистическое предприятие строятся в той или иной степени по авторитарному типу). Вследствие этого и в мире норм сохраняются большей частью пережитки авторитарного фетишизма: справедливость, долг и т. под. рассматриваются как веления высшего существа. Но само оно приобретает отвлеченный, опустошенно-безличный характер, свойственный понятиям менового фетишизма, и из конкретного жизненного образа делается чистым абсолютом, абстрактным совершенством. При этом логика менового фетишизма вытесняет авторитарную логику: правовой или нравственный законы не потому „справедливы“ и „моральны“, что выражают волю абсолюта, а, напротив, потому и являются велениями абсолюта, что они „справедливы“, „моральны“; абсолют, будучи чистым совершенством, не может предписывать ничего, кроме „должного“.

ему темпа технического развития произошло выделение научных и философских знаний из религиозной оболочки. Дело не только в том, что накапляются новые данные опыта, которые по своему очевидному генезису не могут уже рассматриваться, как священные откровения, как наследие обожествленных предков, ибо заимствованы при меновых сношениях от чужеземцев, или самостоятельно открыты на памяти живущего поколения. Дело в том, что новая систематизация знаний неразрывно связана с изменением самой точки зрения на них, самого смысла, который вкладывается в понятия. Они приобретают вид отвлечённой или „чистой“ истины.

Объективно, знание представляет социальный продукт и социальное орудие, кристаллизованный трудовой опыт, который служит средством для дальнейшей борьбы с природою. Могущество той или иной истины, возможность опираться на нее в нашей практике, есть результат того факта, что в этой истине воплощена известная сумма целесообразно затраченной социальной энергии труда—познания. Но может ли так понимать ее член буржуазного общества, насквозь проникнутый индивидуализмом? Конечно, нет; и здесь, как в других случаях, связь коллективной деятельности недоступна его взгляду.

Не должна ли в таком случае истина казаться ему просто индивидуальным продуктом, теснее, что в буржуазном обществе она и открывается обыкновенно отдельной личностью? Но этому противоречит подчиняющая сила истины, ее „общеобязательность“, невозможность создавать ее по произволу. И в свою очередь истина становится для человека внешней, независимой от него силой, которую он может лишь искать, открывать, угадывать, но отнюдь не создавать: она существует „сама по себе“, она общеобязательна потому, что она—истина, а отнюдь не по какой-либо причине; в этом ее „абсолютный“, самодовлеющий характер. Ее отношение к человеческой практике—лишь частное и случайное проявление высших ее свойств; и вне всякой практики она существует, как „чистая“ истина, которая была, когда еще не было человечества, и останется, когда оно исчезнет. Здесь опять социальная активность людей фетишизуется в виде свойства особых не материальных вещей, называемых идеями. Это едва ли не наиболее устойчивый из видов того фетишизма, который возникает на почве социальных условий менового общества; с разо-

блажением этого фетишизма современное сознание примиряется всего труднее¹⁾.

Так, все мировоззрение товаропроизводителя проникается своеобразными, метафизическими элементами. В соответствии с ними развивается и понимание всеобщей связи явлений—концепция причинности. Она принимает вид „необходимости”—абстрактной и безличной, внешней для самих явлений силы, принудительно определяющей их последовательность, их наступление и прекращение. Легко проследить, откуда взялась эта—самая голая из абстракций буржуазного мышления.

В образе стихийных сил рынка, над личностью господствует экономическая необходимость. Она принудительно направляет действие товаропроизводителя и безапелляционно решает его судьбу. Конъюнктура ведет его, в производственной и меновой его жизни, часто туда, куда он вовсе бы не хотел, и приводит к тому, чего он вовсе не ожидал. Но ее социальное содержание для него недоступно, он не видит в ней ничего, кроме чистой конъюнктуры, т.-е. обусловленности, или чистой необходимости, т.-е. непреодолимой для него силы. Она властно развертывает в его опыте цепь экономических явлений, она одна связывает звенья этой цепи. Она становится, следовательно, неизбежной формой мышления для основной и главной области человеческого бытия в меновом обществе, для экономической его жизни.

¹⁾ Очевидно, что фетишизм идей, равно как и фетишизм норм, подобно фетишизму меновой стоимости, объективен, т.-е. общезначим для той социальной системы, отношением которой он соответствует. Отрешаться от него возможно, только став на точку зрения иной общественной формации—того коллективистического общества, зародыши которого уже имеются теперь в новых формах сотрудничества, свойственных рабочему классу. А в обычных практических отношениях современному человеку, даже вполне ясно понимающему смысл и направление социального развития, нет по большей части никакой нужды и никакой выгоды отрешаться от этого фетишизма: покупая необходимые вещи, незачем мысленно восходить от их денежной цены к ее социально-трудовой основе; опираясь на какую-нибудь норму закона или этики, нет надобности мысленно представить весь ее социальный генезис; оперируя с научными идеями, часто было бы очень неудобно усложнять и без того трудную работу размышлением о связи каждой из них с коллективной практикой. Нет особого вреда, если при этом разные понятия выступают в сознании человека не только в сокращенном виде, но и в привычной фетишистической оболочке,—лиць бы критика во всякий момент была готова вмешаться и разорвать эту оболочку, если потребуется.

Естественно, что и в других областях опыта мышления применяет шаг за шагом эту же, раз выработанную им, и в то же время объективно навязанную ему форму. Всякая постоянная связь явлений одевается в оболочку „необходимости“, как в авторитарном обществе она одевалась в оболочку власти-подчинения, которая там была формою постоянной связи экономических процессов. Новая, метафизически-абстрактная схема причинности оттесняет старую схему (борьба идеи „необходимости“ против идеи „свободы“, т.-е. произвола, или авторитарной причинности). Этим завершается новая система мировоззрения.

Степень ее выработанности зависела, конечно, от развития нового строя. Именно эпоха торгового капитала принесла с собою такой прогресс меновых отношений, при котором они получили решительное преобладание над прежними социальными формами, и стала возможна полная, а не только частичная выработка меновой идеологии. Тогда возник новый человеческий тип, явившийся для своего времени невиданно-революционным. Это—тип человека, ведущего борьбу за отвлеченные цели, и способного противополагать свое личное убеждение, свою индивидуальную волю всей окружающей среде.

Мы знаем, какой отвлеченный характер приобрела в меновом обществе жажда накопления: в своих наиболее законченных проявлениях она превращается в самое страстное служение абстрактному идеалу меновой ценности, во имя которого рвутся порою всякие социальные и родственные связи, нарушаются иногда всякие законы. Самых энергичных и жестоких пионеров этого типа выдвинул торговый класс, и специально—ростовщики. Не щадя никаких чужих интересов, пренебрегая мнением окружающих, эти люди всей своей деятельностью неуклонно разрушали старые, патриархальные отношения и патриархальные нравы. „Герои“ первоначального накопления в своей кипучей активности, ломающей самые прочные рамки прошлого, обнаруживают, действительно, своеобразный героизм,—как ни безобразны, с современной точки зрения, конкретные формы этой активности. Объективно, они являлись огромной и необходимой революционной силой¹⁾. Они строили фундамент нового общества,

¹⁾ Моральная оценка прошлого с точки зрения чувств и идеалов настоящего вообще бесполезна в социальном исследовании, да и применяется обыкновенно очень идологично и непоследовательно. Так, герон-

при чем, подчиняясь индивидуалистической иллюзии, думали, что работают для себя, тогда как на деле они были слепыми орудиями истории; стихийным ее тенденциям служило их фетишистическое сознание и воля.

На первый взгляд может показаться крайне произвольным и несправедливым сопоставление этих жрецов меновой стоимости с теми идеалистами-борцами за справедливость или за истину, которые с огромной энергией вырабатывали идеологию буржуазного общества, и с величайшими личными жертвами за нее боролись. Однако на деле те и другие—выразители различных сторон одной и той же исторической тенденций. Те и другие служат абстрактным идеалам, представляющим не что иное, как модели, по которым формируется социальная система нового времени. Те и другие фетишизируют свои идеалы, и путем такого фетишизированья способны подниматься над непосредственными, частными интересами своей личности, над своими обычными потребностями, даже над инстинктом самосохранения: ибо, напр., и „скончай рыцарь“ способен не только рисковать, но даже отдать свою жизнь ради защиты своего сокровища. В то же время, в борьбе за свои, правда, несходные цели, те и другие готовы противопоставить свою индивидуальную волю всей социальной среде, всем авторитетам прошлого...

Тут, конечно, есть и немалые различия. Служение фетишу ценности гораздо сильнее выдвигает собственно-индивидуалистическую тенденцию, гораздо меньше отрывается от личной выгоды,—и даже более того, обыкновенно истолковывается как самим героем накопления, так и его окружающими, в смысле простого служения этой выгоде. Напротив, идеализм справедливости или истины понимается, как нечто противоположенное лично-корыстным стремлениям. Зависит это различие от того, что фетишизм ценности непосредственнее и теснее связи с фетишизмом частной собственности, т.-е. самой сущностью индивидуализма. Напротив, этические нормы, а также научные и философские идеи, с их широко-организующим значением, скрывают

ростовщичества и всяческого закабаления даже в смысле жестокости и кровожадности далеко уступали своим предшественникам, героям-завоевателям феодальной эпохи, а также конкистадорам—открывателям и колонизаторам новых земель в более позднем периоде торгового капитализма,—но моральное осуждение получают полностью, тогда как тем чаще всего достается ореол славы.

под своей метафизической маскою в большой мере тенденции коллективизма, обще-социального или хотя бы только классового. Ценность можно присваивать себе индивидуально, истину же нельзя—ее можно лишь индивидуально „открыть“.

Два вида героев различаются приблизительно в таком же смысле как завоеватели и святы—два параллельных вида, свойственные обществу феодальному.

Без сомнения все эпохи имеют своих героев, своих идеалистов. Но только меновое общество создает героев абстрактной цели, идеалистов отвлеченного. Так, завоеватели и святы были людьми конкретных практических целей, материально-чувственных идеалов: господство над определенными территориями и лицами, получение даней в натуральной форме определенных продуктов, спасение от физических пыток и казней ада, физические наслаждения рая¹⁾ и т. под. Впоследствии, когда вместе с обменом в феодальное общество внедряются новые формы мышления, прежние конкретные идеалы одновременно и расширяются, и опустошаются от живого, яркого содержания, расплываясь в абстракции: власть, богатство, спасение души, все это получает отпечаток метафизического сознания, „образы“ уступают место „идеям“, все более схематичным, стремящимся оторваться от всякой данной действительности, стать „абсолютными“, т.-е. самодовлеющими: идеализм конкретного шаг за шагом преобразуется в идеализм отвлеченного. Такое превращение было уже раз пережито в античном мире, его нравственная и теоретическая философия ясно свидетельствует об этом. Но там не успела завершиться выработка новых активных типов—она была остановлена упадком культуры, растворением обессиленного менового общества в феодальной среде. Лишь позднейший капитализм, торговый и затем промышленный, закончил эту выработку, воспользовавшись и всем тем, что могло дать ему наследство античного мира.

С точки зрения экономической науки, все отмеченные нами сейчас явления, т.-е., индивидуализм, разные формы абстрактного

1) Валгалла, Магометов рай, как нельзя более типичны для настоящего феодального идеализма. Христианский рай также был первоначально вполне чувственным идеалом; телесный характер „второй жизни“ отчетливо подчеркивается в христианской мифологии. Данте жил в эпоху торгового капитала, и потому его рай уже глубоко обесцвечен,—по нем нельзя судить о первоначальной концепции.

фетишизма, новый психологический тип героев накопления, новый тип идеологов,—интересны и важны постольку, поскольку в них воплощаются условия экономической прогрессивности общества или его консерватизма. И в данном случае для нас должно быть очевидно преобладание прогрессивной тенденции. Пусть индивидуализм, отрывая формально личность от коллектива, разрывая общество на атомы, тем самым уменьшает сумму общественной силы, противостоящей природе, и сумму элементов развития, доступных отдельной личности; но зато он заставляет и учит эту личность искать новых, лучших орудий и условий для борьбы ее за существование, для сохранения своей позиции среди других, ей подобных и в то же время враждебных ей личностей: ей надо итти вперед, чтобы не быть сброшенной вниз. Пусть социальный фетишизм извращает действительность, окутывает ее туманом опустошенных понятий, но зато он ставит перед индивидуумом неопределенно широкие, неограниченные задачи, и под покровом своей безличности поддерживает его объективную связь с коллективом, увеличивая тем самым возможности развития. И если новые типы экономических и культурных деятелей чужды живого сознания своей связи с социальным целым, из которого исходит и которому реально служит их работа,—то, по крайней мере, благодаря тому их тем менее связывает и социальная традиция, которая была в предыдущие эпохи столь властно консервативной силой.

Вот почему с началом капитализма, даже торгового, редко изменяется тема общественного развития. Перемены, для каких в эпоху феодальную потребовались бы целые века, здесь совершаются в какие-нибудь десятки лет.

b) Начало демократизации знаний.

Сословный строй феодального мира делал знание привилегией немногих, а именно духовных, феодалов, жречества с его универсальной мирно-организаторской функцией в обществе. Не только для крестьянской массы, но и для светских феодалов глубочайшее невежество было общим правилом, простая даже грамотность—редким исключением. Из этого не возникало никаких противоречий, в распространении знаний не было никакой социальной необходимости: натуральное хозяйство с его стереотипно повторяющимися человеческими отношениями и застойною тех-

никой легко обходилось обыденным, не систематизированным опытом, и почти не нуждалось в письменности. В тех же немногих случаях, которые выходили из рамок повседневного, на сцену выступал жрец, который заботливо охранял от „непосвященных“ монополию своих „высших“ знаний, на современный масштаб тоже весьма незначительных, но достаточных, чтобы поддерживать среди других сословий мистическое уважение к духовенству.

В новом обществе условия совершенно иные. Обращение товаров и кредит создают потребность и в точном счете, и в широком применении письменных документов: грамотность необходима товаропроизводителю для сколько-нибудь успешного выполнения функций, связанных с рынком. Это не значит, разумеется, что с переходом к денежному хозяйству элементарное образование немедленно разливается в массах, и грамотность становится всеобщей. Напротив, в эпоху торгового капитала количественно преобладают еще долго противоположные тенденции. Но все же те знания, которые принято теперь называть первоначальными, весьма быстро перестали быть исключительным достоянием немногих избранных, и стали довольно обычными, по крайней мере среди горожан, да и среди крестьянства захватили те его верхние слои, которые начали специализироваться на торговле и ростовщичестве. А невежество и темнота остальной массы послужили могучим орудием ее экспроприации, обостряя, но и ускоряя суровый процесс первоначального накопления.

Власть новых общественных форм вынуждала, однако, развитие и распространение не только грамоты, но также иных, более сложных знаний. Искание рынков и все более разраставшиеся связи с отдаленными странами, зависимость рыночной конъюнктуры от политических комбинаций толкали к ознакомлению с географией, историей, иностранными языками, к изучению законов и обычаев и т. п. Технические потребности торгового мореплавания были стимулом развития астрономии, математики, а затем оптики и т. д. Многочисленность и разнообразие обращающихся товаров, необходимость разбираться в их качествах и методах производствадвигали вперед разные другие отрасли естественных наук. А зависимость людей от рынка и изменчивость конъюнктуры заставляли общественную мысль работать над экономическими вопросами, пролагали путь к социальным наукам.

И все эти новые знания уже не могли быть привилегией того или иного сословия, как не могли носить священно-традиционного, мистического характера „высших“ знаний феодальной эпохи. Жажда знаний, как силы, помогающей проложить дорогу в социальной борьбе, охватывала все более широкие массы; демократизация этой силы неизбежно развивалась постепенно, поскольку допускали объективные условия: с одной стороны, сопротивление враждебных ей феодальных классов, с другой стороны превращение знаний в товар, для покупки которого нужны деньги, что весьма долго еще препятствует путь к науке самым многочисленным слоям общества, а особенно в эпоху систематического их разорения торговым капиталом.

Демократизация знаний подрывала консерватизм общественного сознания и расширяла базис культурного развития. Этим облегчался и ускорялся экономический прогресс.

с) Гуманизм и Возрождение.

Идеологическое наследство античного мира несколько веков лежало без движения. Культура, созданная рабовладельческим меновым обществом, и именно теми его слоями, которые по преимуществу жили в сфере денежно-меновых отношений, не подходила к условиям натурально-хозяйственного феодализма и в наибольшей своей части не могла найти применения на его почве. Огромное большинство произведений античной науки, философии, искусства погибли жертвами средневековой тьмы; но некоторая часть успела сохраниться в архивах монастырей, кой-где и в древних замках феодалов или среди заброшенных развалин; еще некоторая доля дошла через арабов и т. д. Монастыри не случайно явились главными хранителями этих сокровищ,—мы знаем, что, поскольку обмен существовал и развивался в феодальном обществе, именно они были его обычными центрами и главными представителями; к тому же монастыри всего реже разграблялись в ту воинственную эпоху. Во всяком случае, остатки античного познания и творчества разными путями дошли до того времени, когда меновые отношения вновь стали приобретать преобладающую роль в обществе. Тогда стало возможно и необходимо использование античного наследства,—началось его возрождение.

Без сомнения, античные формы жизни во многом отличались от тех, которые развивались на пороге Средних веков и Нового времени. Но все же меновая идеология была в высокой мере выработана классической древностью, а именно, в меновой идеологии нуждался нарождавшийся торговый капитализм. Ему давались таким образом готовыми масса организующих форм, которые как нельзя легче было приспособить и применить к новым условиям жизни. Если мы примем в соображение, какой огромной и длительной работы требует выработка той или иной идеологии вообще,—а особенно такой сложной, как идеология полного противоречий буржуазного общества,—то для нас станет ясным, насколько важное сбережение социальной энергии достигалось воскрешением античной культуры, насколько облегчалось им социальное развитие. В этом и состояло ее „революционное значение“ для новой эпохи. Было бы ошибочно думать, что возрожденная идеология древности была одной из движущих сил социального развития. Идеология вообще не может играть такой роли, она всегда только организует то, что развивается, но сама по себе не порождает развития, не является исходным его пунктом. Древняя культура удовлетворяла социальные потребности, независимо от нее порождавшиеся тогда развитием экономическим или техническим, и лишь в такой мере, в какой она их удовлетворяла, она находила себе место и применение. Она в готовом виде, в законченно-выработанных формах, давала именно то, что вырабатывается с наибольшим трудом, оформляется наиболее медленно—руководящие принципы нового мироотношения, основные схемы нового мышления; а в остальном, в частностях, она представляла богатейший материал для творческого приспособления к новым условиям, путем вариаций, чем еще более оживляла, стимулировала идеологическую работу эпохи. Этим избегалась масса лишних штаний и исканий, особенно тяжелых в неблагоприятной обстановке эпохи, где материальная сила и власть прошлого были еще огромны, где оно не раз еще одерживало жестокие победы, разрушая созданное борьбою поколений. И нет никакого сомнения, что развитие таким образом было ускорено на целые столетия.

Так из своей могилы, после ряда веков, античный мир протягивал руку своему более счастливому наследнику, своей могучей поддержкой помогая ему встать на ноги и преодолеть жестокие сопротивления консервативной среды, в которой зарожда-

лось, с которой на первых же шагах резко столкнулось буржуазное общество.

Гуманизм, широким идейным течением разлившийся тогда по Западной Европе, был отнюдь не только воскрешением забытой культуры,—он был и первой систематизацией нового, индивидуалистического мировоззрения. „Человеческое“, humana, сознательно противополагалось „божественному“, divina, т.-е. человеческая личность, с ее жаждой силы и счаствия,—авторитарной тенденции. Хотя классический мир не достиг цельного, завершенного индивидуализма, хотя у него была своя авторитарная сторона, и сильно развигая, воплощенная в отношениях свободных людей к рабам,—но, разумеется, не этой его стороной интересовался и пользовался гуманизм, противополагая свет далекого прошлого остатков средневековья.

Буржуазный мир вкладывал и много нового содержания в идеологические формы, завещанные древностью. А затем, начиная тем, где она, в силу своей исторической судьбы, должна была кончить, он, полный новых элементов развития, шел дальше. Из гуманизма исходила богатая литература, все более освобождавшаяся от подражания античной, исходила деятельная работа мысли, все более независимая и радикальная в своей критике. И все это служило для оформления новых практических тенденций жизни, для организации новых социальных сил. Создавалась культурно-революционная атмосфера беспокойного, жадного искаания, недоверия к окружающему, смутных ожиданий лучшего будущего, атмосфера страстной борьбы за фетишизованные личные выгоды и за безличные идеологические цели.

В этой атмосфере естественно рождались великие открытия и изобретения.

d) Великие открытия и изобретения.

Те новые потребности, которые создавались развитием торгового капитализма, направили энергию общественной мысли на вполне определенные задачи. Это было, прежде всего, искание денег и новых рынков.

Добытие благородных металлов, не особенно значительное в Европе и в античную эпоху, пришло совсем в упадок за период Средних веков: господство натурального хозяйства, бесчисленные феодально-грабительские войны, наконец, просто истощение ста-

рых рудников, при невозможности открытия новых в самой Европе, достаточно объясняют этот факт. Сношения с Индией, которая долго была главной поставщицей благородных металлов для Запада, были почти оборваны саракинским, а затем турецким завоеванием промежуточных стран. Раньше накопленные запасы денежного материала в течение ряда столетий сильно растаяли, часть их исчезла путем естественного стирания монет, часть затерялась среди междоусобий в виде бесполезных „кладов“, часть понемногу просочилась в те же восточные страны, в уплату за предметы роскоши, покупавшиеся богатыми феодалами. Когда натуральное хозяйство стало вновь уступать место денежноменовому, то все более и более чувствовался недостаток в деньгах, как покупательном средстве. Это было серьезным препятствием на пути экономического развития.

Меновая ценность благородных металлов возросла при таких условиях в очень высокой степени; это еще обостряло жажду денег, стремление найти новые их источники. Далеко не всегда стремление это выливалось в целесообразные формы; примеры поиски алхимиков за философским камнем, который превращал бы грубую материю в золото. Но и на таких путях достигались порою весьма прогрессивные, хотя и не вполне предусмотренные, побочные результаты: та же алхимия дала целый ряд технически-важных химических и медицинских открытий. В новой исторической атмосфере подобные приобретения уже не затерялись, а находили себе распространение и применение; самый яркий пример — открытие пороха. Главную же линию тогдашних исканий представляли дальние путешествия, целью которых были новые рынки, и особенно полу-мифическая для тогдашних европейцев Индия. Как известно, в этих попытках было найдено гораздо больше, чем искали: не только морской путь в Индию, но и Америка, и целый ряд неизвестных раньше стран Африки, Азии, Океании. Поле труда и культуры, а, в первую очередь, торговско-капиталистической эксплоатации расширилось во много раз; базис для исторического развития оказался во много раз больше, чем у античного мира. В то же время была достигнута и непосредственная цель исканий: волны золота и серебра хлынули на Европу, грабеж и порабощение новых стран с успехом заменили философский камень, царство денежного фетиша победоносно охватило весь мир.

Феодальные устои быстро расшатывались, но еще не были разрушены. Сопротивление средневековых сословий новым тенденциям жизни становилось тем упорнее, тем ожесточеннее, чем ярче выступали эти тенденции, чем очевиднее обнаруживалась их несовместимость с остатками прошлого; стоит только вспомнить судьбу большинства великих ученых и изобретателей того времени, отчаянную борьбу жречества против ересей, не менее отчаянную защиту бесчисленными феодалами своей независимости, делавшей немыслимым развитие национального и мирового рынка. Против таких препятствий буржуазный мир выдвинул свою новую боевую технику: порох—для подчинения светских феодалов, книгопечатанье—для ниспровержения духовных. Действие этой новой техники обычно понимают очень упрощенно и наивно: порох преодолел брони рыцарей и стены замков, книга разнесла по свету научные знания, разрушающие жреческую мифологию. Нельзя сказать, чтобы это было неверно, но такая картина не полна и не точна.

Сила пороха должна была оказаться на службе у менового хозяйства против натурального прежде всего потому, что постоянное добывание материалов для производства пороха было возможно лишь в сравнительно немногих местностях, и приобретать порох приходилось вообще путем покупки, через посредство достаточно развитого рынка с дальними торговыми сношениями. Поэтому порох мог широко проявить свои демократически-военные свойства—уравнивание забронированного рыцаря с простым наемным ратником—только тогда, когда система обмена укрепилась прочно, и феодальная организация уже была подорвана экономически. Точно так же и книгопечатание не могло бы выполнить своей революционной функции, если бы феодально-жреческая привилегия учености не потеряла объективно своего значения, и если бы порожденная новыми условиями социальной борьбы жажда знания не разливалась все шире в народных массах. Главная анти-феодальная роль огнестрельного оружия и типографского станка относится не к началу, а к эпохе расцвета торгового капитала.

Другие великие открытия были выдвинуты потребностью торгового капитала в новых способах сношений и транспорта, специально же—в океаническом мореплавании. Таковы—применение компаса, новая (коперниковская) астрономия, усовершенствование часов и углеродных инструментов, изобретение телескопов и т. п.,—

целый ряд новых и лучших методов ориентировки в дальних путешествиях по неизвестным раньше морям и странам¹⁾.

Так, разными путями, торговый капитализм расширял систему человеческого опыта там, где это было ему нужно. Экономические потребности направляли мышление людей, как и их волю, по линиям объективных исторических задач; индивидуальное творчество было всегда лишь точкой приложения развивавшихся социальных сил. Идеализм чистой истины был не чем иным, как фетишистически-переодетым стремлением к социально-необходимому. Каждый индивидуально сделанный шаг опыта закреплялся общественным развитием и становился опорой дальнейшего движения.

е) Реформация.

Революционная сила торгового капитала была в одинаковой мере направлена и против светского, и против духовного феодализма, но способ ее действия был здесь и там неодинаков. Светско-феодальная организация отличалась крайней раздробленностью, поэтому политическая носительница принципов торгового капитализма, абсолютная монархия, преодолевала ее постепенно, шаг за шагом, в течение иногда целых столетий, столь же постепенно приспособляя к себе ее остатки. Напротив, организация жречества была, как мы знаем, централизована, она не могла распасться и раствориться по мелким частям; поэтому борьба с нею должна была рано или поздно принять форму грандиозного революционного кризиса. Такой революцией торгового капитализма и явилась Реформация.

¹⁾ Учение Коперника явилось результатом обработки и систематизации новых астрономических таблиц, составленных несколькими десятками ученых по поручению одного из испанских королей в XIII веке; необходимость составления этих таблиц была вызвана непригодностью старого астрономического материала для определения места и направления в дальних плаваниях. Оттуда же исходили стимулы к выработке аппарата для точного измерения времени: часы, важнейший из астрономических инструментов, орудие непосредственного определения долготы в путешествиях были излишней роскошью для феодального и ремесленного способов производства, которые легко могли довольствоваться приблизительным определением времени на глаз, по положению солнца и звезд на небе..

Это была тяжелая и длительная революция, вызвавшая на арену политической борьбы все тогдашние социальные силы, она надолго предопределила судьбу европейских народов. Страны, где она потерпела решительную неудачу—Италия, Испания—были обречены на целые века глубокого социального застоя, частью даже—деградации. Другие страны [получили тем большую свободу развития, чем полнее избавились они от господства старой церковной организации. Дело было вовсе не в том, насколько радикально отвергались прежние догматы: революция была по существу социально-политической, только в религиозной оболочке борьба велась против материальной силы духовенства.

Еще Маркс указал, что протестантизм представляет буржуазную версию христианства, в противоположность католицизму—версии феодальной. Может показаться странным, зачем вообще здесь понадобилась религиозная форма идеологии, тогда как позднейшие буржуазные революции, в эпоху промышленного капитала, прекрасно обходились без нее. Но это станет понятно, если обратить внимание на экономически переходный характер самого торгового капитализма.

Торговый капитализм зародился среди общества, в наибольшей своей доле феодального, и лишь в меньшей—мелко-буржуазного. Он рос и развивался по преимуществу за счет феодальной и затем крепостной ренты, которую торговый класс умелыми операциями вытягивал от сеньоров и помещиков. Следовательно, торговый капитал не только боролся со старым, авторитарным строем, но в значительной мере также и опирался на него; и не случайно свою политическую организацию он создавал в виде абсолютной монархии, не случайно эксплоатировал колонии рабовладельческими и крепостническими методами. Поэтому буржуазный тип мышления на почве торгового капитализма еще не способен эманципироваться от авторитарной, или, что то же самое, религиозной формы, хотя и наполняет ее новым, своим собственным содержанием. Только промышленный капитализм уже в силах принципиально ее отбросить.

Разумеется, различие социальных групп, выступающих против духовного феодализма, отражалось в различных течениях религиозного реформаторства. Протестантизм немецких князей с их бюрократией и обуржуазившимся дворянством был неизбежно иной, чем протестантизм буржуазных республик Швейцарии и Голландии, и тем более иной, чем протестантизм ремесленного

пролетариата: угодливо-гибкое лютеранство, патриархально-суро-
вый кальвинизм, ярко-революционный анабаптизм, и т. п. Вполне
естественно поэтому, что армия реформации после первых по-
бед над католицизмом, после захвата князьями церковных иму-
ществ и уничтожения церковной десятины, обречена была на
распадение с жестокими междоусобиями; и как ни противоре-
чив с формально-логической точки зрения образ действий тех
сект и их вождей, которые, провозглашая свободу религиозной
мысли, преследовали затем огнем и мечом, казнями и пытками
другие, более радикальные секты, но социально-политическая
логика интересов при этом выдерживалась вполне. Здесь отчетливо
сказывается и организующая роль идей в социальной борьбе, и
господство ее „практического разума“ над теоретическим.

Переходный характер торгового капитализма выразился не
только в религиозной оболочке его революции, но также и в самом
ее ходе и в исходе. Лишь в немногих странах эта революция
достигла своего завершения, в других она осталась незакончен-
ной, в третьих послужила прологом глубочайшей и длительной
социальной реакции. Силы буржуазного мира были еще слишком
мало развиты и недостаточно организованы. Местами—как это
было в Германии—растраты их в „религиозных“ войнах, возник-
ших из Реформации, была так велика, что на целые столетия
задержала экономический прогресс. Но все же исторический
путь буржуазного общества был намечен, и его новые революции
могли начинать с уже достигнутых Реформацией этапов.

IX. Идеологическое развитие в эпоху промышленного капитала.

Огромное развитие производства, достигнутое промышленным капитализмом, необходимо связано с гигантским обогащением и усложнением идеологии, как совокупности организующих форм для социально-трудового процесса. Насколько расширилась и разрослась символика, это легко себе представить, если мы вспомним, что каждая специализированная отрасль общественного труда,—а число их в настоящее время чрезвычайно велико,—создала для себя особую терминологию, свой отдельный технический язык, иногда весьма сложный и своеобразный. В области познания разветвленный трудовой опыт, охвативший природу по самым различным направлениям, дал такую массу нового материала, которая превосходит всякое человеческое воображение. Она систематизируется в специальных науках, технических и естественных, методами которых руководится дальнейшее производство.

Что касается нормативной идеологии, т.-е. этики, права и т. п., то здесь самое строение капитализма является источником невиданного, гипертрофического развития. Организация общества в целом анархична, полна противоречий, количество которых, равно как и глубина и острота, постоянно возрастает. Этим самым до крайней степени усиливается потребность в нормах, регулирующих анархические отношения, вводящих в рамки социальные противоречия и конфликты, которые без этого организующего влияния способны были бы разрушить общество, не дали бы возможности сложиться его классам и группам, раздробили бы его в пыль. И так как нормы не могут заменить планомерного единства общественной организации, как бы они ни были многочисленны и совершенны, то они не в силах остановить возникновения новых противоречий и антагонизмов, кото-

рое, в свою очередь, ведет к усложнению прежних и выработке новых норм и т. д. Сеть норм разрастается и запутывается, быстро стареет в одних своих частях, оказывается недостаточной в других, порождает, таким образом, еще производные проявления неприспособленности, борьба с которыми дает толчек дальнейшему творчеству норм и ведет к их прогрессивной систематизации. Нормирующий идеологический процесс развивается наподобие лавины и обусловливает такой, напр., парадокс, как нельзя более характерный для современного общества: буржуазное государство предполагает все свои законы известными всем гражданам, не позволяя отговариваться их незнанием; объективно же, масса законов так грандиозна, что отдельной личности вообще невозможно вместить ее в своей памяти.

По отношению к общему типу или характеру идеологических форм, промышленный капитализм довел до предела тенденции, намеченные предыдущим периодом — индивидуализм и меновой фетишизм. Идеология эпохи торгового капитала не могла достигнуть этой ступени, потому что он не охватывал целостно всю систему производства, а постоянно опирался на докапиталистические элементы хозяйства — мелко-крестьянские, ремесленные, феодально-крепостные, — которые он разными путями эксплуатировал; и естественно, что на идеологию подобные элементы сохраняли большое влияние, придавая ей смешанный, переходный характер. Промышленный капитал, напротив, не нуждается в сохранении отсталых форм и стремится к их полному вытеснению, создавая свой собственный базис для эксплоатации, завладевая производством в его целом. Поэтому он в силах выработать однородные, законченные формы общественного сознания, отбросив остатки форм отживающих, главным образом, авторитарных.

Но промышленный капитализм идет еще дальше этого: доведя индивидуалистическое и товарно-фетишистическое мышление до полного развития, он затем начинает разлагать и разрушать его, подготовляя окончательную его замену новым, высшим типом. Причина этого факта лежит в классовом строении буржуазной системы, которая носит в себе быстро растущий зародыш иной социальной формации.

По быстроте идеологического развития эпоха промышленного капитализма далеко превосходит все предыдущие. В особенности ускоряется темп идеологической жизни при машинном произ-

водствё: на основе непрерывной технической революции он также становится чисто революционным.

Остановимся теперь в частности на различных сторонах этого развития.

а) **Завершение индивидуализма и менового фетишизма.**

Своего высшего пункта индивидуалистическая тенденция в обществе достигла к концу периода мануфактур и в самом начале периода машинного производства. Практическое обособление личности в социальной среде прогрессирует, прежде всего, в зависимости от развития обмена и свойственной ему борьбы личных интересов; а рост обмена в количественном смысле продолжается в течение всего периода капитализма; но при машинном производстве, вместе с новой формой сотрудничества и самоорганизацией нового класса, выступает иная, противоположная индивидуализму тенденция, которая частью парализует его развитие, частью изменяет его характер. Напротив, развитая мануфактурная организация—всеселло благоприятная почва для индивидуализма.

Правда, уже и мануфактура объединяет работников в организованном сотрудничестве. Но сотрудничество это—дробная техническая специализация—таково, что оно само по себе способствует обособлению личности, ее противопоставлению другим людям. Насколько велика духовная разобщенность между представителями разных специальностей мануфактуры, в силу непосредственного технического различия их функций при крайней узости и односторонности их трудового опыта, это вещь слишком очевидная. Но и в пределах каждой отдельной технической функции не создается условий для единения работников. Условием успеха для каждого из них в социальной борьбе является специализированная ручная ловкость, которая по существу своему всегда индивидуальна. Этим укрепляется дух конкуренции, между работниками однородного труда порождается глубокое, устойчивое разъединение интересов, не допускающее практической сплоченности. И в то же время спрос мануфактур на обученную рабочую силу чаще превосходил предложение, чем отставал от него, так что особенной потребности в сплочении для защиты общих интересов и квалифицированных ручных работников не было. Что же касается элементов неквалифицированного труда в мануфактурах, различных „чернорабочих“, то

они находились в чрезмерно угнетенном и подавленном положении, чтобы быть способными к идеологическому творчеству: социально они еще сливались с люмпен-пролетариатом. Вот почему эпоха мануфактур характеризуется почти полным отсутствием рабочих организаций, и вообще каких бы то ни было проявлений колlettивизма в рабочем классе.

Таким образом, индивидуализм, доканчивая победоносную борьбу против старых, авторитарных тенденций, еще не сталкивался с другим, высшим принципом социальной организации, так что находился в наиболее благоприятных условиях развития. Разумеется, проследить непосредственно успехи индивидуализма в настроениях и мышлении различных классов для нас было бы слишком трудно. К счастью, в этом и нет необходимости. Самое яркое, для всех очевидное выражение духа времени находит в так называемых „великих“ произведениях эпохи, наиболее полно и стройно резюмирующих ее опыт, воплощающих ее идеалы. XVIII век дал целый ряд таких творений, проникнутых чистым индивидуализмом, дающих его самые широкие обобщения. Вся просветительская деятельность Вольтера, энциклопедистов и многих других была посвящена борьбе за права личности против сковывавших ее авторитетов; провозглашение „естественных прав человека и гражданина“ декларациями американской, а затем французской революции констатировало затем принципиальную победу идеологов свободной, автономной личности. Политическая экономия физиократов и Адама Смита систематизировала новое понимание народного хозяйства, построенное на той идее, что индивидуум есть единственный субъект экономической деятельности, а личная выгода—ее регулятор. Наконец, философия материалистов, Юма, Канта, подводя итоги вековому движению мысли, в различных версиях и оттенках, представила индивидуума, как центр и носителя всякого опыта: для нее это единственный субъект и практики, и познания, и моральной и эстетической оценки; свободное проявление и развитие сил личности — единственный идеал.

Меновой фетишизм и производный от него фетишизм абсолютных ценностей в познании, эстетике, морали, служит, как мы видели, необходимым дополнением индивидуализма: он маскирует в индивидуалистической психике социальную сторону человеческой активности, без чего эта психика была бы обречена на очевидные, притом безысходные противоречия. Понятно, что раз-

вение обоих элементов буржуазного сознания должно было итти параллельно и завершиться приблизительно в одно время. Так оно и было в действительности.

В экономической жизни эволюция денежных знаков ясно обнаруживает насколько углубился и укрепился меновой фетишизм в начале промышленно-капиталистического периода. Именно тогда впервые получили широкое распространение бумажные деньги, именно тогда, следовательно, вполне сложилась самая психология бумажно-денежного обращения. В ней, субъективно, для товаропроизводителя меновая ценность окончательно отрывается от социально-трудовой стоимости и практической полезности товара, превращается в нечто вполне отвлеченное, в нечто абсолютное, и тем самым — в нечто символическое. В юмовской теории денег эта точка зрения была отнесена и к настоящим, металлическим деньгам, материальность которых, таким способом, оказалась символом символической ценности товаров. Тут перед нами та крайность абстрактного извращения экономических фактов, дальше которой итти нельзя, и которая даже не могла упрочиться в жизни.

Приблизительно в ту же эпоху развивалась буржуазно-классическая теория трудовой стоимости. Но было бы глубокой ошибкой считать эту теорию преодолением менового фетишизма. Без сомнения, она установила эмпирическую зависимость меновых пропорций от количества труда, потраченного на товары. Отсюда, однако, еще далеко до разоблачения менового фетишизма. Теория буржуазных классиков остается индивидуалистической в своей основе. Мысление фетишиста заблуждается относительно субъекта меновой ценности, который есть — само общество. В этом отношении буржуазные классики по-прежнему фетишисты. Для них меновая ценность — свойство товара, только зависящее от труда. В действительности же она — свойство социальной системы. По их мнению, раз продукт произведен, он тем самым уже обладает и меновой ценностью, соответственной количеству затраченной работы. На деле же меновая ценность определяется в самом своем существовании строением общества, ибо продукт обладает ею только при анархической, меновой организации общества; а в своей величине ценность определяется социально-техническим уровнем развития, ибо ее создает только общественно-необходимый труд. Буржуазным экономистам эта точка зрения была чужда, потому что иного, выс-

шего строения социальной системы, чем меновая, они себе не представляли, а социально-трудового единства, как индивидуалисты, видеть не могли. Вот почему их исследования могли дать хороший подготовительный материал для критики фетишизма, но отнюдь не самую эту критику, так как она необходимо являлась бы принципиальным разоблачением буржуазного общества.

В области познания, морали, эстетики решительная победа абстрактного фетишизма и его высшее развитие выразились в создании, в широком распространении антирелигиозных и безрелигиозных мировоззрений. Их сторонники стремились уже не к реформированию религий, а к замене их философией и научным знанием. На место конкретно-властных абсолютов прошлого выдвинуты были отвлеченные абсолюты, чистые идеалы; на место призрачных продуктов воображения — схематические продукты абстракции. Работы философов здесь также лишь более законченno и связно отразили тенденции массового буржуазного сознания. То, что в эпоху торгового капитала было редким индивидуальным исключением, здесь стало широкой волной общественной мысли.

Один из главных результатов анархической раздробленности общества состоит в том, что мировоззрения людей не принимают однородной, социально-сплошной формы, как это было с религиозными системами патриархальных и феодальных формаций, когда опыт миллионов людей стереотипно укладывался в рамки одних и тех же общеобязательных образов и концепций, одной и той же „веры“. В буржуазном обществе мировоззрения по форме индивидуальны: каждый имеет „свое собственное“, т.-е., обладая известной долей социально-накопленного опыта, более или менее случайной комбинацией его ключков и обрывков, пользуется для ее систематизации субъективно наиболее подходящими схемами и понятиями, усвоенными, обыкновенно, также более или менее случайно. Эта мнимая самостоятельность индивидуальной мысли, растущая вместе с дроблением общества и усложнением его опыта, прикрывает, как бы маскирует мировоззрения классовые и групповые; их обнаруживает лишь абстрактный анализ, выделяя их как преобладающие тенденции среди пестрого хаоса индивидуальных мнений и стремлений.

Расцвет индивидуализма и менового фетишизма отнюдь не устраниет окончательно из бесчисленных „индивидуальных“ мировоззрений разнообразных остатков иных типов общественного

сознания. Так, напр., значительное большинство людей и тогда продолжает причислять себя к сторонникам тех или иных религий. Победа и господство буржуазного сознания выражается в том, что, с одной стороны, его тенденции получают очевидное и сильное преобладание над всякими иными, с другой стороны, что эти иные тенденции, удерживаясь все в большей мере механически, теряют влияние на практику людей и на ход общественного развития. Стоит только представить себе, как мало руководятся в жизни религиозными принципами даже люди искренно считающие себя религиозными, не говоря уже о том, что для еще большего числа людей эти принципы и в сознании выступают лишь как условные фразы.

Это особенно важно в том отношении, что консервативная сила, свойственная элементам авторитарной идеологии, даже при их сохранении становится все более незначительной, все менее способной замедлять и стеснять экономический прогресс общества.

b) Развитие науки.

В области познания фетишизм абстрактного воплощается в идеализме чистой истины; истину он представляет, как силу, которая существует независимо от людей, и возвышает овладевшего ею над другими, дает ему особенное могущество. При господстве индивидуализма и конкуренции такой взгляд на познание как нельзя более благоприятен для научного прогресса, и сильно способствовал тому накоплению колossalного познавательного материала, которым характеризуется эпоха промышленного капитала; основу же этого накопления составляет, как мы знаем, развитие техники производства.

Общественное разделение труда наложило свой отпечаток на строение науки. Хотя ее задача — систематизация, объединение человеческого опыта, тем не менее прогресс науки, вплоть до позднейших стадий капитализма, сопровождался ее дроблением на специальные отрасли. Каждая отрасль отрывалась при этом все более как от других научных специальностей, так и от того технического процесса, из которого она выросла, приобретая „самодовлеющий“, т.-е. отвлеченный от жизни характер: в сознании людей наука утрачивала не только черты социального, но и черты реально-трудового приспособления. Специализация, таким образом, еще углубляла фетишизм познания, вытекавший из тру-

довой неорганизованности общества.¹ Эта сторона познавательной эволюции очень важна для понимания роли науки в производстве, и мы иллюстрируем ее на примере одной из наук наибольшего социально-экономического значения и наибольшей кажущейся отвлеченности,—на примере астрономии.

Мы уже знаем, что до-научные зачатки астрономии служили для людей эпохи бродячего и кочевого быта способом ориентировки в пространстве при перемещениях — отыскание пути по солнцу и звездам, а при земледельческом оседлом быте преимущественно методом ориентировки во времени — определение сроков полевых работ, и т. п. В странах древних цивилизаций, в долинах великих рек религиозная жреческая астрономия развилаась в силу необходимости более точного вычисления времени для предвидения и регулирования колебаний водного уровня, от которых зависело плодородие почвы и вся судьба общества. В начале Нового времени переход астрономии в высшую научную fazu был вызван потребностями торгового капитала с его океаническим мореплаваньем и дальними путешествиями. В настоящее время на астрономических методах основана вся организация труда, поскольку она требует распределения рабочего времени и точности пространственных отношений производства. Без главного и всеобщего астрономического инструмента — часов, и постоянной его проверки научными фабриками — обсерваториями, невозможны были бы не только железно-дорожные расписания, как это очевидно с первого же взгляда, но и вообще все расчеты необходимого времени каждой трудовой операции, темпа работы машин и т. д., — расчеты, на которых держится машинная техника крупных предприятий во всех отраслях промышленности. Без астрономически-углеродных приемов немыслимо то изучение земных рельефов, которое требуется для проведения железных дорог, гигантских каналов, туннелей и т. д.; те же самые приемы применяются в постройке больших зданий, точных инструментов и пр. Вся система измерений, принимаемая культурным человечеством, сводится к астрономически добытой единице — метру. На каждом шагу идеальная небесная наука выступает как реальный, земной организатор и регулятор производства.

Итак, если мы захотим наиболее объективно, т.-е. с точки зрения всей практики всего человечества, а не с точки зрения узкого опыта специалистов, определить, что такое астрономия, то мы должны будем сказать так.—Обществу, в его трудовой

борьбе с природою для целесообразного направления и координации его сил постоянно необходима верная ориентировка в пространственных и временных отношениях. Надежную опору для такой ориентировки оно нашло в комплексах, называемых обыкновенно „небесными явлениями“ и отличающихся наибольшей устойчивостью взаимоотношений, наибольшей правильностью и периодичностью движений. Это зависит от гигантских размеров и масс астрономических тел, от их колоссальных взаимных расстояний, исключающих всякое значение мелких и случайных влияний. Следовательно, астрономия есть основанный на наблюдениях над крупнейшими телами вселенной метод пространственной и временной ориентировки человеческого труда¹⁾.

Аналогичным образом и всякая другая „чистая“ наука, от математики до социологии, при рассмотрении с социально-производственной точки зрения, оказывается исторически-выработанным способом удовлетворения определенных технических или организационных потребностей общества. Но совершенно в ином виде представляется она типичному специалисту, который основу ее находит в удовлетворении „чистой“ познавательной потреб-

¹⁾ Обычное понимание астрономии как „науки о небесных телах“ недодно даже с чисто логической стороны. Понятие „неба“ соотносительно понятию „земли“, а между тем в астрономии сама земля также фигурирует, как одно из „небесных тел“.

Само собою разумеется, что не каждое астрономическое наблюдение, не каждое из накапляемых этой наукой данных и наблюдений находится в непосредственной связи с указанной основной ее задачей. Всякая наука есть система и служит орудием коллективного труда в своем целом, живет и развивается как целое, из которого нельзя вырывать отдельные клоочки и доказывать, что они в отдельности не выполняют функции целого. Это было бы приблизительно то же самое, как если в сложном техническом механизме считать орудием производства только рабочий инструмент, непосредственно воздействующий на объект обработки, а различные части аппарата, которые служат для связи механизма, для контроля, для уменьшения трений и пр., признавать лишними или „самодовлеющими“. Ко всякому живому организованному комплексу, стало быть, и к науке то же самое относится в еще большей степени, чем к машине.

Вообще же очевидно, что если великие космические тела сделаны орудиями пространственного и временного регулирования системы труда, то всякое изучение этих тел сводится к стремлению полнее овладеть этими орудиями, и только (сознаваемому или фетишистически замаскированному—это безразлично для объективного анализа). Такой взгляд вполне подтверждается указанными важнейшими этапами прогресса астрономии.

ности и приписывает ей принципиальную независимость от обычной трудовой практики. Науки технические не вызывают такой иллюзии, потому что каждая из них связана с отдельной, также специализированной отраслью производства; науки же общие применяются, как мы видели, в самых различных отраслях одновременно. Но зато современный ученый большей частью и рассматривает науки технические, как простое „приложение“ общих наук, более или менее случайное для этих последних. Действительное же их отношение таково, что технические знания дали основу для обобщающих теорий.

Результатом специализации, происходящей рядом со всесторонним прогрессом трудового опыта, являются две особенности современных наук: во-1-х, подавляющее-огромное накопление их материала, во-2-х, плурализм научных методов.

Накопление материала в каждой науке так велико, что для серьезного ее специального изучения требуются обыкновенному человеку долгие годы, и часто бывает мало целой индивидуальной жизни. Это ведет к большой замкнутости групп специалистов, посвящающих себя разработке той или иной дисциплины; лишь в редких случаях специалисты оказываются способны охватить в своей деятельности две-три отрасли знания; всего же чаще они совсем не выходят из рамок своей отрасли и мало что в состоянии понимать за ее пределами: они обречены на большую культурную ограниченность.

Этой цеховой ограниченностью людей науки поддерживается и закрепляется множественность познавательных методов, недостаток живой связи между ними. Каждая отрасль, оперируя с самого начала своими особыми приемами, в дальнейшем развивает их односторонне, не сближаясь с другими отраслями, не заимствуя из их методов и точек зрения того, что для нее могло бы быть полезно, что зачастую могло бы дать сильный толчок ее развитию. Крупнейшие перевороты в науке происходили таким образом, что применялись новая точка зрения, новый прием исследования, уже раньше существовавшие в какой-нибудь другая отрасль познания, либо в какой-нибудь отрасли производства. Достаточно вспомнить, как Ньютон преобразовал астрономию, опираясь на исследования Галилея и других в области механики (движение падающих тел), как Лавуазье пересоздал химию, применивши в ней метод точного взвешивания, взятый им из тогдашней физики, но и в физику проникший из техники

горного дела, с одной стороны, торговли—с другой¹⁾). И что-ли бы взять примеры более близкие—перенесение Дарвином в биологию точки зрения борьбы за существование, которая раньше была формулирована Мальтусом для политической экономии, использование Марксом для социальных наук философского метода диалектики, роль физиологических методов в новейшей, экспериментальной психологии и т. п. В каждом таком случае главная трудность заключалась в том, чтобы преодолеть цеховую узость кругозора, свойственную специалистам; и героями науки при этом являлись люди исключительно широкого разностороннего опыта. Истинные специалисты каждой науки большей частью довольно долго не могут даже и понять смысла и значения новых для них приемов, хотя потом, вынужденные, наконец их признать и усвоить, начинают в свою очередь успешно ими пользоваться для дальнейшей разработки частностей.

Так, специализация, вначале совершенно необходимая для научного прогресса, затем, путем нагромождения материала и своей тенденции к обособленности методов, становится тормозом для этого прогресса, все в большей степени его замедляет и затрудняет.

Не менее важно и то обстоятельство, что подобная специализированная наука неизбежно бывает доступна лишь немногим: слишком много надо затратить времени и сил и материальных средств, чтобы овладеть ею. За немногими исключениями, только детям буржуазии практически возможно вступать в университеты и доводить до конца свое научное образование. Этим чрезвычайно суживается базис научного развития: ему могут систематически и планомерно служить только единицы из тысяч.

Между тем потребность в массовом распространении точных знаний постоянно возрастает. Научная техника современного производства уже не только от организаторов, его руководителей, требует таких знаний, но все в большей мере также и от работников-исполнителей; от их сознательного отношения к сложным механизмам машин, к физическим и химическим процессам,

¹⁾ В добывании благородных металлов и в торговле ими раньше всего возникла потребность в определении точного веса. Типична для характеристики условий, побуждавших физику ити к развитию этого метода, история о том, как Архимед должен был проверить количество золота и лигатуры в короне сиракузского тирана Гиерона, что повело к открытию гидростатического закона.

входящим в производственные операции, зависит экономический успех предприятий. Да и помимо того, прогрессирующее усложнение жизни предъявляет спрос на большее и большее количество практических знаний—в области гигиены, педагогии, наук юридических, социальных и т. д. На этой почве развивается широкая научная популяризация. Однако и она не в силах удовлетворить с достаточной полнотой запросы жизни: коренное противоречие, порождаемое отсталостью научно-культурного уровня масс от техники и экономики общества, остается, даже более того—постоянно обостряется.

Дело в том, что популяризация сама подчинена общему состоянию науки. При современном нагромождении научного материала она может из каждой специальности брать для массового распространения лишь ничтожную его долю; а при специализированной сложности методов она прямо неспособна—поскольку она есть именно популяризация—передавать их с такой полнотой и точностью, чтобы получалось действительное их знание, настоящее умение владеть ими. Дробный характер познания, утрата его живой и ясной связи с практикой тут выступают еще резче, ощущаются еще острее вследствие самого сужения захвата, вследствие вынужденного ограничения научной задачи. И, наконец, современная популяризация не только состоит из клочков, но и в свою очередь только клочками доступна огромному большинству людей: отдельных отраслей так много, что для трудящихся элементов общества не хватает времени и сил,—а чаще всего, и материальных условий,—для ознакомления с их популярными изложениями; что касается элементов паразитических, то они по самой своей социальной природе не тяготеют к широкому научному образованию, в котором практически слишком мало нуждаются.

Таково состояние науки и научной популяризации в буржуазной фазе их развития, особенно — на последних стадиях капитализма.

с) Упадок индивидуализма и менового фетишизма.

Индивидуализм был порожден, как мы знаем, распадением примитивного социально-трудового единства, благодаря обмену и конкуренции, на частно-хозяйственные единицы. Меновой фетишизм и его производные—разные формы абстрактного фети-

цизма во всех областях идеологии—представляют те оболочки, в которые, при господстве индивидуализма, необходимо одевается коллективная сторона бытия и сознания людей, и без которых она оказалась бы в безысходном практическом противоречии с условиями социальной борьбы. Обе эти стороны буржуазного мышления, достигнув высшего развития в конце мануфактурного периода капитализма, на почве борьбы с формами низшими, авторитарно-феодальными, начинают склоняться к упадку в машинном его периоде, на почве борьбы с нарождающимися высшими формами—коллективно-пролетарскими.

Машинная техника сделала пролетариат носителем нового типа сотрудничества. Специализация мануфактурной эпохи, разъединяющая людей и суживающая их опыт, постепенно переносится с человека на машину; психическое содержание труда у работников при различных машинах становится все более сходным, сводясь по преимуществу к регулированию движений машины, к функциям контроля и надзора, к работе внимания и соображения. Этот своеобразный синтез организаторского труда с исполнительским, „умственного“ с „физическим“ развивается параллельно усложнению и совершенствованию машин, по мере того, как они приближаются к типу автоматических механизмов. Сходство условий и способов труда сближает работников и увеличивает их взаимное понимание; на этом прежде всего основывается их товарищеское сознание. При его наличии одинаковая позиция по отношению к капиталу делается могучим стимулом дальнейшего сближения работников, их прогрессивного сплочения под знаменем общих интересов; при этом связь их выходит за пределы отдельных предприятий, и в своем расширении стремится стать обще-классовой, чему способствует подвижность рабочих рук, текучесть их состава в предприятиях, зависящая от пульсаций рабочего рынка. Отсюда могучая организационная тенденция, овладевающая рабочими массами, возникновение в их среде коалиций, союзов, партий и других группировок, объединений сначала местных, затем областных, национальных, международных. Так, шаг за шагом, в труде и борьбе создается, в классовой форме, новый коллектив.

Вполне естественно и понятно, что внутри классового коллектива начинают вырабатываться формы мышления, соответствующие его строению, ослабляя, а затем разрушая не только индивидуалистические, но и связанные с ними фетишистические

элементы сознания. Легко проследить механизм этого крушения.

Прежде всего, отдельная личность перестает приниматься за независимый центр интересов и активности. Для пролетария очевидно, что и производственный процесс, и социальная борьба ведутся коллективно, что ни здесь ни там индивидуум, взятый обособленно от других, ничего жизненно-важного осуществить не может. Вместо индивидуальной карьеры целью работника становится поэтому общая победа; дух конкуренции сменяется духом солидарности; буржуазное представление об обществе, как организованной войне всех против всех, сменяется представлением о борьбе классов за их жизненные интересы, за условия их социальной силы и развития.

Частная собственность, основное воплощение индивидуализма, оказывается для рабочего силой не только чуждой,—ибо сам он сколько-нибудь устойчивой собственности не имеет,—но и глубоко враждебной: в виде собственности капиталиста на средства труда она является орудием эксплоатации рабочего, орудием его подчинения чужой власти. Фетишизм частной собственности, заключающийся в ее понимании, как связи между собственником и принадлежащей ему вещью, не может удержаться в сознании пролетария, который постоянно имеет дело с орудиями, собственники которых практического отношения к ним не имеют и часто их даже не знают.

Обмен для рабочего уже не есть абсолютно-необходимая форма жизни общества, нечто само собой разумеющееся и не подлежащее критике. Тот акт обмена, который играет в его жизни главную роль—продажа рабочей силы—неразрывно для него связывается с эксплоатацией, с вынужденным подчинением капиталисту.

Меновая стоимость товара не воспринимается пролетарием фетишистически, как имманентное свойство товара самого по себе; она понимается неизбежно, как результат кристаллизации коллективного труда, потому что пролетарский коллектив есть непосредственный творец товара вместе с его стоимостью.

Нормы морали и права рано или поздно сбрасывают в глазах пролетария свою оболочку абстрактного фетишизма. Практика социальных конфликтов убедительно демонстрирует ему, какие реальные интересы скрываются за этими нормами. Буржуазно-классовый характер господствующей этики и законов рабо-

чий слишком часто ощущает на собственном опыте, чтобы долго верить в их абсолютную, не зависящую от людей силу и ценность.

Фетишизм истины отступает более медленно, для его преодоления требуется большая сумма накапливающегося классового опыта. Но все же в обеих областях своего общественного бытия пролетариат находит опору для раскрытия этого фетишизма. С одной стороны, научная техника машинного производства практически показывает ему, что знание—не что иное, как одно из орудий коллективного труда, орудие руководства в борьбе с природою. С другой стороны, в борьбе между классами общества столкновения различных идей, признаваемых то за непреложную, даже очевидную истину, то за явное заблуждение, в зависимости от классовой позиции людей, обнаруживают полную социальную относительность истины. На месте фетиша „чистой“, надчеловеческой истины вырабатывается понятие об истине всецело человеческой, коллективно-практической по своему генезису и значению.

Новое сознание, коллективистическое и свободное от фетишизма, создается вместе с развитием и организацией самого рабочего класса, ценою массы усилий и исканий, с величайшей последовательностью, порою с большими замедлениями, но неизбежно создается как необходимое приспособление рабочего класса к условиям и потребностям его трудовой жизни. При этом старые формы мышления подрываются и вытесняются не только в среде пролетариата. Они подвергаются разложению также в среде господствующих классов. Там этот процесс не имеет такого прогрессивного, творческого характера и протекает совершенно иными путями, являясь, однако, отражением тех же общих соотношений капиталистического развития.

Буржуазия вынуждена отстаивать свою позицию в обществе против нового коллектива, как некогда завоевывала ее против феодальных классов. Но в те времена положительная роль буржуазии в системе производства возрастала, ее борьба объективно была направлена к освобождению производительных сил общества, индивидуализм преодолевал консервативную силу отжижающего авторитарного принципа организации. Теперь его положение как раз обратное: ему противостоит новый и высший принцип сотрудничества,—коллективизм,—представляемый наиболее производительным классом общества,—пролетариатом; буржуазия

же фактически утрачивает мало-по-малу свои социально-трудовые функции, тенденция к паразитизму овладевает ею, как в свое время—феодальными классами. На этой основе начинается социальное вырождение буржуазии, а с нею и того культурного принципа, носительницей которого она является, при помощи которого она организована.

Буржуазные классы отнюдь не перестают быть индивидуалистичными, в их среде личность остается центром всех интересов и стремлений, объективно даже гораздо больше, чем это было раньше, потому что гораздо глубже и полнее проникается узким эгоизмом, как обычно случается с теми классами, которые идут к упадку; смутно ощущая растущую опасность, надвигающуюся грозу, неизбежность своего социального существования, они деморализуются и теряют свой классовый идеализм, свою духовную сплоченность; каждый думает о себе, и если даже объединяется с другими против общего врага, то смотрит на других не как на равноценных себе сотрудников, а только как на средство самозащиты, всегда готовый изменить им, если это будет выгоднее. Не случайно один из выдающихся дельцов синдикатного движения капиталистов характеризовал синдикат как союз врагов, вынужденных итти заодно, но не отказывающихся от мысли проглотить друг друга. Но такая точка зрения уже не есть индивидуализм эпохи его расцвета и побед,— это его упадочная форма.

В самом деле, тот первоначальный индивидуализм был не просто эгоистическим настроением, а прежде всего новым типом организации, за который люди боролись вовсе не для себя лично, но также и для других,—социальным идеалом, который мог воодушевлять людей и на героическую борьбу, на самоотверженные подвиги. В этой принципиальной своей форме индивидуализм скрывал много элементов коллективизма, хотя суженного и замаскированного абстрактными фетишами. Теперь же он принимает все в большей мере беспринципный характер, из социального идеала превращается в метод личного поведения, из веры в личность вообще, из защиты прав и достоинства всякой личности становится голой заботой о своей личности, при полном равнодушии к судьбам других. Тут нет почвы для героизма—его заменяют карьеризм и хищничество; нет места для практического самоотвержения, есть постоянная готовность жертвовать для не-посредственной выгоды не только другими людьми—это мог делать

и старый индивидуализм,—но во имя принципов,—а самыми принципами, идеалами, теми высшими фетишами, в оболочке которых жил несознаваемый коллективизм.

Это приводит нас к другой стороне деградации буржуазного сознания—к разложению его фетишизма. Всего ярче оно сказывается в области норм, т.-е. в этике, праве и политике. „Чистые“ идеалы прошлого здесь подрываются логикой классовой борьбы, потому что скрытые, в них элементы коллективизма оказываются опасными для самых жизненных интересов буржуазии: пролетариат очень легко делает из этих идеалов оружие против господствующего класса, обнаруживая на каждом шагу их непримиримое противоречие с буржуазной практикой; он требует от буржуазии, чтобы она последовательно проводила их в жизнь; а это было бы для нее отречением от себя самой, от условий своего господства.

Так, основной этический принцип индивидуализма—это свобода личности. Под лозунгом свободы буржуазия вела всю свою борьбу против феодальных отношений, его она написала на знамени своих революций. Но абстрактная схема „свободы“ заключает под своей индивидуалистической оболочкой социально-трудовую тенденцию: сплочение членов общества для устранения всех препятствий, стесняющих жизнь и развитие каждого из них. Естественно, что буржуазно-классовый строй такого сплочения не представляет, и пролетарий без труда может доказать, что у него нет материальной свободы самоопределения в договоре найма с капиталистом. Более того, по мере возрастания социальной силы пролетариата, буржуазия вынуждена сознательно посягать и на его формальную, юридическую свободу, т.-е. открыто подчинять свой отвлеченный идеал своему конкретному интересу. То же самое происходит и с такими нормативными концепциями, как равенство, справедливость и т. п. Практически ограничивая их значение рамками своего класса, буржуазное сознание поневоле отрекается от того абсолютного, надчеловеческого их характера, который составлял сущность и силу их фетишизма.

Вслед за фетишами „практического разума“ терпят крушение также фетиши „чистого разума“. Вера в абсолютную, не зависящую от людей истину разбивается о необходимость противопоставлять свою классовую истину той новой истине, которая растет в сознании пролетариата. Здесь опять получается такое

положение, что самые непререкаемые истины, добытые и признанные буржуазией, в руках ее врагов развиваются дальше и становятся оружием против ее интересов, против всей ее культуры. Отвлеченно-идеалистическая диалектика Гегеля переходит в боевую социально-материалистическую диалектику; политическая экономия буржуазных классиков дает опору для беспощадной критики капитализма со стороны утопистов и для пролетарски-революционной экономической науки Маркса; биологическая теория развития всех форм жизни подкапывает веру в неизменность основ современного общества; весь вообще прогресс познания обостряет и усиливает дух критики, дух разрушения и творчества, столь опасный для классов социально-консервативных, стремящихся сохранить условия своего господства. Возникает потребность обуздать стремительное движение человеческой мысли, отказаться от „истин опасных“ и „вредных“, выдвинуть против них убедительную апологетику. Буржуазное сознание направляется по этой линии, но когда приходится приспособлять идеи к земным и слишком земным интересам, фетишизму чистой, надзвездной истины нет уже места.

Обуздание растущей мысли допустимо лишь в авторитарной логике с ее религиозной формой мировоззрения. Отсюда псевдорелигиозные тенденции среди крупной буржуазии, поворот значительной ее части в сторону клерикализма. Пройдя на своем историческом пути школу просвещения и свободомыслия, опираясь в своей эксплоатации на научную технику, эта буржуазия, конечно, не способна к искренней религиозности, и даже идеологов для своей клерикальной пропаганды она находит, главным образом, не в своей среде, а между представителями более отсталых или более слабых социальных групп. Насквозь скептичная, она не может и рассматривать те учения, которые открыто поддерживает, иначе, как орудие своих интересов. Это не есть разоблачение фетишизма истины с исторически высшей точки зрения, но это также его отрицание—в виде распада, разложения.

Эта фаза буржуазного сознания резюмируется и оформляется в своеобразной философии упадка. Истиной признается все, что так или иначе практически удовлетворяет человека в его индивидуальном сознании: грубое, суеверие дикаря или невежественного крестьянина с этой точки зрения такая же истина, как самая точная формула науки; разница только в том, кому практически нужна и пригодна та или эта истина; возмож-

ность общечеловеческой истины тем самым отвергается. Для деградирующего буржуазного сознания истина представляется не как орудие победы над природою, завоевание стихий человеческим коллективом, а как орудие субъективно понимаемых, частных практических интересов. Поэтому тут нет коллективной истины развития, а есть только индивидуальная истина момента. Таким образом, все опровергнутые заблуждения, отжившие истины прошлого сразу реабилитируются и становятся равнозначными величайшим приобретениям науки,—лишь бы были на лицо люди, которых эти истины прошлого жизненно удовлетворяют. Отброшен фетишизм, но из страха перед новой угрожающей истиной отбрасывается, в сущности, и сама истина; декадентский скептицизм привлекается на службу суевериям и мистицизму, а практически—клерикальным тенденциям, анти-научной реакции¹⁾. Такова последняя философия буржуазии, систематизированная в школе „прагматистов“, но в своих элементах подготовленная уже давно, верно отражающая настроения широких кругов капиталистической буржуазии.

В сфере высших идеологических форм разложение буржуазного сознания проявляется всего резче и очевиднее; менее сильно поражает оно основную область этого сознания—меновой фетишизм в собственном смысле слова. Представление о меновой стоимости как внутреннем свойстве товаров может окончательно рушиться лишь с падением самой системы обмена в целом; пока обмен продолжает господствовать как основная жизненная функция буржуазных классов, меновой фетишизм подрывается только частично. Три основных влияния нарушают его чистоту и прочность.

Это, во-первых, стремительный ход технического прогресса при машинном производстве. Подобно „моральному изнашиванию машин“, на его почве возникает порою „моральное обесценивание товаров“, т.-е. устойчивое падение меновой стоимости уже

1) Как далеко зашел в этом направлении распад буржуазной мысли, о том свидетельствует размножение в столицах мира магов, гадалок, ясновидящих, и их огромный успех среди богатых слоев общества. Их главную клиентуру составляют отнюдь не какие-нибудь отсталые элементы буржуазии, крестьянские или мещанские,—хотя и те, разумеется, легко подпадают эксплуатации подобных шарлатанов, увлекаемые чужим примером,—пример показывают элементы рантьерские, можно сказать, наиболее „передовые“ среди буржуазии—в ее паразитическом вырождении.

произведенной массы какого-нибудь товара вследствие быстрого введения методов, радикально изменяющих условия его производства. „Внутренняя“ стоимость наличного товара испытывает весьма болезненный для его владельцев скачок благодаря „внешнему“ преобразованию социальной техники; и эта неустойчивость не может восприниматься как простое колебание цены от неблагоприятной конъюнктуры: владелец товара не может не сознавать, что дело идет о падении ценности, и падении окончательном.

Во-вторых, кризисы производства порождают настолько длительное резкое обесценивание массы товаров, что самая концепция ценности, как постоянной силы, внутренно присущей товарам, испытывает надрыв, теряет свою определенность: концепция эта опирается на относительное постоянство той нормы, к которой тяготеют колебания цен; а тут оно практически ускользает. Длительная потеря большой доли товаров их способности к обмену есть чувствительный намек самой жизни на возможность полной потери ими этой способности, смутный прообраз такой полной потери, т.-е. крушение самого менового общества.

Наконец, по отношению к одному важнейшему товару—рабочей силе—фетишизм ценности глубоко подкапывается развитием классовой борьбы. В ней пролетарий ни для самого себя, ни для капиталиста не является индивидуальным продавцом рабочей силы, а с течением времени и капиталисты, объединяясь в синдикатах, перестают быть индивидуальными ее покупателями. Необходимость организованной борьбы со стороны капиталистов за ту, а не иную оценку рабочей силы вынуждает их смотреть на ценность этого товара, как на результат соотношения борющихся социальных сил. Это, конечно, не есть еще раскрытие существа ценности рабочей силы, но тут нет уже места и ее наивно-фетишистическому, чисто рыночному пониманию: над безличностью рынка, над „свойством“ товара поднимаются воочию фигуры пролетарского коллектива и буржуазного контр-коллектива.

Аналогичным путем классовая борьба наносит удар и фетишизму частной собственности в буржуазном сознании. С одной стороны, благодаря завоеваниям пролетариата ограничивается для капиталиста возможность распоряжаться своей частной собственностью—капиталом. С другой стороны, буржуазия вынуждается к организованной классовой защите собственности вообще,

поскольку классовая атака пролетариата принимает определенный характер борьбы за социализм. При этом точка зрения на собственность, как на отношение человека к вещи, практически поневоле покидается, и живое содержание этой формы раскрывается как реальное соотношение социальных сил, борющихся одна за возможность эксплуатации, другая — против: понимание неполное, не охватывающее института собственности во всем его развитии, но достаточное для буржуазии на нынешней стадии, освобожденное от фешистического извращения.

Так под давлением пролетарского коллектива разрушаются старые формы буржуазной идеологии; но формы новые и высшие, коллективистические, остаются ей, разумеется, чуждыми и недоступными. Дело сводится к простому разложению буржуазной культуры, ее прежняя систематическая стройность уступает место разрозненности и противоречиям ее элементов; обнаженная от идеальных оболочек материальная выгода, понимаемая с паразитической точки зрения, остается единственным устойчивым центром в ее распадающейся ткани. Вместе с тем исчезает организующая сила этой культуры.

Процесс этот далеко еще не закончился, но его тенденции наметились как нельзя более отчетливо и усиливаются непрерывно.

d) Идеологическая борьба в эпоху промышленного капитализма.



Буржуазное общество отличается от предыдущих формаций по преимуществу революционным ходом своего развития. Стремительный прогресс техники вынуждает соответственно быструю выработку идеологических форм; различное положение в системе производства обусловливает для разных социальных классов резко расходящиеся направления, по которым идет эта выработка. Экономическое господство того или иного класса означает также и господство его культуры, означает подчиненное, практически стесненное положение других идеологий. Иначе и быть не может, если сущность идеологий заключается в их социально-организующей функции: общество, как целое, не может быть организовано сразу двумя или несколькими методами, взаимно друг другу противоречащими. Когда перевес силы от одного класса переходит к другому, то совершается революция: организующие

формы, существовавшие до этого момента в пригнетенном состоянии, освобождаются и регулируют жизнь общества, между тем как формы, которым эта роль перед тем принадлежала, подавляются, оставаясь лишь в качестве тенденций класса, потерявшего господство.

Так как в эпоху промышленного капитала формирование классов происходит наиболее быстро, их разграничение—наиболее резко, их борьба—наиболее открыто и систематично, то это и есть эпоха самых ярких и глубоких культурных революций. В них концентрируется вся жизнь этого исторического периода; его „органические фазы“ не только сравнительно очень коротки, измеряясь максимально одной-двумя сотнями лет, чаще же—несколько десятилетиями, но каждая из них всесильно тяготеет к определенной революции, каждая исторически подчинена ей, как своей „конечной цели“, представляя по существу своему прогрессивное накопление элементов и условий этой революции. Можно сказать, что здесь даже нет „органических периодов“ в том смысле, в каком о них говорится применительно к другим социальным формациям.

Отметим главные культурно-революционные этапы промышленного капитализма.

Мы видели, что революции торгового капитализма, обозначаемые общим именем „Реформации“, были, несмотря на свой суровый характер, полны колебаний и нерешительны по своим конечным результатам для большинства стран Европы. Причина лежала в самой природе социальной системы торгового капитализма, который опирается на эксплоатацию до-капиталистических форм хозяйства, и потому не может нанести им окончательного удара. Промышленному капиталу, таким образом, пришлось развиваться в условиях еще полу-феодальных, или, по крайней мере, при наличии огромного влияния только на половину обуржуазившихся феодальных сословий—помещичьего и духовного,—в полицейском государстве, основу которого составлял компромисс этих сословий с тенденциями торгового капитала.

Пока промышленный капитал находится в зародышевом состоянии, такая среда для него достаточно благоприятна. Бюрократия, ищащая прочных финансовых опор для своего бюджета, оказывает самую энергичную поддержку нарождающейся промышленности, всеми методами, какими вообще располагает: и таможенные тарифы, и монопольные концессии, и законы о ма-

ксимальной заработной плате, и беспощадное преследование безработных, загоняющее люмпен-пролетариат на мануфактуры, порою даже ссуды и пособия предпринимателям из государственной казны и т. под. Этот обширный арсенал мероприятий, однако, весьма ограничен в одном отношении: он не может выйти из рамок, определяемых природою полицейского государства, экономической—т.-е. его связью с интересами феодальных сословий, идеологической—т.-е. его авторитарным характером.

Огюда, по мере роста промышленного капитала, возникает и усиливается его противоречие со всей системою полицейского государства. Возрастающая эксплоатация масс помещичьим и духовным сословием, а также самим бюрократическим механизмом суживает поле эксплоатации для промышленного капитала, подрывая ближайший и главный для него „внутренний“ рынок; методы же управления, свойственные полицейскому государству, стесняют эту эксплоатацию непосредственно, не давая капиталу необходимого простора движений. Когда промышленный капитал твердо стал на ноги, тогда ему нужны и полная свобода предпринимательской деятельности и достаточная формальная свобода рабочей силы. Полицейское же государство не может отказаться от самой заботливой опеки, самого бдительного надзора за экономической жизнью вообще, за хозяйством капиталиста и за личностью работника в частности. Все это для бюрократии прежде всего—источники доходов, регулярных и нерегулярных. Развитие капиталистического богатства страны открывает в этом отношении новые и новые возможности, упускать которые добровольно бюрократия, разумеется, неспособна. Стоит только представить себе, какие огромные выгоды приносит ей система концессий, или хотя бы паспортная система, стесняющая столь важную для капитала свободу передвижения рабочей силы. К этому надо прибавить тот стихийный консерватизм, который свойствен бюрократии, как организации авторитарной, ту власть рутины, которая исключает живую гибкость, возможность быстро приспособляться к новым условиям и потребностям. При ускоренном темпе жизни этот консерватизм превращается в хроническую неумелость и порождает бесчисленные практические ошибки, в большинстве—мелкие, но и тогда ощутительно-вредные, временами же грандиозно-крупные, вроде невыгодных торговых договоров, а особенно — неудачных войн, с огромным разрушением производительных сил общества.

Наконец, по мере того как различные общественные силы промышленного капитализма вступают в борьбу против „старого порядка“, полицейское государство, стремясь удержать под ногами ускользающую почву, неизбежно усиливает свои опеку и надзор над обществом; всевозможные стеснения личной свободы возрастают, мирный ход жизни общества нарушается бесчисленными репрессиями, то придирчиво-мелочными, то озлобленно-жестокими. Попыткам компромиссов и уступок со стороны бюрократии энергично противодействуют стоящие за ее спиной полу-феодальные группы, нарушая или уничтожая нередко и уже достигнутые соглашения. Таким образом, развивающаяся общественная борьба в самой себе заключает условия своего обострения, вплоть до тех буржуазных революций, к которым она исторически тяготеет.

Основной метод организации общественных сил для этих революций есть собственно „идеология“, в виде освободительных доктрин, философских, социологических, политических, правовых, моральных. Эти доктрины распространяются в широких кругах общества и создают там единство настроения, дающее основу для сплоченных массовых действий в момент решающих конфликтов. Организации оформленные не развиваются сколько-нибудь широко на этой стадии классовой борьбы: с одной стороны, для них слишком неблагоприятна обстановка полицейского государства с его всепроникающим надзором и жестокими репрессиями; с другой стороны, в индивидуалистичном буржуазном сознании самое стремление к подобным организациям недостаточно интенсивно. Большой частью тогда возникают сообщества пропагандистского характера, идеино иногда очень влиятельные,—поскольку они успешно выражают складывающееся в массах общественное мнение,—но по численности своей совершенно небольшие с теми классами, идеологию которых они развивают, и неспособные руководить ими в их практике.

Идеология буржуазно-освободительных движений вся резюмируется в принципах индивидуализма: личная свобода, экономическая, гражданская, моральная. Эти концепции обосновываются разными теориями, порою очень между собою несходными, в своих предпосылках иногда даже противоречащими друг другу, но тем не менее приводящими постоянно к одним и тем же социально-практическим выводам. Если сравнить, напр., экономические взгляды физиократов и Адама Смита, то бросается в глаза различие

базиса, из которого те и другие исходят, материала, с которым они оперируют. В одном случае—крайнее преувеличение социальной роли земледелия, которое признается даже единственным производительным видом труда, в другом случае—усиленное выдвижение производительной функции мануфактур. Выводы, однако, и здесь и там сводятся к требованию экономической свободы, ничем не ограниченной конкуренции. В Адаме Смите легко сразу узнать идеолога промышленного капитализма, который в Англии подготовлял тогда завершение своих резолюций, уже выполнивших большую долю освободительной работы; физиократы же на первый взгляд могут показаться представителями совершенно иного, в своей основе аграрного экономического мировоззрения. А между тем и они были идеологами того же промышленного капитала, только в иной фазе и при иных условиях его развития. Франция была еще страной по преимуществу земледельческой, судьбы земледелия были для нее главным жизненным интересом; опираясь на ее действительность и обращаясь к широким слоям ее общества, физиократам было естественно и целесообразно сделать земледелие центральным пунктом своих теорий, тем более, что прогресс земледелия был необходим и для промышленности, которая в нем находила свой главный внутренний рынок. А финансовая программа, вытекавшая для физиократов из их посылок, заключалась в едином поземельном налоге, т.-е. в освобождении от налогов капитала промышленного и торгового, и в обложении, наравне с крестьянством, также помещиков и духовенства, земли которых тогда во Франции были почти освобождены от налогов: тенденция, очевидно, антифеодальная, и отнюдь не аграрная, а промышленно-буржуазная.

Этот пример может иллюстрировать нам одновременно и механизм выработки идеологических форм, и их роль в социальной жизни. Наличные для физиократов данные экономического опыта были ими сорганизованы в научную теорию; способ же и направление, в котором они были сорганизованы, определяются практическими потребностями того коллектива, к которому сознательно или бессознательно физиократы примыкали¹⁾. В области

¹⁾ И, конечно, также исторически сложившимися в этом коллективе формами мышления. Так, теории физиократов и Ад. Смита проникнуты духом абстрактного фетишизма, свойственного буржуазному сознанию,— представлением об абсолютном характере истин или законов, находимых ими для экономической жизни общества.

морали, права, философии другие теоретики брали другой материал социального опыта, но группировали и связывали в направлении тех же тенденций. Не иначе обстояло дело и в сфере искусства, поскольку оно становилось одной из форм освободительной идеологии. Так создавалась целая культура, многообразная в своих проявлениях, но единая по своему принципу, культура, которая воспитывала и организовала общественные силы для выполнения стоявших перед ними исторических задач.

Культура эта охватывала отнюдь не только класс капиталистов, и даже не была по преимуществу его созданием. Если она прокладывала крупной буржуазии путь к господству, то в то же время выражала объективные потребности общества, как целого, находилась в соответствии с необходимыми тогда условиями производственного развития. Поэтому на ней объединились все группы или классы, заинтересованные в таком развитии: буржуазная интеллигенция, которой старый порядок не давал простора в применении способностей и сил; городская и деревенская мелкая буржуазия, для которой противоположность интересов с крупным капиталом еще не определилась с достаточной очевидностью, а гнет налогов полицейского государства и произвола его бюрократии, вместе с остатками феодальной эксплуатации, достигал невыносимой степени; зародышевый пролетариат, будущее которого было неразрывно связано с прогрессом промышленного капитала.

Наиболее активная роль во всем движении принадлежала буржуазной интеллигенции. Капиталисты не были ни самой решительной, ни даже руководящей частью оппозиции. И в этом нет ничего удивительного. У капиталиста-предпринимателя конкретные интересы его частного хозяйства сильнейшим образом заслоняют интересы классовые. Революционная борьба, хотя бы он и сочувствовал ее целям, всегда пугает и отталкивает его, ибо она подвергает опасностям судьбу его предприятия, а значит всю его личную экономическую функцию, всю его социальную силу: в случае краха предприятия он—ничто. Интеллигент подвижнее; он не связан столь роковым образом с судьбою определенного предприятия; его интересы шире; даже его профессиональная карьера большей частью не может быть сделана в рамках одного предприятия, гораздо больше зависит от общего развития капитала и буржуазной культуры. Поэтому интеллигент лучше, чем

капиталист-предприниматель, способен представлять буржуазию, как социальный класс, в ее борьбе со старым порядком.

Главную боевую силу в эпоху самой революции дает буржуазно освободительному движению мелкая буржуазия, городская и сельская, вместе с еще не отделившимся от нее зародышевым пролетариатом. Если принять во внимание, что в результате революции, когда устанавливается окончательная равнодействующая различных общественных сил, именно этим элементам движения, как наиболее крайним и в то же время организационно-слабым, достаются лишь минимальные необходимые улучшения, то легко заметить, что картина буржуазных революций довольно точно воспроизводит систему экономической буржуазной эксплоатации: наименее активная роль, а за нее—социальное господство выпадают на долю капиталистов; практическим организатором борьбы выступает та же интеллигенция, из которой капиталисты черпают организаторские силы для своих предприятий; наконец, мелкая буржуазия, работающая на торговый капитал, и пролетариат, работающий на капитал промышленный, здесь также выполняют за них самое дело, предоставляя им его реальные выгоды.

Буржуазных революций обыкновенно бывает не одна, а несколько в каждой стране. Полная и цельная система буржуазной организации не создается сразу, особенно на тех ступенях развития капитала, когда буржуазные тенденции впервые разрывают рамки полицейского государства. Имеется целый ряд отсталых социальных групп, отсталых элементов внутри передовых классов. В своей наступательной фазе революция не может их учитывать, ибо они тогда либо пассивно остаются в стороне от борьбы, либо пассивно вовлекаются в нее, частью становясь на сторону одного лагеря, частью—на сторону другого. Но в последнем учете результатов борьбы, при завершении кризиса, и они должны оказать свое влияние на равнодействующую; на них и опирается та реакция, которой обычно оканчивается буржуазная революция. Вдохновителем же реакции выступает сам капитал, который требует спокойствия и равновесия для своих экономических функций и, получив наилуче для него необходимые реформы, становится враждебен революции, как таковой.

Таков основной тип буржуазных революций, которому приблизительно соответствует, напр., Великая французская. Это—революции сравнительно раннего периода промышленного капи-

тализма¹⁾). В позднейших его стадиях они получают некоторые новые черты, зависящие от выступления на историческую арену пролетариата, как самостоятельного класса, с особыми задачами, отдельной идеологией, независимой организацией.

С одной стороны, самая подготовка этих революций не описывается на единую освободительную культуру, а идет двумя идеиними потоками, прогрессивно-буржуазным и пролетарским, вначале разделяющимися слабо, а затем все сильнее и сильнее. С другой стороны, в этих общественных движениях возрастающую роль начинают играть оформленные классовые организации, экономические, политические и культурные.

Здесь, однако, нельзя смешивать запоздалые освободительные революции, направленные против полицейского государства в странах, где оно удержалось до эпохи значительного развития машинного производства с его пролетариатом, и зародышевые революции, направленные против самого буржуазного строя. Типом первых является российская в ее фазе 1905—1906 годов; типом вторых, до недавнего времени,—Парижская Коммуна.

В случаях первого рода подготовительный период характеризуется фактическим созданием двух принципиально-различных освободительных идеологий при постоянных попытках их смешения и слияния. Буржуазная интеллигенция, представительница обще-классовых интересов и задач буржуазии, естественно, стремится и здесь удержать за собою культурно-руководящую функцию; а для этого ей особенно важно получить влияние на пролетариат, наиболее способную к организации, наиболее активную силу освободительного движения. Но достигнуть такого влияния она не может, пока остается на почве старых прогрессивно-буржуазных доктрин, с их формально-абстрактными методами, с их отвлечеными идеалами с их всепроникающим фетишизмом. Все это не соответствует собственным культурным тенденциям пролетариата, в котором практика жизни подрывает всякий фетишизм, и перед которым она ставит задачи не только формального, но

¹⁾ Великая английская представляет переходную форму между Реформацией, т.-е. революцией торгового капитализма, с классовыми идеологиями, еще не освободившимися от религиозно-сектантских оболочек, и настоящими революциями промышленного капитализма. К обрисованному выше типу этих последних более или менее подходят германские 1848 года, недавняя португальская, турецкая, китайская и та национальная революция, которая готовится теперь в Ост-Индии.

еще больше—материального освобождения, при чем именно вторые выступают как основная цель, а первые—как необходимое, но подчиненное средство. И вот, интеллигенция старается связать во-едино или, по крайней мере, совместить свои либеральные и демократические концепции с социальными доктринаами вырабатывающейся пролетарской идеологии, при возможно большем, разумеется, смягчении и ослаблении последних; это так называемые марксистские увлечения интеллигенции, наблюдавшиеся у нас в России в конце прошлого и в первые годы нынешнего века.

Временно таким путем достигается на деле идеальная гегемония интеллигенции. Но только временно. По мере того как пролетариат вносит в борьбу свои особенные методы и подчеркивает свои особенные требования, буржуазной интеллигенции, как представительнице интересов буржуазного класса в целом, становится все труднее, а затем и прямо невозможно поддерживать свою связь с пролетариатом. Ее отталкивает его настойчивое стремление укрепить в общей борьбе свою политическую силу и осуществить свои экономические интересы к неизбежному ущербу предпринимательских групп; ее пугает неуклонная решительность его тактики, особенно же тот прием, который заключается во временной остановке всей экономической жизни страны—всеобщая забастовка: это проявление реальной классовой власти пролетариата над производством воспринимается, как величайшая угроза для всего буржуазного строя. Буржуазная интеллигенция порывает с пролетариатом на первых же шагах действительной революции: от имени буржуазии в целом она объявляет его „врагом слева“ и отрекается, как от ереси, от всех родственных ему доктрин.

Но пролетариат, освобожденный от опеки, оказывается со своей самостоятельной тактикой и организацией конкурентом буржуазной интеллигенции в деле руководства освободительным движением. Самые многочисленные массы населения—мелко-буржуазные слои города и деревни,—как наиболее страдающие от старого порядка и в то же время от власти торгового капитала, обнаруживают склонность усвоивать вслед за пролетариатом самые решительные формы борьбы, хотя, будучи по своей социальной природе собственниками—фетишистами, сохраняют и тяготение к своей традиционной руководительнице—буржуазной интеллигенции. Колебания этих масс между гегемонией буржуазной интеллигенции, сдерживающей и тем самым в корне обессиливающей

их порывы, и гегемонией рабочего класса, с противоположной тенденцией, определяют собою колеблющийся ход такого рода революций, их отступления и подъемы.

Как видим, так называемая „политическая трусость“ прогрессивных буржуазных партий и готовность их идти на всякие соглашения с феодально-бюрократическими группами, с явным отказом от своих программных лозунгов, отнюдь не есть простая психологическая черта буржуазной интеллигенции, а необходимое классовое приспособление; это—тенденция к „наименьшему злу“,— наименьшему с точки зрения буржуазии в целом, которой приходится выбирать между социальными силами прошлого, только стесняющими для нее хозяйственное развитие, и силами будущего, которые угрожают самому ее существованию.

От той же „трусости“ и „умеренности“ буржуазно-либеральные партии нашей эпохи отрекаются чрезвычайно легко, как только дело заходит о борьбе с зародышевыми формами революций, направленных против самого капиталистического строя. Там решительность методов и программная устойчивость, не идущая ни на какие компромиссы, проявляются этими партиями в полной мере.

Характер революций последнего типа можно в настоящее время наметить только в самых общих чертах. Парижская Коммуна была лишь очень отдаленным их прообразом. Осада гигантского города, с миллионным населением, с многочисленным пролетариатом и еще более многочисленной мелкой буржуазией, поставила перед населением, экономически отрезанным от внешнего мира, исключительно трудные и сложные организационные задачи. Поддерживать жизнь города в этих тяжелых условиях было невозможно на основе обычной экономической анархии буржуазного мира; необходимо было как можно планомернее организовать наличные силы и средства, их применение и распределение. Мелкая буржуазия, аморфная масса человеческих атомов, была бы сама по себе бессильна разрешить эту задачу. Пролетариат применил к делу свои, тогда еще мало развитые, организационные методы и навыки, хотя и в этом был стеснен своим сотрудничеством с мелкой буржуазией. Но буржуазия капиталистическая, с ее интеллигенцией, сразу почувствовала громадное принципиальное значение этой, исторически вынужденной, организационной попытки. Оттого подавление Коммуны было таким истребительно-беспощадным.

Исключительность условий, которыми порождено было движение Парижской Коммуны, объективная преждевременность его задач не позволяют делать из этого, хотя и грандиозного эпизода классовой борьбы, широких и решительных выводов относительно предстоящих социальных коллизий этого типа. Их подготовительная фаза обрисовывается теперь уже достаточно ясно: она характеризуется стремительным созиданием пролетарских классовых организаций и особой пролетарской идеологии, попытками организации контр-коллектива со стороны буржуазии, но в тоже время распадом ее старой культуры.

Задачи социального строительства, которые должны быть выполнены в заключительных фазах, так огромны и сложны, что их трудно даже сравнивать с задачами буржуазных революций: там дело шло об освобождении человеческих атомов для образования анархичного экономического комплекса, здесь требуется привести эти бесчисленные атомы к гармоническому единству всесоветского коллектива. Сама собою понятна необходимость предварительной выработки для этого особой культуры, концентрирующей весь прежний и новый опыт человечества, и в то же время постройки оформленных, сплоченных организаций, охватывающих все стороны классовой жизни.

Можно с уверенностью сказать, что окончательные коллизии будут происходить не в национальном, а в мировом масштабе: связь мирового рынка уже теперь так глубока, что переход какой-либо крупной капиталистической нации к новым формам хозяйства подорвал бы в корне его равновесие.

Можно предвидеть упорный и длительный характер борьбы, изменчивую позицию элементов, промежуточных между двумя главными классами, рецидивы жестокой реакции вследствие неудач отдельных социально-организационных попыток. Но ни прежние формы социального равновесия, ни жизненность старой культуры не могут быть тогда восстановлены, как показывает весь исторический опыт человечества. Создание новой системы жизни — необходимость развития¹⁾.

¹⁾ Глава эта была написана в 1910 году; оттого в ней не говорится о новейших революциях. Автор не переделывал ее ни в издании 1918 г., ни в нынешнем, находя, что ее выводы подтверждаются жизнью.

X. Теория мирового военного кризиса.

а) Характер организации финансового капитала.

Основная форма капитала—производственная—не только материальна, но и весьма массивна: здания фабрик и заводов, со множеством машин и орудий в них, с огромными запасами угля, железа, хлопка и иных материалов... Эта материально-массивная форма уже сама по себе является моментом, затрудняющим и замедляющим объединение капитала, так как ограничивает его реальную подвижность. Напр., техническая неоднородность предприятий, передовых и отсталых—одно из главных препятствий к их синдикации и, тем более, трестированью—может преодолеваться лишь длительным техническим процессом.

В этом отношении кредитный капитал с его по преимуществу символической формой обладает огромным преимуществом. Его организационная подвижность и позволила ему сыграть объединяющую роль по отношению к капиталу промышленному, путем срастания с ним в системе капитала финансового. Но для этого было необходимо, чтобы создалась мировая конъюнктура, при которой на стороне кредитного капитала оказался перевес силы над промышленным, ибо в капиталистическом мире, построенным на борьбе и на власти, руководящую функцию может выполнять только та сторона, которая силою захватит ее.

Такая конъюнктура в общем и сложилась к концу XIX века. Кредитный капитал нужен промышленному, и промышленный—кредитному. По закону спроса-предложения экономически сильнее тот из двух контрагентов, который нужнее для другого, чем обратно. Именно по этой причине торговый капитал должен был подчиниться промышленному, который в крайнем случае

может совсем без него обойтись, а сам для него необходим. И капитал кредитный был, в общем, слабее промышленного, пока не стал ему особенно, до крайности, необходим.

Это произошло благодаря крайнему обострению конкуренции, когда все рынки мира оказались настолько заполнены, что дальнейший их рост мог идти лишь весьма постепенно, органическим путем. Чем острее борьба за рынок, тем важнее для каждого промышленного предприятия кредитная поддержка; она позволяет быстро расширять предприятие и совершенствовать технику, пережидать неблагоприятные цены и т. п.; побеждает тот, кто лучше вооружен кредитом. Между тем сам кредитный капитал организовался и объединялся, по своей гибкости, гораздо быстрее промышленного, и для него острота конкуренции, следовательно, не повышалась в такой мере. Так создалось мало-по-малу положение, при котором он стал в общем диктовать условия. А раз это случилось, дальнейшее развитие руководящей его роли [пошло с возрастающей скоростью—каждый следующий шаг был уже легче предыдущего. На этой основе и произошло „срастание“ обоих типов капитала.

Надо, однако, принять во внимание, что если система финансового капитала за такой короткий срок—полтора, два десятилетия—успела овладеть мировым хозяйством, то это объясняется не только огромной гибкостью ее форм, но и сравнительно неглубоким характером ее преобразующего действия. Чтобы ясно это представить, полезно сравнить организующие функции треста, обыкновенного синдиката и финансового концерна.

Трест, слияя массу предприятий в одно, охватывает всю их хозяйственную жизнь, как бы растворяет ее в своем целом. Каждое из них было раньше независимой целостно-планомерной организацией; теперь такой же целостно-планомерной организацией является сам трест, и только он; все прежние стали его органами, или частями, или даже простым материалом для него, ибо нередко многие из этих предприятий закрываются, чтобы производство могло сосредоточиться в других, наиболее крупных и передовых.

Целостно-планомерная организация заключает в себе два момента: инициативно-творческий и регулирующий. Первый выражается в самом создании предприятия и во всех дальнейших прогрессивных его изменениях—в расширении, в

технических вновь вводимых усовершенствованиях, в развитии сотрудничества. Второй момент порождается противоречиями, несогласованностью частей, выступающими в ходе этого процесса, благодаря неполноте или неточности расчетов, непропорциональности роста различных его сторон, и заключается в их последующем урегулировании посредством практических ограничений, разграничений, вообще разного рода нормировки частей целого, их взаимоотношений. Оба момента необходимо дополняют друг друга: первый без второго ведет к дисгармоническому росту, нагромождению несогласованных комбинаций, и в конце концов к анархическому вырождению целого; второй при недостаточности первого тяготеет к закреплению выработанных форм, к неподвижному консерватизму сложившегося целого. Для организационного анализа чрезвычайно важно различать тот и другой момент, как бы тесно ни переплетались они в самой жизни; между тем в экономической литературе на каждом шагу понятия „планомерной организации“, „регулирования“, „нормирования“ принимаются за простые синонимы, из чего и вытекают большие ошибки.

Трест, как мы видели, есть планомерная организация в полном и точном смысле слова: здесь равно объединены момент инициативно-творческий и регулирующий, стройно сливаясь, как и в прежнем отдельном предприятии; только масштаб их единства во много раз больше.—Иной характер имеют картели и синдикаты. В них организационное объединение сводится вполне или почти всецело к моменту регулирования: „нормировка“ сбыта, цен, размеров и условий производства. Момент инициативно-творческий остается сосредоточенным в отдельных предприятиях, не объединенных в целом. Таким образом термин „планомерная организация“ к этому типу не применим.

Самое регулирование в картелях и синдикатах представляет весьма различные степени, от временного и слабого, ограниченного, напр., только вопросом о районах сбыта или уровне цен до постоянного и прочного, охватывающего разные стороны сбыта и производства. Устройство общих складов и агентур сбыта, а затем общих бюро изысканий и т. п. выходит уже за пределы собственно нормировки и намечает путь к высшему типу—тресту.

Во всяком случае, и в низших формах картелей регулирование, как бы ни было оно ограничено, имеет систематический

жактер. В организации финансового капитала этого, вообще говоря, нет. Руководящая группа, напр., правление центрального банка, подчинившего себе десятки других банков и сотни промышленных предприятий, вовсе не ставит своей специальной задачей общее нормирование работы этих подвластных хозяйственных единиц. Центр вмешивается в их жизнь тогда и постольку, когда и поскольку это требуется интересами акционерно-кредитной их эксплоатации, которая и представляет его собственную задачу. Это—вмешательство от случая к случаю, когда, напр., одно из подчиненных предприятий вступает в острую конкуренцию с другим таким же, или когда оно покупает сырье у предприятий чужой группы, а не своей, или когда оно пытается заключить заем в чужом банке и т. п. Воздействие может простираться на любую организационную функцию: и на технику когда, напр., центр не дает ходу или, напротив, своим давлением усиленно дает ход тому или иному новому изобретению, и на внутренние отношения предприятий, напр., запрещение тех или иных условий соглашения с рабочими, и на цены, и на другие условия сбыта,—но все это лишь по мере надобности, и притом надобности специфической, относящейся к увеличению прибыли центра или укреплению его власти.

Самый метод регулирования—не прямое, открытое, формальное руководство, а большей частью скрытое экономическое давление—одновременно и усложняет, и практически ограничивает дело регулирования, по сравнению с методами хотя бы картелей и синдикатов.

Ясно, что как ни велика экономическая власть финансового капитала, и как ни широко поле ее применения, но его реальная организующая функция менее глубока, связь его систем менее тесна и прочна, чем даже в низших формах картелей и синдикатов. Связь эта напоминает вассально-сюзеренные отношения слабо спаянных феодальных группировок.

Однако материальная сила организаций финансового капитала огромна, и в рамках буржуазного государства нет силы способной им противостоять. Поэтому естественным и неизбежным являлся фактический захват финансовым капиталом руководящей роли в общей политике государства, внутренней и внешней. Экономическое давление миллиардов одинаково легко спряталось и с демократическими, и с либерально-конституционными, и с самодержавными формами; за кулисами парламентов, как и

за спинкою трона монархов одинаково действовало непреодолимое внушение клики финансовых дельцов; и в каждой стране власть народная, или не-народная, в конце концов признавала за благо именно то, на чем сходились интересы руководящих групп нескольких гигантских концернов.

b) Условия взрыва мировой войны.

Раздел мира между финансовыми гигантами весьма быстро приблизился к своему завершению; а вместе с тем обострение борьбы между ними пошло с возрастающей скоростью, ибо расширение сферы каждого из них стало возможно уже только за счет сужения сферы других.

Ближайшим результатом явилось небывало ускоренное развитие милитаризма. Два момента заставляли финансовый капитал всеми силами толкать государство по этому пути: во 1-х, потребность в армии, как орудии непосредственного захвата рынков или политического давления в международно-торговых переговорах, и во 2-х, возможность создавать из милитаризма основу колossalного дополнительного рынка.

Первый из этих двух моментов не нуждается в пояснениях. Второй может представляться с первого взгляда спорным. Дело в том, что расходы милитаризма выполняются за счет государственных налогов, которые собираются с широких народных масс; но эти же массы являются главной опорой потребительского рынка. Получается как-будто такое соотношение, что рыночный спрос только перемещается: милитаристический спрос создается за счет спроса трудящихся классов. Такое представление, однако, в общем неверно.

Налоги, собираемые с рабочих и крестьян, вовсе не настолько же уменьшают их личное потребление. Рабочий нормально продает свою рабочую силу по ее стоимости, соответствующей условиям выполнения его работы. Если налог, прямой или косвенный, урезывает реальную плату ниже этой нормы, то капиталисты должны повысить денежную плату, чтобы восстановить прежнее положение, и налог перекладывается на прибавочную стоимость; только временно возможна некоторая „сверх-эксплуатация“.

Что касается крестьянина, то он в капиталистическом обществе либо мелкий капиталист, либо соединение хозяина и ра-

ботника в одном лице. Если бы суммы, извлекаемые из его хозяйства на милитаризм, оставались в его руках, то они частью увеличивали бы личное потребление его и его семьи, увеличивая, однако, тем самым и трудовую энергию хозяйства, частью же служили бы на покупку материалов и орудий труда. То и другое вместе вело бы к увеличению количества товаров, выбрасываемых хозяйством на рынок, т.-е. к росту предложения. Между тем милитаризм, потребляя те же средства и будучи по природе своей непроизводителен, предложения не увеличивает, т.-е. представляет чистый дополнительный спрос.

Это—расширение потребительного рынка; а мы уже знаем, что в силу цепной связи отраслей такое расширение означает во много раз большее расширение рынка в целом. Поэтому понятно, до какой степени финансовый капитал, по мере исчерпывания мирового рынка, должен был хвататься за спасительную силу милитаризма, как энергично толкать государство по пути его развития.

Главным полем приложения финансового капитала промышленное развитие сделало тяжелые индустрии,—горные, металлургические, парового транспорта. Но именно для них милитаристическое развитие создает гигантский спрос, именно они наиболее в нем заинтересованы. И по мере того, как возрастал их удельный вес в экономической жизни, а вместе с тем влияние соответственных групп капиталистов—в политике государств, рост милитаризма ускорялся и ускорялся. При этом он приобретал значение самостоятельного экономического фактора, уже не второстепенного, а первоклассного по масштабу, хотя, конечно, производного по генезису.

Таким образом, при финансовом капитализме имелись два момента, которые параллельно вели к кризису: борьба монополий и конкурирующий прогресс вооружений. Очевидно, что и кризис на этой основе должен был получиться иного рода, чем те, которые возникали раньше из анархической широкой конкуренции частных предприятий.

Сущность всех кризисов, в природе и в обществе, охватывается диалектической схемой: борьба сил, отношение величины которых изменяется; состояние системы до кризиса определяется постоянным перевесом одной силы, момент кризиса—возрастанием другой до уравновешения первой и перевеса над нею. Так, типичный физический кризис—кипение воды—объясняется соотно-

шением двух противоположно направленных сил: давления пара внутри жидкости и атмосферного давления. Пока второе больше первого, что бывает при всех температурах ниже 100° С., вода остается в нормальном жидким состоянии; когда давление пара, возрастаю от нагревания, достигает равенства с атмосферным,— что происходит именно при 100°,—и начинает его перевешивать, тогда происходит кризис кипения. Так и в социальной жизни, революции классовые происходят тогда, когда сила классов подавляемых достигает величины, перевешивающей силу классов господствующих, и т. п.

Эта же схема легко и естественно применяется к разным кризисам капитализма. Благодаря его строению—цепной связи всего производства, как технической системы, и анархической обособленности частей в его экономике—между этими частями развиваются двойственные отношения: они одновременно и поддерживают друг друга и подрывают; в диалектических терминах это можно выразить, как действие противоположно направленных сил связи и сил давления. Кризис наступает тогда, когда силы давления получают перевес над силами связи.

В скрытой форме та же схема составляла основу всего нашего анализа промышленных кризисов. Теперь мы и в них ее раскроем, чтобы было яснее внутреннее родство этих кризисов и мировой войны.

Частные кризисы возникают в том случае, если силы связи окажутся меньшие сил давления в каком-нибудь отдельном пункте капиталистической системы. Такое положение может создаться или уменьшением сил связи, или возрастанием сил давления, или тем и другим вместе. Напр., во время американской междоусобной войны фактически была почти разорвана блокадою цепная связь между производством хлопка в южных штатах и текстильной промышленностью Англии. Это резкое уменьшение сил связи вызвало жестокий кризис— „хлопковый голод“ 1862—1864 г. г. Чрезмерное же, хотя бы временное, наводнение какого-нибудь рынка однородными товарами увеличивает силы давления в виде конкуренции, что ведет к другой форме частного кризиса.

Общий экономический кризис выступает, очевидно, тогда, когда во всей системе мирового капитализма сумма сил давления перевешивает сумму сил связи. При каких условиях это может получиться?

Основа сил связи, мы знаем,—единство производственной системы, как цепного механизма, направленного, в конечном счете, к созиданию предметов человеческого потребления. Этой объективной целью определяется вся связь цепного аппарата; следовательно, и развитие сил связи зависит от развития этого потребления. Мы видели, что так оно и есть: каждое расширение потребительного спроса порождает волну нового спроса по всем звеньям капиталистической цепи отраслей; а спрос, предъявляемый одними отраслями другим и обратно, означает именно их взаимную надобность друг другу, усиление которой есть, следовательно, возрастание силы связи между ними.

Основу сил давления составляет разрозненность частей системы капитализма, их конкуренция, вообще—их борьба. И целью, и одновременно средством этой борьбы для каждого отдельного предприятия служит его собственный рост, расширение. Следовательно, и развитие сил давления зависит от суммы этого роста отдельных предприятий. На самом деле, он и ведет к недостаточности рынка, к обострению конкуренции, борьбы за сбыт и цены.

В поступательном ходе жизни капитализма естественно возрастают и силы связи и силы давления. Но так как основа их различна, то между тем и другим процессами нет прямого параллелизма. В нормальных условиях силы связи, конечно, должны быть больше сил давления, иначе вся система быстро распалась бы. Но легко видеть, что в движении капитализма рост сил давления должен совершаться именно при этих нормальных условиях с большей скоростью, чем силы связи, и приводить к таким моментам, когда перевес окажется на стороне первых,—к моментам общих экономических кризисов.

Силы давления увеличиваются ростом и расширением всех предприятий по отдельности. А так как само по себе всякое капиталистическое предприятие является единицей организованной—стройное сотрудничество при научной технике,—то и развитие их по отдельности совершается планомерно.—Напротив, силы связи зависят от роста человеческого потребления, а он при капитализме происходит вполне анархично и стихийно, без всякой планомерности не только в целом, но и в частях. Так, напр., введение новой машины может уменьшить размеры потребительного спроса, создавая частичную безработицу.

и может увеличить их, давая толчок расширению производства вообще; победа крупных предприятий над мелкими тоже имеет двойное действие, непосредственно уменьшая число занятых рабочих, но затем часто еще более увеличивая его путем ускоренного развития производства и т. п.

Итак, из двух комплексов противоположных сил один развивается на основе процесса планомерного, хотя не в целом, а в его частях, другой—на основе изменений всецело стихийных, не планомерных. Нормально, силы связи преобладают над силами давления; но ясно, что после некоторого промежутка времени преимущественно в планомерности развития должно приводить к тому, что силы давления сравняются с силами связи и превзойдут их. Тогда разразится кризис.

Кризис не только парализует планомерное развитие предприятий, но даже частично заменяет его регрессом. Этим подрывается основа сил давления, они ослабевают, и силы связи вновь получают перевес—кризис ликвидируется.

Так следует динамически представлять то свойственное капитализму „противоречие между производством и присвоением“ (всецело определяющим рамки потребления), которое порождало промышленные кризисы.

В системе новейшего, финансового капитализма рост потребления несколько не становится планомернее; но в развитии производства момент планомерности, несомненно, еще усиливается благодаря регулированию, хотя бы частичному, в широком масштабе новых организаций. Следовательно, противоречие должно развернуться тем быстрее и напряженнее, как это и было в действительности. Но в определении как момента взрыва, так и его характера выступил новый экономически-первоклассный фактор—милитаризм, раньше не имевший такого значения.

Если бы этот фактор не сыграл новой для него роли, то кризис финансового капитала разразился бы по типу обыкновенных промышленных кризисов, лишь в более острой форме; экономические силы давления вызвали бы экономический крах. Но с милитаризмом рождаются и в нем растут еще иные, производные силы давления, могущество которых пропорционально его уровню, и которые поэтому успели скоро достигнуть гигантских размеров.

Современная армия, миллионный коллектив со всему массою его технических средств, плюс огромный экономический аппарат

обслуживающих ее предприятий, представляет организацию вполне определенного назначения и со столь же определенной подготовкой. Энергия, концентрированная в такой организации, может быть задержана внешними условиями в своем проявлении, но необходимо стремится перейти в действие. Мертвый механизм способен неограниченно стоять без употребления, но живой и растущий организм,—а современная армия по стройности целого и расчлененности функций ближе всего к типу организма,—не может не тяготеть к развертыванию своей активности во внешней среде. Отсюда—специальные силы давления, возрастающие вместе с накоплением общественной энергии в формах милитаризма.

В обычное, мирное время мы наблюдаем эти силы лишь косвенно, в их идеологических отражениях: рост национализма и шовинизма в передовых странах, успех империалистической литературы, развитие завоевательных планов и т. п. Временами они прорываются в отдельных пунктах мировой системы капитализма, давая начало его „частным военным кризисам“. Это—войны между государствами-конкурентами, борющимися за отдельные участки мирового рынка, и войны колониальные. Но между ними и мировой войной есть глубокое различие, такое же, как между частными экономическими кризисами и явлениями общего перепроизводства.

Милитаристические силы давления не только сдерживаются в своей совокупности силами связи мирового рынка, но также и взаимно сдерживают друг друга между отдельными частями системы. Государство есть все же до известной степени планомерная организация; и его организованная энергия направляется нормально по линиям лишь наименьшего сопротивления, а не по тем, на которых должно встретиться наибольшее сопротивление. Поэтому легче всего возникают войны между гигантами и пигмеями, и всего труднее—войны между великими державами. Параллельный рост их вооружений увеличивал общую сумму милитаристических сил давления, но в то же время мешал им вырваться на свободу, пока общая сумма сил связи оставалась преобладающей. В этом состояла „система вооруженного мира“.

При каких же условиях должна была наступить катастрофа?

Перед нами уже три группы действующих сил: экономические силы связи, экономические силы давления и милитаристические

силы давления. Ясно, что кризис разразился тогда, когда вторая и третья группа вместе перевесили первую: экономические силы связи еще превосходили экономические силы давления, но силы милитаризма оказались достаточны, чтобы преодолеть эту разность.

Тут объясняются сразу две вещи: во-первых, форма кризиса,— военная, потому что непосредственным его двигателем явились силы милитаристические; во-вторых, его неожиданность для массы капиталистов всех стран,—он наступил тогда, когда в области собственно экономики перевес был еще на стороне сил связи.

Сопоставление движущих сил прежних, мирных мировых кризисов, и последнего—военного, приводит нас к такому выводу:

Мирные кризисы имели основою пере производство товаров, т.-е. организованных капиталистическим обществом вещей; мировая же война есть кризис пере производства не только вещей, но и организованных человеческих сил, именно организованных в свойственной этому обществу форме милитаризма.

с) Течение мирового военного кризиса.

Важным моментом как в смысле неожиданности этого кризиса, так и в смысле остроты первых его проявлений были разорванные им международные связи финансового капитала. Кредитно-промышленные концерны, имея свои центральные группы дельцов в той или иной стране, вовсе не стремились держаться в границах именно этой страны, а, напротив, старались раскидывать свою сеть в международном масштабе, и некоторые из них обладали по истине мировым полем эксплоатации. Так, германские финансовые группы руководили огромным числом не только германских, но также австрийских, русских, итальянских, турецких, скандинавских, испанских и т. д. предприятий, банковых и промышленных; казалось бы, что существование широких связей этого рода между всеми странами должно было само по себе побудить финансовый капитал к мирной политике и, следовательно, помешать войне. Но дело именно в том, что связи финансового капитала неглубоки и непрочны; для каждой финансовой группы отрыв некоторых периферических частей подвластного ей комплекса вовсе не является сам по себе

смертельной или даже тяжелой раной, а означает только уменьшение обычных ее прибылей на такую долю, какая получалась от финансирования этих оторвавшихся частей; и если от остальных предвиделась возможность получать прибыли военные, то, конечно, такая жертва должна была многократно окупиться, тем более, что она, предполагалось, будет только временной. В этом смысле центральные финансовые группы разных стран и учитывали баланс войны, как благоприятный для себя, основываясь на опыте прежних войн.

И связи более высокого типа, картельно-синдикатного, где они имелись, сами по себе не могли служить сильной сдержкой против движущих сил военного взрыва: они тоже довольно легко распадаются без глубокого повреждения частей системы,—на время войны прекращается нормальное регулирование обособившихся частей; но оно ведь существует лишь ради сбыта и цен,—а во время войны, благодаря гигантскому дополнительному рынку, то и другое нормировать вовсе не требуется, с точки зрения высоты прибыли. Только глубокое организационное единство типа трестов могло и должно было серьезно затруднить разрыв, но международных трестов было еще немного. Существовавший в Европе всеобщий картель вооружений, который объединял в регулировании рынков английских Армстронга, Викерса, французского Шнейдера, германских Круппа, Тиссена, русского Путинова и т. д.; и который неправильно называли „трестом вооружений“, распался очень легко с самого начала войны. Но настоящий трест взрывчатых веществ, объединявший, в первую линию, английских и немецких заводчиков, продолжал существовать еще весь первый год войны: акционеры той и другой стороны должны были получать сообща свои прибыли; лишь в августе 1915 года английские пайщики откупили акции германских за 324 миллиона марок. И этот интернационализм прибыли прекрасно иллюстрируется тем фактом, что, по разоблачениям немецких социал-демократических газет, главные дельцы германской части треста были также вождями патриотического союза; надо полагать, то же было и с английской стороны.

Таким образом, международные организационные связи финансового капитала, в общем, явились слабым препятствием возникновению войны и, вероятно, лишь ненадолго его замедлили.

До войны большинство экономистов, не имея ясной и точной теории рынков, не представляя себе, поэтому, сколько-нибудь

правильно свойств и значения рынка милитаристического, ожидали, что мировая война будет связана с колоссальным крахом кредита и производства. Когда война началась, то в первое время их предвидения как-будто оправдывались. Во всех воюющих странах, и в невоюющих, связанных с ними торговлей и кредитом, разразился кризис финансовый и промышленный. Кредит был парализован, биржевые ценности стремительно упали, во всех почти важнейших отраслях производства произошло резкое сокращение. Расстройство было общее и грандиозное. Иначе и быть не могло. Это был разрыв бесчисленных меновых связей, для каждого национального капитала — потеря огромных рынков, на которых он раньше реализовал значительную долю своих товаров.

Но затем обнаружил свою силу рынок милитаристический. Он увеличил свой спрос в десятки раз, и этим с избытком заменил для национальных капиталов спрос только что утерянных ими рынков. Реализация сделалась не только возможна, но, благодаря громадности нового спроса, еще более легка и более выгодна, чем раньше, по крайней мере для отраслей, связанных с военными потребностями. А мы видели, что с этими потребностями связано большинство отраслей, и особенно тесно основные из них, — производство пищи, одежды, угля, железа, машин. Промышленность оживилась, прибыли стали достигать давно забытых размеров.

Разорванные связи международного рынка сомкнулись вновь на рынке национально-милитаристическом. Кризис перешел в новую, парадоксальную форму: видимого процветания, основанного на непрерывном и напряженном истреблении.

Путь, по которому совершился этот переход от экономического упадка и застоя его начального периода к последующему специальному „процветанию“, очень прост и понятен. Потребности самой войны заставляют государство делать многочисленные и огромные заказы предприятиям различных отраслей производства, а также скупать массу товаров из их прежних запасов, платя за все деньгами, хотя бы и бумажными. Эти предприятия расширяют производство, а за ними другие — их поставщики и т. д., по всей цепной связи механизма. Увеличенное обращение товаров и денег оживляет кредит. Рост заработка, вместе с заменяющими, а частью дополняющими их государственными пособиями семьям призванных, расширяет потребление масс, а

рост прибылей—потребление капиталистов. Каждый шаг по этому пути служит толчком к дальнейшим шагам, и оживление нарастает быстро, вначале даже „лавинообразно“, т.-е. со все большим ускорением.

В странах не воюющих экономический процесс развертывался приблизительно так же. Оживляющую роль играли частью военные и продовольственные заказы, предлагаемые правительствами воюющих стран, частью—такие же заказы собственных правительств, организующих свои ресурсы в виду возможных опасностей, а то и прямо мобилизующих свои армии, чтобы быть во всякий момент ко всему готовыми.

Государство требует больше и платит лучше, чем прежний международный рынок, разорванные связи которого оно собирает в своих руках. Таким образом, с точки зрения капитала с его денежно-фетишистической бухгалтерией, дело в этой фазе кризиса идет хорошо: прибыль возрастает в поражающей прогрессии.

Объективно, разумеется, дело обстоит не так. Рынок милитаристический не есть потребительный в нормальном значении этого слова, а—истребительный: производимые для него продукты обрушаются в бездну, не оставляя следа в производстве. Реальное накопление не может получиться из процесса разрушения.

Если сравнить потребительную ценность продуктов с телом, а трудовую стоимость—с „душою“, то можно сказать, что первая всегда смертна, вторая же бывает иногда бессмертна, а иногда—смертна. Трудовая стоимость средств производства не умирает с их изнашиванием, а только перевоплощается, переходит в трудовую стоимость новых, произведенных с их помощью продуктов. То же относится и к предметам потребления работников: заключенная в них трудовая энергия превращается в рабочую силу и перевоплощается, даже с возрастанием своей величины, в продуктах, производимых этой рабочей силой. Тут „душа“ бессмертна. Что же касается предметов роскоши и средств истребления, то их душа не бессмертна, а умирает вместе с их телом: кристаллизованная в них трудовая энергия с их разрушением просто рассеивается в стихийной природе, при чем сумма коллективной силы уменьшается на ту же величину, а в случае, когда дело идет о средствах истребления,—часто и на гораздо большую.

Следовательно, во время войны души продуктов становятся по преимуществу смертными. Подавляющее большинство продуктов, которые берет милитаристический рынок, по мере их потребления умирают и материально, и духовно, или, точнее, "экономически". Это и есть причина того, что многопроцентные прибыли национального капитала, по мере их сложения, суммируются в убыток: тысячи плюсов складываются в гигантский минус. Совершается это двумя путями: фактическим разрушением, с одной стороны, перестройкой производства, имеющей характер извращения,— с другой.

О размерах чисто военного разрушения ценностей говорить специально не приходится: несомненно, что оно измеряется десятками миллиардов. Но еще гораздо важнее и значительнее с экономической точки зрения убыль основных производительных сил общества—рабочих сил: многие миллионы убитых и искалеченных людей лучшего, рабочего возраста. Ибо очевидно, что и с капиталистической точки зрения человек в национальном капитале представляет многотысячную ценность,—ту сумму прибыли, какую он за время нормальной трудовой жизни успел бы произвести.

Извращение производства совершилось путем его „мобилизации“. Потребности войны сильно отличаются от потребностей мирного времени. Массе предприятий приходится производить не то, что раньше, или всецело сосредоточиться на приготовлении одного-двух из нескольких, иногда многих раньше производившихся ими продуктов. Многие, напр., предприятия стали поставлять снаряды, тогда как раньше и не думали производить ничего подобного. За это брались даже предприятия, не имевшие вообще отношения к обработке металлов. Большинство текстильных перешло к исключительному производству военного сукна или холста, или вообще какой-нибудь военной ткани, зачастую как раз такой, какой в предприятии совсем не выделявалось. И, разумеется, необходимы затраты капитала и труда, чтобы приспособить предприятие к новой постановке производства: перестройка помещений, новые станки и орудия, иногда переделка прежних, обучение старого и нового состава работников и т. д.

Все такие затраты вещей, энергии, времени нещаются, большей частью, капиталом, как потери, потому что покрываются и выгодными ценами заказов и значительными авансами заказчика—государства. Но с точки зрения общественной суммы ка-

питала это, несомненно, потери, что и должно обнаружиться при демобилизации промышленности, по окончании войны. Тогда необходимо вновь приспособлять производство к его мирным условиям и задачам. Требуются обратные перемещения, перестройки и переделки; массу машин, орудий, даже материалов окажется невозможным использовать в тех же предприятиях, а значительная часть пропадет и для производства вообще. А между тем, неиспользованные за годы войны элементы нормального, мирного производства должны были тоже прийти в упадок от действия времени и случайностей. Даже для рабочего персонала частью должно потребоваться новое обучение. В общем, можно полагать, что экономические потери мобилизации плюс демобилизации промышленности не меньше, а больше потерь от непосредственно разрушительных действий войны.

Своеобразно двойственную роль по отношению к капиталу в мировой войне играет ее специфическая дороговизна. Она служит и средством реализации военных сверх-прибылей, и средством экономической ликвидации военного процветания, превращения его плюсов в минусы.

Развитие дороговизны в мировой войне многие экономисты рассматривали, как продолжение и усиление до-военного роста дороговизны жизни масс. Эта точка зрения не облегчает исследования: военная дороговизна только в малой своей части—продолжение до-войной, в главной же доле—явление особого рода, зависящее от специальных условий войны; к до-войной, представляющей также огромную важность и имеющей свое прямое после-военное продолжение, мы перейдем в связи с этим продолжением, военную же рассмотрим сейчас отдельно.

Повышение цен может исходить или из области производства или из области рынка. Первое понятно само собою. Если понижается трудовая стоимость и за нею цена производства денежного товара—золота, т.-е. повышается производительность труда в его добывании, то цены автоматически повышаются; это, очевидно, не относится к причинам военной дороговизны. Если понижается производительность труда, создающего прочие продукты, то происходит иное, более глубокое по реальному смыслу, повышение цен. Это уже одна из причин военной дороговизны, но действующая лишь слабо в начале войны, сильнее и сильнее по мере ее развития: по мере общей экономической дезорганизации ухудшаются самые условия производства, поля оста-

ются без удобрения, станки изнашиваются и не заменяются своевременно новыми; железнодорожный транспорт загромождается, расстраивается, падает, и совершается вынужденный переход к низшим по производительности труда формам транспорта, растратчивается рабочее время от недостатка топлива и материалов производства и т. д. Но все же и это не главная причина стремительного повышения цен, идущего с начала войны. Главная причина лежит в области рынка.

Со стороны рынка повышение цен вызывается монопольным положением продавцов, понимая этот термин в самом широком смысле. Монополия продавца заключается в том, что для покупателя уничтожена или ограничена возможность выбирать: выбирать рынок или продавца с одной стороны, выбирать время, т.-е. выжидать, с другой стороны. Военный кризис повсюду, лишь в разной степени, осуществляет такие условия.

Каким путем это происходит? Самым простым и очевидным: война разрывает связи рынка и разрушает продукты труда.

Разрыв связей рынка, полный или частичный, совершается в самых различных пунктах и по самых различным направлениям. Прекращаются сношения между воюющими странами; преграждаются минами и пиратством морские пути; расстраивается внутренний транспорт, железнодорожный, речной и всякий иной,—военным его загромождением, мобилизацией его работников и т. д. Разрывом связей рынок ограничивается для покупателя, исчезает возможность „выбора в пространстве“.

Разумеется, эта возможность ограничивается также и для продавца, однако далеко не в такой степени, как для покупателя. Продавец в большинстве случаев является торговцем по профессии, а у торговца, не только оптового, но и у мелкого, сумма рыночных связей несравненно больше, чем у среднего покупателя товаров, особенно поскольку дело идет об обычных предметах потребления. Для торговца, приобретающего, напр., несколько тысяч пудов сахара или мяса, возможность искать продукта в других местах и при значительном нарушении транспортных и меновых связей остается гораздо больше, чем для потребителя, покупающего несколько фунтов; ради нескольких фунтов нельзя, а ради нескольких тысяч пудов можно послать приказчика для разведок, переговоров, закупки, наблюдения за

перевозкой, а в отсталых странах—для подкупа кого следует и т. д. Нарушение связей рынка не только стеснение для продавца, но вместе с тем и облегчение, так как устраниет опасность конкуренции со стороны других продавцов; для потребителя же тут никакого облегчения нет, потому что необходимость покупать продукты нисколько не уменьшается, и конкуренция других потребителей не слабеет. Напротив того, необходимость покупать обостряется.

Тут выступает другое неравенство: продавец сохраняет гораздо более широкую возможность выбора во времени, т.-е. выжидания. Покупателю продукт нужен обыкновенно для потребления, а с этим ждать нельзя, не только тогда, когда дело идет о личном потреблении, но и когда оно касается производительного потребления орудий и материалов, без которого должно остановиться предприятие. Продавец же, очевидно, может ждать, если у него нет непосредственной необходимости в деньгах для какой-нибудь срочной расплаты, а это бывает не так уж часто, особенно при военных „мораториях“.

Возможность выжидания увеличивается для продавца еще более благодаря колossalному росту милитаристического спроса. Огромное большинство продуктов прямо или косвенно относится к сфере этого спроса: предметы потребления и вооружения армий, средства производства этих предметов и средства производства этих средств производства и т. д. Имея их в руках, продавец может выжидать с полной уверенностью, что, когда захочет, сбудет, во всяком случае, на достаточно выгодных условиях государству и его поставщикам.

Напротив, покупатель, ввиду происходящего массового потребления и истребления продуктов, ослабленного производства и разрыва рыночных связей, имеет все основания опасаться, что если он не купит в данный момент, то ему и вовсе не удастся купить в дальнейшем, или придется покупать на гораздо более тяжелых условиях.

Вообще в мировой войне, парализующей значительную долю мировых отношений обмена, понижается значение меновой ценности, выражющей и воплощающей эти отношения. Возрастает значение потребительной ценности. А это означает постоянное преимущество продавца, у которого в руках потребительная ценность, перед покупателем, который предлагает за нее, в виде денег, меновую.

Цепная связь отраслей производства обладает свойством поддерживать возникающую дороговизну, распространять ее с одних отраслей на другие и усиливать еще более. Если, напр., поднимается цена машин, то уже от одного этого должно произойти некоторое повышение цен во всех отраслях, применяющих машины. А так как машины участвуют и в производстве некоторых предметов потребления рабочих, то возрастает и стоимость поддержания рабочей силы, т.-е. должна повыситься заработка плата. А это увеличивает издержки производства и ведет к новому повышению цен во всех его областях и т. д. Если хлопок вздорожал вследствие громадного военного спроса на него для приготовления нынешнего пороха, то пряжа и хлопчато-бумажные ткани тоже повысятся в цене, а поскольку эти ткани потребляются рабочим классом, постольку опять-таки должна стать дороже рабочая сила и т. п.

Итак, основные причины военной дороговизны сводятся к следующим моментам: во-первых, ослабление и частичные разрывы связей мирового рынка, уменьшающие объективное значение меновой ценности, как выражение этих связей, и денег, как воплощение меновой ценности; во-вторых, разрушение массы потребительных ценностей (в том числе, конечно, миллионов рабочих сил) и ослабление их производства, приводящее к возрастанию объективного значения уцелевших потребительных ценностей, и, в-третьих, цепная связь, обобщающая и усиливающая все тенденции рынка.

В этом несложном анализе нет надобности специально говорить о спекуляции, как причине повышения цен, потому что она есть только использование капиталистами перечисленных общих и основных условий.

Кредитно-денежное обращение во многих, особенно в отсталых странах, вносит новый момент обострения дороговизны, менее глубокий, но резко бросающийся в глаза. Многомиллиардные выпуски бумажных денег ради потребностей войны и ее ликвидации ведут к падению их курса, к вырождению их счетной единицы, к огромному номинальному повышению цен. И оно не только номинальное для широких народных масс,—их зарплаты постоянно и неизбежно отстают от этого повышения, лишь с опозданием приоравливаются к нему.—Это опять-таки не основной, но по дезорганизующему действию на экономику весьма сильный момент дороговизны для тех стран, в которых он развился.

Военная дороговизна концентрирует в себе и в то же время разоблачает всю парадоксальность „процветания“, которое бухгалтерски создавалось на основе истребления и разрухи. Возможность сбывать товары без поисков „рынка и за дорогую цену— это, собственно, как раз то, что капитал называет процветанием. Но общая дороговизна в то же время равносильна обесценению самих денег. Поскольку капитал имеет форму вещей, он от этого не увеличивается, хотя в цифрах его расценка и представляется больше, чем прежде. Поскольку же он имеет форму денег и денежных знаков—он реально уменьшается, потому что за прежней цифрой скрывается уменьшенная покупательная сила.

В наименьшей мере это уменьшение затрагивает капитал промышленный и земельный, потому что он в наибольшей доле представлен вещами, в сравнительно малой—деньгами и денежными знаками. Сильнее подрываются, конечно, капитал кредитный. А наиболее ощущительна эта сторона „военного процветания“ оказывается, в последнем результате, для владельцев разных государственных бумаг и вкладчиков сберегательных касс. Таким путем сами собой в значительной, местами в наибольшей своей доле аннулировались к концу войны как военные займы, особенно внутренние с их счетом на бумажные деньги, так и вообще непомерно возросшие государственные долги.

Эти действия военной дороговизны объективно направлены к непосредственно экономической ликвидации военного кризиса. Еще сильнее и важнее ее косвенное влияние в этом смысле, ведущее к ликвидации кризиса через борьбу народных масс, революционизируемых непосильным вздорожанием жизни.

В высшей степени характерно самое развитие военного кризиса с точки зрения господства социальной стихийности над волею и мыслью человечества в современной фазе его жизни. Кризис нарастал лавинообразно. Истребительный процесс в каждой воюющей стране втягивал все возрастающую массу человеческих жизней и материального достояния народов. Разрушения превосходили все, что могла представить человеческая фантазия. И несмотря на то, в войну вступали новые и новые страны.

В первой своей половине кризис развертывался по принципу равновесия сторон: когда одна слабела под ударами, на поддержку ей спешила какая-нибудь нейтральная страна,—большие поражения, нанесенные России, вызвали выступление Италии; в момент заметного ослабления центрального блока его поддержала

Болгария; явное обессиление России повело к замене ее в рядах Согласия Соедин. Штатами. Ибо решительная победа одной стороны означала подавление развития капитала не только другой стороны, но также стран нейтральных, или, по крайней мере, величайшую угрозу их позициям на мировом рынке. В сущности, по этому же принципу и до войны складывалась союзная группировка ее участников: русский капитал был не менее тесно связан с промышленным германским, чем с ростовщикским французским; но угроза экономического порабощения была ближе со стороны Германии, при чем, конечно, союз с Германией только облегчил бы его в случае ее победы.

Во второй половине кризиса, когда оставшиеся нейтральные страны уже не могли значительно повлиять на соотношение сил, они не присоединялись к более слабой, а старались присоединяться к более сильной стороне.

d) Военно-экономические формации.

Совершенно исключительное экономическое положение, созданное мировым военным кризисом, породило целый ряд специальных приспособлений, настолько обширных, сложных и своеобразных, что в сумме своей они могут рассматриваться, как особого рода экономические формации. Сущность их составляет внедрение в капитализм элементов военного коммунизма. В одних случаях оно нешло дальше частичного, с сохранением основ старой организации, в других развилось гораздо полнее, с глубоким их разрушением. Первый тип может быть обозначен, как военно-государственный капитализм (его неправильно обозначали названием просто „государственного капитализма“); второй—как военный коммунизм трудовых классов.

Формирование новых экономических структур в течение нескольких лет и почти столь же быстрое затем рассасывание представляется фактом беспримерным в истории. В основе его лежат два момента: с одной стороны, жизненная необходимость, социально-техническая и экономическая; с другой—каличность готовой организационной базы. Первый момент весь сводится к катастрофе; второй—к строению современной армии.

Как ни противоположна экономическому индивидуализму коммунистическая тенденция, существуют, однако, условия, при ко-

торых она неизбежно выступает даже среди социальных элементов, всецело им пропитанных в своей обычной жизни. Это условия катастрофически бедственные; они порождают „коммунизм крайности“. Напр., когда корабль попадает на рифы у пустынного острова, то как бы ни было велико уважение капитана, экипажа и пассажиров к принципу частной собственности, но все наличные припасы у отдельных лиц отбираются и распределяются в дальнейшем равномерно, чтобы каждый мог хоть как-нибудь дожить до момента спасения. Аналогично этому, в осажденных городах создается „осадный коммунизм“: если угрожает неопределенно долгое прекращение всякой доставки продуктов, то власти, хотя бы политически и самые консервативные, вынуждаются организовать равномерное распределение, конфискуя частные запасы. При этом и личная рабочая сила может на основе той же крайности рассматриваться как собственность, которую необходимо реквизировать для общего спасения: вводятся принудительные работы, сначала для низов населения, а с развитием катастрофы — и для всех граждан, — „всеобщая трудовая повинность“.

При этом буржуазная или феодальная власть может оставаться непоколебленной, если она идет по линии объективной необходимости. Однако такова сила консерватизма привычных форм жизни, что даже и вопреки ей господствующие слои населения способны иногда упорно за эти формы цепляться, не соглашаться на коммунистические меры, вынуждаемые ходом вещей, и противодействовать им. Так и было в осажденном Париже 1871 г., где буржуазия с ее аппаратом власти не желала подчиняться осадным условиям и проводить соответственные формы организации, да и вообще продолжать борьбу до конца. Тогда против буржуазии создался трудовой блок городских низов — proletariat, по самой природе своей наиболее склонного к коммунистическим формам, и мелкой буржуазии, враждебной подавляющему и разоряющему ее капиталу; блок этот, в виде Парижской Коммуны, сверг буржуазную власть, и за недолгое время своего господства шел по организационной линии осадного коммунизма, — впрочем, по недостатку исторического опыта, не особенно решительно, и осуществить успел не много.

Мировой военный кризис создал условие катастрофического, и именно „осадного“ коммунизма в гигантском масштабе. Германия с Австрией уже с самого начала войны оказались в полном

неприятельском окружении, отрезанные от необходимого им для нормального поддержания жизни мирового рынка. Затем и для другой стороны стало создаваться подобное положение, частью и для стран нейтральных, которые экономически почти все оказались вольными или невольными участниками в мировой борьбе: подводная война, расстройство транспорта военной его эксплоатацией, сокращение нормального производства военным его извращением, огромная убыль рабочей силы, прямые разрушения продуктов и орудий труда, и т. д. Различны были степени катастрофичности положения, но элементы разрухи были повсюду; а значит, в той или иной мере, развивалась и потребность в коммунистическом регулировании.

Жесточайшая дороговизна, выгодная капиталистам и аграриям, индивидуально угрожала классу крупных собственников в целом, как хозяину каждой данной страны, таким истощением народных масс, которое повело бы к проигрышу войны, и общая организация этого класса—государство—была вынуждена принимать меры к более равномерному распределению, основанному на учете потребностей, т.-е. более или менее проводить в жизнь принцип коммунизма. Разумеется—более или менее, по возможности именно менее, потому что класс, руководивший выполнением дела, был максимально по самой природе своей враждебен этому принципу.

Государство начинало с того, что брало под свой контроль распределение продуктов для массового потребления, затем оно нормировало их цены, затем регулировало их сбыт и наконец переходило к регулированию самого производства; разные страны доходили к концу войны до разных ступеней этого процесса; наиболее широко и законченно он развернулся в Германии.

Если при своей величайшей враждебности коммунистическому принципу господствующие классы передовых стран все же сумели в короткое время достаточно справиться с этой задачей, то лишь благодаря тому, что имелась на лицо готовая организационная база для всего преобразования: в первую очередь—потребительно-коммунистическая организация армии; затем—методы регулирования, выработанные новейшим капитализмом.

Армия и в мирное время является своеобразной потребительской коммуной; в военное время этот ее характер еще усиливается а самые размеры коммуны увеличиваются в несколько раз. Мил-

лионы людей живут на содержании у государства, планомерно распределяя в своей среде доставляемые через него продукты из сферы производства, и довольно равномерно их потребляя. При строго авторитарном строении всей этой организации, коммунизм ее простирается, главным образом, на низы, на солдатскую массу, которая размещается в общих казармах, получает общий стол, одежду и снаряжение. Для верхов, т.-е. офицерства, коммунизм не обязательен, или обязательен только отчасти; но в военное время и здесь он значительно усиливается, а в походной жизни становится, в общем, неизбежен.

Размеры армейской коммуны, составлявшие раньше в большинстве стран меньше 1% населения, во время войны достигли 10—15%, а по отношению к трудоспособным элементам еще гораздо более крупной доли. Если к этому прибавить, что из фактически бесполезного прежде приданка она сделалась для господствующих классов необходимейшим органом борьбы и защиты национального целого, то становится понятным, насколько должно было возрасти ее влияние, структурное и культурное, на всю жизнь общества. И вот, с армии элементы потребительского коммунизма стали постепенно распространяться на все общество.

Пособия семействам призванных увеличивали число лиц, находящихся на содержании у государства, еще в 2-3 раза. Пособия эти даются совершенно независимо от их собственного участия в производстве, не на основе найма, а на основе права на удовлетворение потребностей: принцип коммунистический, хотя форма пособий и была, обычно, денежная, а не натуральная.

Это, в сущности, еще прямое продолжение армейской коммуны. Но затем процессы военного разрушения и извращения производства порождают потребность в мероприятиях „коммунизма крайности“: система частного присвоения продуктов, с ее специфической неравномерностью, не может удержаться в прежнем виде. Прежде всего выступает на сцену, по существу опять-таки армейский, принцип пайка в форме карточного регулирования. Предмет потребления уже не является в полной мере индивидуальной и меновой собственностью: каждый имеет право, допустим, на 200 грамм хлеба, потому что такова установленная государством норма потребления; но никто не может законно купить для себя или продать отдельному покупателю свыше этих 200 грамм а также не имеет права оставить у себя излишков произведенного или закупленного раньше хлеба.

Однако мало иметь право на покупку 200 гр., — можно не иметь средств на их покупку, если цена их, оставаясь свободною, может неограниченно возрастать. Кроме того, на местном рынке их и вообще может не оказаться, в то самое время как на других местных рынках будет излишек сверх карточной нормы; и торговцы даже нарочно создают такое положение, чтобы повышать цены. Так вынуждается регулирование цен и всего распределения продуктов между районными рынками, всего их сбыта; это формальная или фактическая их монополизация государством: новое завоевание коммунистического принципа.

В дальнейшем и регулирование сбыта оказывается бессильным без регулирования самого производства. Капиталисты находят невыгодным производство нормируемых и, следовательно, не приносящих истинной „военной“ прибыли предметов необходимости, — стараются переходить на другие, менее насущные, но более выгодные производства; а в массе случаев укрывают готовые продукты от учета, чтобы вызвать повышение нормировочных цен, или чтобы нелегально спекулировать, идя на некоторый риск ради огромных барышей. Государству приходится взять на себя контроль и над направлением производства, и над его размерами, а значит — над распределением в нем материалов, орудий труда и рабочей силы. Так коммунистический принцип простирает свое влияние на сферу производства.

Методы регулирования сбыта и производства государство берет готовыми из существующих объединений предпринимателей. Принудительно объединяются в синдикаты целые отрасли производства; в иных случаях применяется даже принудительное трестирование. Первое может быть навязано государством и отраслям, сравнительно мало экономически подготовленным к этому предыдущим развитием, т.-е. со слабой еще концентрацией капитала; второе, по техническим условиям, возможно только для отраслей уже более высоко централизованных.

К регулированию производства относится и государственная трудовая повинность. С организационной стороны она здесь обычно сводится к авторитарному закрепощению рабочих и представляет явное распространение принципов военной организации на трудовые классы.

Таков военно-государственный капитализм. Это — система, в которой, на основе прогрессивного разрушения производительных сил, соединяются организационные черты новейшего капи-

тализма с внедряющимися в него военно-коммунистическими тенденциями. Поэтому наиболее быстро и полно он развивался именно в стране передовой — и капиталистически, и милитаристически — в Германии. По условиям же своего возникновения, это — катастрофический („осадный“) коммунизм, организуемый господствующими классами в тех формах и в тех границах, в каких они его способны организовать.

Огюда — не только сохранение прибыли капиталистов, владельцев предприятий и акций, но и довольно высокие нормы этой прибыли, гарантированные государством. Между тем на деле в общественной системе, взятой как целое, производство не покрывает потребление плюс истребление, прибавочной стоимости нет. Прибыль достигается частью за счет усиленной экспроприации мелкой и средней буржуазии, особенно быстро разорявшихся во время войны, частью же имеет фиктивный, счетный характер. Последнее именно постольку, поскольку падает фактическая ценность денег и денежных знаков в силу всеобщего вздорожания продуктов. Если, напр., по денежному балансу предприятия прибыль за год — 15%, а покупательная сила денег упала на 20%, то ясно, что в действительности это уже убыток, прикрытый фетишизмом денежной формы.

Но и в этом символическом бытии прибыль сохраняет свое основное социальное значение: она символизирует сохранение основных принципов капитализма, временный характер отхода от его нормальной организации; это как-бы гарантия, ее последующего восстановления, заранее устраняющая всякое ложное утопическое истолкование смысла данной социальной формы.

А такие истолкования были; многие экономисты склонны были понимать военно-государственный капитализм, как полу-социализм, или вообще как прямой этап к социализму, даже как осуществление всей технической и производственно-экономической его стороны, при котором для полной его реализации не хватает только перехода власти в руки пролетариата. Упускался из виду и специфический характер этой формации, не входящей типически-необходимым звеном в цепь социального развития, но порождаемой исключительными условиями, — и крайнее смешение в ней элементов прогрессивности с реакционностью.

Прогрессивный момент выражается в экономической анти-анархичности, в огромном развитии централизованного регулиро-

вания, реакционный—в столь же резком усилении авторитарности.

Не надо забывать, что регулирование—только одна сторона планомерной организации; другая сторона—инициативно-творческая, в динамике развития первичная, здесь почти не была централизовано оформленена. Затем, даже в смысле регулирования—о прямой подготовке социализма говорить не приходится там, где тенденция производственной жизни прямо противоположна той, какая предполагается при социализме: не стремительный рост и усложнение производства, а быстрое разрушение и упрощение. Сокращались его размеры, за исключением немногих отраслей, и целый ряд их даже отпадал; регулировать такую систему—организационная задача не только иного масштаба, но в значительной мере и иного типа, чем регулировать систему непрерывно усложняющуюся, где надо согласовать в целом относительное разрастание прежних звеньев и включение новых.

Анти-социалистическим моментом в постановке задачи следует признать и тенденцию к национально-государственной „автаркии“ к тому, чтобы обходиться по возможности без продуктов других стран, устранить международную экономическую взаимо-зависимость. Социализм же, в современном его понимании, невозможен вне связи мирового хозяйства, или, по крайней мере, большей его части: масштаб который должен гарантировать не только действительную и нормальную автаркию, но и безопасность от милитаристической борьбы со стороны отсталых организаций.

Самое регулирование в военно-государственном капитализме отличается авторитарно-бюрократическими формами, имеющими очень мало общего с товарищеской организацией сотрудничества. Этому нисколько не противоречит широкое участие в регулирующих органах, как и в самой выработке их устройства, всяких общественных, даже рабочих организаций: роль их по существу оставалась подсобной, подчиненной. Трудовые массы фактически закрепощались путем милитаризации, военного положения и пр. Общегосударственный порядок даже в передовых демократиях принимал характер правительской диктатуры, которая на деле является олигархией социальной верхушки.

Все это вытекало из основной авторитарности военных организаций, и, присоединяясь к ней, все это вместе с нею оказывало сильнейшее давление также на духовную жизнь: росло ре-

лигиозное, т.-е. авторитарное, миропонимание и мирочувствование в широких слоях общества, где раньше укреплялись свободные и научные формы сознания,—реакционный момент производны и но не маловажный и для экономического развития.

До сих пор, изучая процессы социально-экономического приспособления, мы всюду видели, что оно исходит из области производства и, идя оттуда, преобразовывает область обращения и присвоения, затем—распределения и потребления. На этот же раз перед нами выступил порядок прямо противоположный: преобразование начиналось со сферы потребления и распределения, переходило на сферу сбыта, и через нее—на отношения производства. Как понять эту перевернутую форму связи?

Она объясняется просто. Раньше у нас дело шло о процес-сах роста, усложнения, вообще, о прогрессивных изменениях социальной системы; тут же основа происходящего—упадок, разрушение, вообще регressive процессы. Движу-щее действие развития производительных сил обнаруживается прежде всего именно там, где они накапливаются,—в производстве; давление их упадка первично проявляется там, где происходит растрата общественных активностей,—в области потребления и истребления. Это, следовательно, естественный порядок деградации, хотя бы и временной. Так и в упадке различных общественных систем прошлого исходным пунктом были паразитизм верхов, истощение низов—условия, лежащие в области потребления или, точнее, социального распределения.

Поскольку военно-государственный капитализм заключает в себе все возрастающую по мере его развития сумму элементов коммунизма, хотя бы и „осадного“, и поскольку его организуют, тем не менее, классы господствующие, анти-коммунистические, постольку в нем выступает внутреннее противоречие, которое усиливается по мере роста и углубления основы всего процесса—экономической разрухи. Оно развертывается по двум линиям. С одной стороны, сами господствующие классы все с большим и большим сопротивлением идут на дальнейшие коммунистические мероприятия, как бы ни были они необходимы; народным массам приходится вырывать у них эти мероприятия упорной борьбою. С другой стороны, сохранение прибыли при отсутствии прибавочной стоимости в общественной системе, как целом, и фактические привилегии господствующих классов в распреде-лении продуктов при возрастающей нужде, наглядные проявле-

ния основного противоречия—мало-по-малу революционизируют народные массы и толкают их на новый путь: начинается борьба коммунистически настроенных низов за то, чтобы взять в свои руки организацию более углубленного коммунизма; они же борются и за прекращение войны, порожденной и поддерживаемой тенденциями капитала. Формируется трудовой коммунистический блок, наподобие того, как было с Парижской Коммуной,—но в иной обстановке и в более широком масштабе.

Какие же классы и группы образуют этот блок? Во-первых, конечно, рабочий пролетариат, в природе которого лежит тенденция и к колlettivизму труда, и к коммунизму распределения. Этот коммунизм близок и доступен даже наиболее отсталым его слоям, еще не освободившимся от пережитков мелко-буржуазной идеологии: в тяжелом периоде своего существования, разоряемая крупным капиталом, мелкая буржуазия естественно тяготеет к „социализму дележа“. Таким образом на этой почве легко объединяется вся пролетарская масса. А ее авангард, по своей организованности, становится естественным руководителем блока.

Во-вторых, к ней, как уже из этого ясно, легко примыкает беднейшая часть ремесленного мещанства и крестьянства, полу-пролетариат, эксплуатируемый и экспроприируемый методами торгового капитала; особенно здесь важны, разумеется, обширные слои крестьянства, угнетаемые кулачеством.

В-третьих, милитаризм и условия войны создали своеобразную социальную группу, или даже „класс“, хотя и временного характера, в виде солдатских низов армии, по социальному составу частично пролетарских, частично же, и для многих стран именно в большинстве, крестьянских и мелко-буржуазных. При всей своей коренной разнородности и кратковременности своего объединения, они обладают основным признаком социального класса—совершенно особой ролью по отношению к системе производства: не принимая в нем участия, они потребляют его продукты, и в то же время служат его защитой против внешней разрушительной силы. На такой основе складываются весьма, без сомнения, неглубокие, объединяющие черты, которые делают из солдатской массы особого рода „класс исторического момента“. Он живет в условиях потребительного коммунизма, и преобладающая в нем мелко-буржуазная природа не препятствует развитию в нем тенденции к социализму дележа, а постоянная практика военных реквизиций, конфискаций, пользования неприятельским имуще-

ством и пр. еще более воспитывает в этом направлении. Тенденция же к прекращению войны, истребляющей солдатские массы, здесь понятна сама собою; при военных поражениях она усиливается и, разрывая сковывающие солдатскую массу формы авторитарной дисциплины, позволяет ей активно выступить в составе коммунистического блока.

Тогда становится возможна победа коммунистического блока над буржуазными классами. Впервые сна имела место в России где, с одной стороны, разруха была особенно глубока и тяжела по экономической отсталости страны, с другой стороны—господствующие классы, тоже в организаторском отношении весьма отставшие от западной буржуазии, проявили полную неспособность решить жизненные задачи момента: регулирование народного хозяйства и прекращение войны. Коммунистический трудовой блок был, можно сказать, объективно вынужден взять дело в свои руки. При этом он должен был выдержать долгую и тяжелую гражданскую войну, которая, разумеется, делала тем необходимое военный коммунизм и обостряла его развитие.

Ог трудового блока Парижской Коммуны новейший коммунистический блок резко отличается участием крестьянских низов. Во Франции буржуазия повела за собою крестьянство и его силой подавила Коммуну. В России, напротив, крестьянская в большинстве своем армия разгромила господствующие классы, и вообще главные массы крестьянства поддерживали Советскую власть. Основою этого союза явилась экспроприация помещичьих земель в пользу крестьянства.

Политической формою для блока послужила система Советов, собраний депутатов от различных социально-классовых групп его образующих. Это не только наиболее целесообразный, но единственно возможный способ объединения экономически столь разнородных элементов, поэтому он был заимствован и западными революциями данной эпохи—германскую, которая не дошла, однако, до победы коммунистического блока, венгерскую и баварскую, в которых он временно достигал господства, но был затем побежден международным блоком буржуазии¹⁾.

¹⁾ Венгрия, где Советская власть держалась больше четырех месяцев, и без внешнего вмешательства имела бы все шансы вообще удержаться, есть страна, подобно России, экономически отсталая, и потому особенно

Организация военного коммунизма трудовых классов начиналась с более строгой и последовательной уравнительности в распределении припасов, при чем не только устраялись все прежние преимущества для буржуазных слоев, но, по мере обострения гражданской войны, заменялись обратным соотношением: устанавливался „классовой паек“, с преимуществом в пользу трудовых элементов. Та же тенденция проводилась, затем, и в трудовой повинности.

Меры экспроприации, за исключением аграрной, развивались последовательно, под давлением военной и революционной необходимости. В первую очередь были национализированы банки, как прямой источник денежных средств, необходимых новому правительству, и как естественный центр снабжения этими средствами его противников. Фабрики же и заводы были первоначально оставлены за их владельцами и только подчинены „рабочему контролю“. Но в развитии гражданской войны обнаружилась невозможность для трудового блока оставлять такую важную материальную позицию в руках заведомых классовых врагов, и промышленные предприятия были национализированы.

Разумеется, при возрастающей разрухе, углубляемой одновременно и гражданской войной, и революционной ломкой, баланс производства мог быть только отрицательным, и притом в очень больших размерах, и военный коммунизм принужден был жить за счет растраты накопленного прошлым капитала. Финансовые методы, которыми это осуществлялось, сводятся к одному общему принципу—конфискации, в формах прямого и косвенного принудительного отчуждения: национализация запасов, денежных и товарных, поимущественный налог, лавинообразная эмиссия, продовольственная разверстка. Из этих методов первый не требует теоретических пояснений, остальные нуждаются в некотором анализе.

О поимущественном налоге мы даже не упоминали в связи с налоговыми принципами капитализма, потому что это форма исключительная, с нормальными условиями капиталистической жизни стоящая в противоречии. Поимущественный налог, при сколько-нибудь значительной его величине, не только мешает

пострадавшая от войны, притом тоже с преобладанием крестьянского населения и с сильным еще до войны аграрным движением. Бавария—наиболее крестьянская из стран Германии.

накоплению капитала, но и нарушает вообще его функции. Наибольшая и наименее доступная утайка от налогового аппарата часть имущества имеет форму натуральную, а не денежную; налог же за нее приходится платить в деньгах, что требует спешной реализации некоторой ее доли, притом одновременной для массы плательщиков; получается чрезмерное предложение вещей на рынке, независимо от действительного спроса на них, — крайняя убыточность продажи, часто и ее невозможность. Такой налог свойствен именно катастрофическим моментам, когда он и выступал обычно на сцену. Это было при раннем капитализме, напр., и у нас в России, во время тяжелых войн и разрухи, когда на имущих людей налагалась „десятая“, „пятая деньги“, т.-е. 10-процентный, 20-процентный налог. Связь этой формы налога с военным коммунизмом очевидна: в ней воплощается непосредственное право государства на имущество граждан, вопреки капиталистически-священному принципу частной собственности.

Но технические трудности в получении этого налога огромны, особенно же, когда податной механизм почти разрушен в общей революционной ломке. Поэтому в новейшем военном коммунизме главную роль играет его замаскированная, технически удобная модификация: лавинообразно возрастающий выпуск государством неразменных бумажных денег. Это, собственно, не налог на имущество в целом, а налог на покупательную силу населения — и на имущества, и на доходы одновременно.

Сущность его очень проста. Пусть в обращении находится определенная сумма неразменных бумажек, положим, 1 миллиард, противостоящая определенной сумме товаров на рынке. Государство выпускает еще миллиард — удваивает количество средств обращения; если прочие условия не изменились, покупательная сила каждой бумажки уменьшается ровно вдвое; из каждого бумажного рубля в карманах у граждан меновая способность как-бы испарилась на половину; эта половина перешла к государству, которое напечатало новые бумажки и расплачивается ими: оно получило в свое распоряжение ценность половины товаров. Если оно опять удвоит сумму бумажек, т.-е. выпустит еще 2 миллиарда, это опять даст ему покупательную силу на половину товарной массы; затем такой же эффект произведут новые 4 миллиарда, и дальнейшие 8 млрд. и т. д. Если при этом разруха прогрессивно уменьшает товарную массу в обращении,

то государство при каждом удвоении присваивает половину ценности уменьшенной уже товарной массы, и падение бумажек идет тогда еще быстрее. Приблизительно так шло дело в Советской России за годы военного коммунизма. Техническая простота и легкость метода, возможность с его помощью брать налог без всякого аппарата и незаметно для самих плательщиков, повели к тому, что этот бюджетный источник заменил и вытеснил все другие¹⁾.

Разумеется, никакой податной равномерности в „эмиссионном“ налоге искать не приходится. Он падает всего тяжелее на такие разнородные группы, как рантьерство (при военном коммунизме, впрочем, быстро исчезнувшее), на уцелевших торговцев и спекулянтов, на служащих и рабочих, получающих заработок в денежной форме. Меньше всего страдало бы крестьянство, если бы оно, в своих зажиточных и, отчасти, средних слоях, не пыталось, подчиняясь старым привычкам и воззрениям, „накоплять“ ценности в бумажно-денежной форме.

Но крестьянству пришлосьнести другие тяжелые жертвы для нужд военно-коммунистической системы. Необходимость снабжения армии в затяжной и разорительной гражданской войне, при невозможности получить достаточные средства путем эмиссии, заставила государство прибегнуть к методу так наз. „продовольственной разверстки“. Это—принудительное отчуждение, по „твёрдым ценам“, всех излишков зерна, производимого крестьянским хозяйством, конечно, с запрещением вольной торговли хлебом.

Надо заметить, что понятие „излишков“ здесь нельзя считать экономически-точным; оно не соответствует понятию „прибавочного продукта“. Государство фактически не имело возможности за эти „излишки“ доставлять крестьянскому хозяйству все необходимое для восстановления его снаряжающихся орудий, а также обычно покупавшиеся предметы потребления крестьяннина и его семьи; при таких условиях, если запрещено приобретать все это путем свободной продажи части продукта, о прибавочном продукте не может быть речи: на лицо имеется неизбежный постепенный подрыв крестьянского хозяйства. Поэтому система

1) Относительная элементарность соотношений в этих явлениях и количественный их характер допускают математический их анализ. Такой анализ, с точными формулировками связи двух лавинных (т.е. по геометрическим прогрессиям развивающихся) процессов—разрушения и эмиссии, дал О. Ю. Шмидт (см. „Вестник Соц. Академии“, 1923 г., № 3) и В. А. Базаров (тот же журнал № 4).

продовольственной разверстки, как, впрочем, и вообще военный коммунизм, только временно могла держаться; длительно сохранившись, она повела бы к разрыву трудового блока. Это было учтено Советской властью, которая по окончании гражданской войны начала вскоре же ликвидацию военного коммунизма, и именно с отмены продразверстки и с разрешения вольной продажи хлеба.

Впрочем, система военного коммунизма никогда и не охватывала полностью общественного хозяйства. Своими конфискационными методами она временно разрушила „верхушку капитализма“, его промышленные и финансовые формы, позже сложившиеся, более сложные, и потому менее прочные под ударами; но при этом сохранились и, как бы обнажившись от верхних наслоений, рельефно выступили его низшие, торговые формации; они не исчезали и, вопреки всем запретам, играли очень большую роль в жизни, в виде подпольной и явной торговли, мешечничества, спекуляции, и пр.¹⁾. Иначе и быть не могло при сохранении денежно-рыночных отношений вообще.

Военный коммунизм, подобно военно-государственному капитализму, не может рассматриваться как непосредственно переходная ступень к социалистическим формациям, с которыми он имеет формальное сходство; такая точка зрения на него теперь оставлена; он — система особого рода, временная, связанная с условиями военно-экономической катастрофы, и включающая огромную массу авторитарно-принудительных моментов, тогда как организационный принцип социализма — товарищеское сотрудничество. Следовательно, здесь перед нами был один из „прообразов“ социализма; однако прообраз, и практически, и научно более ценный для развития человечества, чем все предыдущие, по огромности и своеобразию того организационного опыта, уроков положительных и отрицательных, которые он в себе заключает, а также, надо полагать, и по прямой подготовке некоторых элементов и методов будущего высшего строительства.

¹⁾ Эта характеристика судьбы разных наслоений капитала при военном коммунизме не раз была формулирована Н. Лениным в его программных речах и докладах. Она также интересна, как яркая иллюстрация более общего закона „послойного разрушения“, раньше установленного Т. Рибо и другими для человеческой психики. Суть его в том, что когда сложная система начинает разрушаться в целом, то процесс этот идет как бы послойно, начиная с позднейших и более сложных формирований этой системы, переходя к более ранним и более простым.

е) После-военная мировая конъюнктура.

Формальным завершением мировой войны был Версальский мир 1919 г. В настоящее время вполне выяснено, что экономически он завершением мирового военного кризиса отнюдь не явился. Методы того же финансового капитализма, который был источником кризиса, господствовали всецело в версальском решении экономических и политических вопросов. Одна группа монополистов одержала победу над другою и стала закреплять эту свою победу путем всестороннего и беспощадного ограбления другой стороны, как и полного ее военного обесценивания: гигантские контрибуции, аннексии, расчленение побежденных стран с созданием ряда новых мелких государств, разного рода таможенные и иные привилегии странам-победительницам, и т. п.

Уже теоретически легко представить, что путем воплощения и дальнейшего развития тех же тенденций, которые кризис породили, нельзя получить действительного выхода из этого кризиса, т.-е. успешного и надежного восстановления мирового хозяйства, перехода к новому относительно-устойчивому равновесию. Практически это и обнаружилось во всем дальнейшем ходе вещей, вплоть до настоящего времени.

Основные моменты задачи ликвидации кризиса сводятся к следующим:

- а) восстановление [разрушенных элементов производства, и вместе с тем
- б) восстановление нормальных, „мирных“ функций производственного аппарата, его „демобилизация“;
- с) восстановление разорванных экономических связей мирового хозяйства;
- д) восстановление нормальных функций денежного обращения и государственно-финансового хозяйства, расстребленных бумажной „инфляцией“ и гигантским ростом государственных долгов.

Из этих четырех моментов главным, центральным следует считать именно третий—восстановление мировых экономических связей. Разрушения и функциональные извращения мировой хозяйственной системы в развитии кризиса оказались так огромны,

что только при дружном сотрудничестве всех ее частей возможно было сколько-нибудь успешное решение задачи ¹⁾.

Победивший в войне экономически-политический концерн Антанты всего менее стремился к организации дружного мирового сотрудничества наций, хотя и для него, конечно, ликвидация кризиса являлась насущным жизненным интересом. Над Версальским миром и всей политикой этого концерна тяготели старые методы, выработанные предыдущими фазами буржуазного развития—эпохой конкуренции, затем эпохой борьбы монополий. Эти методы исключают идею экономического целого,—а на ней только может основываться общая хозяйствственно-политическая планомерность.

Материальные потери войны победители пытались в форме чудовищной контрибуции („репараций“) переложить на побежденную сторону, которая и без того была истощена до последней крайности; при этом сами же ее еще более ослабили аннексиями и политическим расчленением, а ее хозяйственное развитие затруднили жестокими экономическими стеснениями. Эти стеснения, связанные с таможенными и иными привилегиями для победителей, были направлены к тому, чтобы сделать побежденные страны обеспеченным рынком для победительниц, в то же время как можно меньше допуская товары первых на свои рынки: одностороннее соотношение, заключающее в себе экономическую несовместимость, ибо и побежденным необходимо продавать, чтобы покупать, и чтобы еще платить контрибуции.

Помимо того, вся система экономических связей Европы была запутана и как бы засорена „балканизацией“ Европы, созданием за счет побежденных стран и против них множества мелких государств с причудливо-переплетающимися границами; обусловлен-

¹⁾ Приблизительные итоги стоимости мировой войны:

- а) разрушение рабочей силы: не менее 8 миллионов погибших, от 15 до 20 милл. искалеченных в разных степенях инвалидности; т.-е. 16—18 миллионов убыли лучших рабочих сил;
- б) материальные разрушения и прямые военные затраты—от 300 до 400 миллиардов золотых рублей;
- с) косвенные материальные потери—от порчи и расстройства функций всего экономического механизма—не меньше такой же величины.

Сумма государственных долгов, по Кайо, до войны—220 миллиардов франков (франк— $\frac{3}{8}$ золотого рубля), после войны—1.500 миллиардов.

Надо еще иметь в виду, что косвенные материальные потери продолжались и после окончания войны.

ные стратегическими и политическими расчетами победителей, границы эти, как и самое существование этих новых вассальных государств, экономически в большинстве случаев бессмыслицы; их таможенные преграды затрудняют международный товарообмен, их отдельные бумажно-денежные системы запутывают его расчетную технику, их лишние государственные механизмы ложатся дополнительным бременем на разоренные народы.

Задача демобилизации производственного аппарата, как мы указывали, особенно трудна, так как требуется восстановить его нормальную сложность и разносторонность из того одностороннего упрощения, которое было проведено военным хозяйством. Трудность еще увеличивается тем, что в решении этой задачи каждая страна очень мало может пользоваться обменной помощью других стран, и не только вследствие порчи системы связей, но еще более потому, что другим странам нужна точно такая же демобилизация; военное извращение производства произошло и в нейтральных странах, которые во время войны успели превратиться в экономический „тыл“ для стран воюющих. Наконец, очень важно то, что всякое промедление в деле демобилизации, всякое его затягивание увеличивает его трудность: военный материал продолжает тогда накапливаться, а элементы нормального, мирного производства дальше растратываются в производстве военном, или разрушаются без употребления.

По отношению к демобилизации был избран как раз путь ее затягивания. Была, правда, разоружена Германия, до полной беззащитности против даже самых мелких вассалов Антанты, которыми она оказалась окружена. Но в Германии победители, за ее счет, продолжали сдерживать большие оккупационные армии. Новые же мелкие государства спешили обзаводиться для себя также армиями, соответствующими их хищническим аппетитам, но далеко не пропорциональными их экономическим ресурсам. Против России, причисленной к побежденным странам за свое стремление выйти из войны и из подчинения концерну союзников, велась военная интервенция путем формирования повстанческих армий внутри ее и путем нападения на нее армиями мелких соседей, а также войсками самой Антанты извне. Такая же интервенция велась и против Турции; предпринимался одновременно ряд колониальных экспедиций и т. д. Снабжение всех этих армий и авантюров, равно как продолжавшееся, вопреки всем бумажным „разоружениям“, развитие вооружений у самих побе-

дителей давали выход для сбыта накопленных и еще неиспользованных военных запасов Антанты, а также для продолжавшегося дальнейшего военного производства¹⁾). Так замедлялось и откладывалось решение труднейшей экономической задачи, чем углублялась явная и скрытая дезорганизация всей системы.

Суровым указанием на невозможность старыми методами выйти из противоречий невиданно нового положения явился парадоксальный кризис 1921—1922 гг., — кризис общего „перепроизводства“ среди общей разрухи и обнищания. Он — яркое подтверждение марксовского понимания кризисов. Его корнем явилось не столько расширение производства, стоявшего в 1921 г. далеко ниже до-военного уровня, сколько уменьшение покупательной силы народных масс вообще и разорение побежденных стран в особенности.

В цепной связи мирового хозяйства звеном огромной важности являлась Германия с ее экономическими вассалами, и очень большое значение имела также Россия, гигантская колония для промышленного капитала, главным образом Германии, для кредитного капитала, главным образом Франции.

Германия была не только могущественным производителем, но и богатейшим покупателем на мировом рынке; Россия была незаменимым для зап. Европы, географически близким и дешевым поставщиком хлеба и сырья. Разоряя Германию, а вместе с тем обременяя ее непосильными платежами, концерн победителей не только из хорошего покупателя делал ее плохим, но и превращал ее в тяжелого конкурента для своей промышленности: поскольку Германии для платежей требовалось во что бы то ни стало деньги, она принуждена была выбрасывать на мировой рынок массы товаров по чрезмерно пониженным ценам, основанным на низкой заработной плате; конкурировать с этими ценами победителям было практически невозможно; а поскольку Германия должна была отдавать контрибуцию продуктами, тем самым соответственно суживался спрос для собственной промышленности победителей. То и другое вело к увеличению у них безработицы, к подрыву потребительской базы также их внутреннего рынка.

¹⁾ Теперь, через 5 почти лет после окончания войны, ежегодные мировые расходы на вооружение в три с лишним раза превосходят до-военную их цифру (18—19 миллиардов золотых рублей против 6 млрд.).

Россия была интервенцией, блокадой и всею разрухой какбы вырвана из связи мирового хозяйства. Это поставило европейскую индустрию по отношению к сырью в усиленную зависимость от Америки. Америка же, которая сама развила колосальную индустрию, притом также с большими трудностями переходила на мирное производство, давала сырья как можно меньше и по очень дорогой цене. Дорогое сырье взвинчивало цены и тем самым суживало рынок для европейской промышленности.

При таких условиях, а главное—при общем обнищании народных масс, уже не особенно большое расширение производства после войны привело к общей недостаточности спроса и к кризису „перепроизводства“. По форме он сходен со старыми кризисами, но в их „циклах“ его ввести, конечно, нельзя—он своеобразное отражение военного мирового кризиса, его производная экономическая волна ¹⁾.

Кризис понемногу ликвидируется. Из него уже вышла Америка, начинает выходить, с колебаниями, Англия. Но главного это, конечно, не решает.

Политический концерн Антанты распался, утратив свою „военную“ связь. Америка ушла из него немедленно после Версальского мира, чтобы иметь свободу действий на своих главных „полях экспансии“—во всем Новом Свете и восточной Азии, а также чтобы освободиться от обязанности поддерживать обединенную и полную условий дальнейшего разорения Европу. Кризис обострил антагонизмы интересов и в остальной Антанте: Англия и Франция теперь стоят друг против друга на почве как ближней Азии, где их интересы всегда расходились, так и Германии, которую Франция стремится экономически добить ради самосохранения, Англия же предпочитала бы эксплуатировать и вообще сохранить, как хорошего экономического клиента. Обе стороны спешно вооружаются. Положение обостряется до безвыходности, не исключающей рецидива войны.

1) Глубочайшее непонимание целостно-связанной природы мирового хозяйства, органически неизбежное при старых формах мышления, иллюстрируется брюссельской финансовой конференцией специалистов, которую собрала Лига Наций в сентябре 1920 г. В числе главных мер оздоровления мировых финансов эта конференция рекомендовала—расширять, по возможности, производство и сокращать, по возможности, потребление. Тут вся наивность частно-хозяйственной точки зрения, прилагаемой к общественному хозяйству. Потребление и так достаточно сокращалось—через несколько месяцев наступил кризис „перепроизводства“.

Капиталистический мир ощущает, стихийно ищет нового равновесия. Но в старых формах финансового капитала с его милитаризмом найти такого равновесия он, разумеется, не может.

f) Путь падения золотой денежной базы.

Послевоенная конъюнктура обнаружила в усиленной степени явление, которое наблюдалось и до войны, но оставалось в своих основах не объясненным: „вздорожание“ товаров по отношению к золоту. С конца XIX века и в течение всей довоенной фазы финансового капитализма неуклонно возраставшая „дороговизна жизни“ вызывала тревогу, волнения, порою и стихийные выступления со стороны трудовых классов, не только пролетариата, но и мелкой буржуазии, заработка которых лишь с немалым опозданием и обычно не в полной мере следовал за повышением цен. Военная дороговизна, присоединившись к этой тенденции, как бы замаскировала ее своим значительно более резким подъемом, зависевшим от специально-военных условий—недостатка продуктов и особенно от ослабления или разрыва экономических связей. Картина осложнилась еще развитием неразменно-бумажного обращения, при котором „инфляция“, т.-е. чрезмерный для рынка выпуск бумажек, автоматически увеличивает номинальные цены, хотя отношение товаров к золоту этим, собственно, не меняется. По окончании войны, с восстановлением мирового рынка, чисто „военная“ дороговизна должна была отпасть, а номинальное вздорожение легко отстранить простым расчетом валютных курсов. Однако оказалось, что общая дороговизна сделала еще огромный шаг вперед.

В 1918—1920 г.г., до кризиса, цены товаров на золото были на главных рынках выше цен 1914 г.—момента перед войной, — в 2,4—3,2 раза. Кризис, правда, вызвал резкое их понижение, но и то отнюдь не до нормы передвоенной, а до величины в 1,4—1,9 раз выше ее. Надо, однако, помнить, что кризис „перепроизводства“, с каким мы здесь имеем дело, порождает преувеличенное падение цен, и что с ликвидацией кризиса должно получиться новое их повышение, что сейчас в общем и наблюдается по мере этой ликвидации в отдельных странах. Поэтому можно думать что нормальное—поскольку о „нормальном“ тут вообще можно говорить—соотношение цен на золото нынешнего времени с передвоенными было бы средним между указанными

крайними, примерно 2—2,5; т.-е. за несколько лет войны покупательная сила золота упала в два раза с лишним. Чем это объяснить?

Марковский анализ денег, выполненный в эпоху промышленного, но еще не финансового капитализма, показал, что при нормальном ходе капиталистической жизни покупательная сила золотых денег не колеблется в зависимости от их спроса—предложения. Когда золота на лицо больше, чем надо для обращения, излишек уходит в область „сокровища“; когда золота для обращения товаров не хватает, на свет выходит часть „сокровища“ и дополняет недостающее; существование такого регулятора и дает устойчивость денежному обращению. Не меняют этого и банковые билеты—разменные бумажные деньги, как представители золота, которые свободно по мере надобности им замещаются.

С этой точки зрения устойчивое понижение покупательной силы золота, ускоренное за эпоху войны, но, как мы знаем, имевшее место и раньше, приводит нас, повидимому, к такой дилемме: либо значительно понизилась трудовая стоимость золота, что было бы возможно при очень быстром техническом прогрессе в его добывании; либо повысилась трудовая стоимость всех товаров, что было бы возможно в случае общего понижения производительности труда, за исключением отрасли, доставляющей золото.

Для первого решения никаких фактических оснований не имеется: революции в технике добывания золота не произошло, новых исключительно богатых его источников не найдено, усовершенствования в добывании происходят, но незначительные, и даже их влиянию на трудовую стоимость золота противодействует постепенное истощение золотых россыпей и рудников: добыча золота на деле падала за последние годы.

Второе решение невероятно еще в большей мере. Падение производительности труда во всех отраслях, примерно, вдвое или еще больше, было бы огромной технической катастрофой, не заметить которой немыслимо. Если принять во внимание, что норма прибавочной стоимости (она же—норма эксплоатации), насколько статистика доходов трудовых и нетрудовых позволяет приблизительно о ней судить, имела в конце XIX—начале XX века величину между 100 и 150%, то падение производительности труда вдвое или более, чем вдвое означало бы почти полное или даже

полное уничтожение прибавочной стоимости: эта норма в 100—150% обозначает ведь именно то, что рабочий в среднем производит в 2—2½ раза больше того, чем получает; а тут в таком же масштабе падает производительность его труда, следовательно, он производит уже приблизительно столько, сколько и получает. Но капиталистическая жизнь без прибавочной стоимости невозможна.

Да и помимо того, непрерывный технический прогресс в огромном большинстве отраслей производства за всю эпоху финансового капитала, и даже за время войны, остается одним из наиболее достоверных фактов, из каких мы можем исходить.

Но если вся наша дилемма падает, то очевидно, что решения вопроса следует искать в каких-то новых условиях, не вошедших в марксовский анализ денежного обращения, т.-е., надо полагать, в тогдашней фазе капитализма не игравших заметной роли. Какие же это условия?

Старые экономисты знали только неразменную бумагу инфляцию. Инфляция собственно золотая, как мы видели, устраивается регулирующей функцией золота — сокровища. Но с эпохи финансового капитализма идет, раньше слишком слабое, чтобы быть заметным, развитие новой формы инфляции; в основе ее лежат ценности, которые можно назвать „бумажным золотом“. Это — ценные бумаги, в той или иной форме, гарантированные на золото.

Таковы, напр., облигации внешних государственных займов, проценты по которым уплачиваются золотом, а также облигации внутренних золотых займов и другие кредитные документы с такими же гарантиями, а равным образом и акции, по которым дивиденд выплачивается золотом или разменными знаками. Подобные ценности своеобразно эквивалентны золоту, хотя за ними не лежит достаточного золотого фонда для их покрытия; и подобно золоту они, прямо или косвенно, служат покупательными средствами. Если облигация займа дает 5 рублей золотом в год, или если надежная акция приносит столько же золотого дивиденда, то они обладают, с точки зрения рынка, действительной „золотой“ ценностью, напр., по 100 рублей, и поскольку они обращаются на рынке, они и представляют именно такую золотую покупательную силу, не переставая на деле быть бумагами. Роль же „сокровища“ им свойственна, конечно, в гораздо меньшей степени, чем золоту, ибо гарантии материальной (так

сказать, химической), какая заключается в золоте, они не представляют. И мы знаем, что они вообще не лежат сокровищем, а массами обращаются на рынке. Как орудие покупки они присоединяются ко всему обращающемуся золоту, и оно уже не одно, а вместе с ними противостоит всей сумме товаров. Так получается перевес „золотой“ покупательной силы над наличностью товаров, которые она должна покупать, и сама эта сила соответственно падает. Результат — „вздорожание“ товаров, не эпизодическое, относящееся к тем или другим из их числа, а общее.

Понятно, почему оно со значительной резкостью выступает именно в эпоху финансового капитала, когда, с одной стороны, развивалось господство акционерной формы предприятий, с ее типичным „разбавлением“, т.-е. раздуванием бумажно-золотого капитала, с другой стороны, шел невиданно-быстрый рост милитаризма и с ним — государственно-долговых обязательств. Неудивительно также и то, что процесс обострился за годы войны, когда сумма государственных долгов разных стран возросла с 220 миллиардов франков до 1.500 миллиардов, т.-е. в оборот было включено на 1.280 миллиардов франков бумажного золота. И пока эта лавина не устранена, нет оснований считать прочным понижение цен, вызванное кризисом.

Указанная нами причина роста дорожевизны должна быть признана главной и основной: она одна, во-первых, действует неизбежно при данных условиях и, во-вторых, характеризуется всеобщим масштабом.

Существуют и другие моменты, влиявшие, несомненно, в том же направлении. Из них на первом плане надо отметить развитие протекционизма, также отличающее эпоху финансового капитала; затем возрастание земельной ренты в колониях, дающих сырье и хлеб, возрастание, происходящее вследствие исчерпания их свободного земельного запаса. Но и эти, относительно важные, моменты все же ни по силе действия, ни, особенно, по его широте не соответствуют изучаемому явлению в его целом.

Как видим, движущая сила мировой дорожевизны лежит, собственно, в развитии рабства, социального паразитизма, питающегося рентоносными свойствами бумажного золота. Но в той же дорожевизне заключаются немаловажные элементы стихийного социального приспособления.

В самом деле, она равносильна объективной ликвидации довольно значительной части тяготеющей над массами мировой за-

долженности. „Золотые“ долги и проценты по ним выплачиваются продуктами народного труда; падение золота в 2— $2\frac{1}{2}$ раза означает поэтому реальное сведение величины долга к половине—двум пятим. А если прибавить к этому, что, за исключением высоково-валютных стран, большинство внутренних займов, выплачиваемых бумажками, сократилось благодаря падению курса еще гораздо сильнее—в целом ряде стран до практического аннулирования—то это уже составляет большое облегчение для народов. Фетишизм „золотой“ и „денежной“ ценности, от которого все это зависит, здесь выступает в роли полезного регулятора.

В то же время здесь наносится тяжелый удар экономической силе финансового капитала, специфически-преобладающей формой которого является бумажно-золотая и вообще бумажная.

Вместе с тем, все виды инфляции вместе подрывают корни денежного фетишизма, а инфляция бумажно-золотая—и объективную базу капиталистического денежного обращения, а через это всего современного товарообмена. Тут перед нами процессы разложения, дальнейший ход которых предусмотреть в настоящее время трудно, но значение которых уже огромно и должно в дальнейшем еще возрастать.

Коллективистический строй.

История капитализма охватывает несколько столетий, период очень значительный с точки зрения отдельной личности, но почти ничтожный с точки зрения человечества. Для социальной науки, предмет которой не личность, а коллектив, весь капитализм, с его бесчисленными противоречиями, непрерывной борьбой, неустойчивыми равновесиями, движением от одних кризисов и революций к другим, есть не более, как переходная фаза между двумя органическими общественными системами, длительная революция методов производства и форм сотрудничества. Предел, к которому тяготеет эта революция, есть коллективистический строй.

Так как строй этот до сих пор нигде не был осуществлен, то может показаться научно-неправильным ставить его в один ряд с исторически известными социальными формациями, рассматривать его, как объект научного исследования: не значит ли это выходить из рамок опыта? Но такая мысль была бы крайне ошибочна. Самый смысл науки вообще заключается в объективном предвидении. Будущее для нее заключается в тенденциях настоящего и прошлого, которые могут быть объективно установлены и сопоставлены. Предвидение получается тут, конечно, лишь относительное, условное; но таковы и все выводы науки; только абстрактный фетишизм придает им иное, абсолютное значение. Различна степень полноты и точности предвидения; для науки столь молодой, имеющей дело со столь сложными явлениями, как политическая экономия, она, естественно, ниже, чем для других наук, более выработанных и оперирующих с более простыми комплексами. Это надо иметь в виду при формулировке выводов.

Методы, на которые в данном случае опирается исследование, суть абстрактный анализ и дедукция. Среди социальной действительности надо отчетливо выделить основные тенденции

развития; затем скомбинировать их, мысленно продолжая их до того жизненного предела, до которого они остаются взаимно совместимы. Это—те же самые приемы, которые приходится применять—но в обратном направлении—тогда, когда требуется восстановлять картину до-исторических социальных формаций. И здесь, и там руководящим принципом служит приспособление общества к условиям его трудовой борьбы за существование.

Конечно, мы можем таким путем выяснить лишь самые общие, но зато и главные черты социальной системы доступного нашему предвидению будущего.

Надо иметь в виду, что все этим методом полученные выводы относительно нового общественного строя предполагают одну необходимую жизненную предпосылку, а именно—прогрессивное развитие общества. История знает примеры перехода обширных социальных систем к застою и деградации. Понятно, что в этом случае все расчеты, основанные на мысленном продолжении наблюдавшихся тенденций развития, оказались бы в корне ошибочными. Поэтому предвиденьям относительно будущей организации общества следует придать условную форму: „если прогресс производительных сил будет продолжаться, и человечество будет способно разрешить стоящие перед ним исторические задачи, то вот какие экономические отношения выработаются на место нынешних...“ Следовательно, остается еще вопрос о прогрессе или деградации.

Мы будем исходить из благоприятного предположения. Хотя мировая война у многих и вызвала опасения за судьбу всей современной цивилизации, но все же это пока только опасения, не более. До последнего времени в капиталистическом обществе наблюдалось неуклонное возрастание власти труда над природою, накопление элементов жизни и развития, прогресс организующих сил. Базис дальнейшего движения общества вперед колоссально расширился; прочный переход к упадку слишком мало вероятен.

I. Техника при колLECTИВИЗМЕ.

а) МАШИНЫ: ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, МЕХАНИЗМЫ.

С тех пор, как возникло машинное производство¹⁾, весь ход истории говорит о гигантской будущности его методов. Его прогресс идет с возрастающей быстротой и делается все более планомерным, все менее зависящим от случайности изобретательского гения. О том ярко свидетельствуют „фабрики изобретений“, лаборатории изысканий и усовершенствований при крупнейших предприятиях, синдикатах, трестах.

Условия капиталистической эксплоатации стесняют еще прогресс техники. Капиталист может вводить отнюдь не всякую машину, которая сберегает человеческий труд, т.-е. которая реально повышает власть общества над природою,—а только такую, которая коммерчески прибыльна, т.-е. стоит дешевле, чем ее замещаемая рабочая сила. Но при покупке рабочей силы капиталист реально оплачивает лишь необходимое рабочее время тогда как при покупке машины он оплачивает и необходимое, и прибавочное. Поэтому часто машина технически-полезная не находит применения в капиталистическом производстве. Это ограничение неизбежно существует до конца капитализма, но радикально устраняется при колLECTИВИЗМЕ, в котором экономический учет методов производства не подчинен фетишу прибыли, а относится всецело к человеческому труду. Тогда не теряется ни одна из возможностей технического прогресса, и уже в силу одной этой причины должен быть далеко превзойден современный темп развития производительности труда, который, однако, нам кажется таким стремительным.

Мы подчеркиваем это различие потому, что одна из любимых тем буржуазной апологетики—указание на максимальную будто бы техническую прогрессивность капитализма, указание, как видим, совершенно неверное.

Ясно, что основой колLECTИВИЗМА должно явиться машинное производство в более высокой, чем нынешняя, фазе его развития. Чем же эта фаза характеризуется?

1) Термином „машинное производство“ здесь обозначается научная техника вообще, со всеми ее физико-химическими методами; машина—ее типическое орудие.

Марксовский анализ машины показал, что она слагается из трех частей: генератора (источника) силы, передаточного механизма, рабочего инструмента. Для каждой из этих частей можно констатировать в настоящее время особые тенденции прогресса.

В современной индустрии основной источник энергии — каменный уголь, сожигаемый в паровых машинах. Потребление угля быстро и непрерывно возрастает, а запасы его в земной коре ограничены и не возобновляются, и к тому же сконцентрированы в немногих местностях. Еще меньше и реже запасы способной заменять уголь нефти. Целые обширные страны, как Италия и, до конца мировой войны, Франция, были стеснены в развитии своего промышленного капитализма благодаря недостатку минерального топлива¹⁾. Другие страны, как Англия, Соединенные Штаты, Германия, опираясь на богатство этого материала, жили интенсивнейшей экономической жизнью. Но и они должны переходить ко все более глубоким пластам, и при нынешней скорости расширения производства угольное будущее для этих стран также становится все более темным.

Естественно, что машинная техника направляет величайшие усилия к отысканию новых источников энергии. На первой оче-реди стоит электричество. Оно представляет по сравнению с силой пара огромные преимущества. Оно легко превращается во все другие формы энергии и так же легко из них получается. При помощи новейших трансформаторов его энергия со сравни-тельно малыми потерями передается по проволокам на большие расстояния. Кроме того, она поддается точному делению на произвольно-малые части, детальному распределению, учету и кон-тролю. Вообще — это наиболее гибкая из известных нам сил при-роды. Электротехническими методами удается уже теперь широко утилизировать энергию многих водопадов, силу падения рек; в будущем сюда присоединятся такие грандиозные силы, как мор-ские приливы; удастся, конечно, также использовать путем ак-кумулирования непостоянную энергию ветров и бурь и т. п. Уже теперь местами, напр., в некоторых областях бедной то-пливом Италии, преобразованная в электричество водная сила

¹⁾ Для Франции это было одной из главных причин превращения ее в страну международного ростовщичества.

становится базисом индустриального развития, замещая уголь ее и называют „белым углем“¹.

Все это вместе образует огромное поле для трудового завоевания стихий,—поле, которого хватило бы человечеству при нынешнем темпе его развития, вероятно, на сотни лет. Но работа над электричеством и производными от него явлениями открыла еще иные, несравненно более грандиозные перспективы: внутриатомную энергию.

Оказалось, что все доныне известные человечеству формы энергии—лишь результат частичного освобождения тех ее запасов, которые накоплены в атомах материи, запасов неизмеримых, превосходящих всякое воображение. Оказалось, что под метафизическими-неподвижною оболочкою „неразрушимо-вечных“ химических элементов скрывается самое напряженное движение и вечное разрушение. В поле труда, но пока вне его власти, находятся количества сил, в тысячи миллионов раз превышающие те, какие были найдены раньше. Перед научной техникой выступает новая задача, наиболее революционная из всех, какие когда либо ею ставились.

Можно с уверенностью сказать, что сколько-нибудь полного разрешения этой задачи не достигнуть нынешнему, анархически раздробленному человечеству. Но даже очень частичное разрешение само по себе повело бы к преобразованию всей социальной организации: оно должно дать в руки людям такие гигантские и грозные силы, которые необходимо требуют контроля общечеловеческого коллектива, иначе они могут оказаться гибельны для всей жизни на земле.

¹⁾ Экономисты, идеализирующие мелкое производство, возлагали большие надежды на электричество, в виду делимости и легкой передачи его энергии, как на фактор воскрешения ремесла: им представлялись самостоятельные мастерские, рассеянные в городах и деревнях, с мелкими моторами, питающимися от центральных станций. Нечего и говорить, что самостоятельного мелкого производства таким способом не получилось бы: оно оказалось бы в кабаде у крупных электрических предприятий. В настоящее же время гибкость электрической энергии всего лучше эксплуатируется именно крупным производством для того, чтобы избавиться от сложных, дорогих и занимающих много места передаточных приспособлений, распределяющих энергию генератора между станками. Так, текстильная промышленность переходит к системе отдельных маленьких электромоторов для каждого станка.

Так или иначе, есть все основания думать, что техническую основу колLECTИВИЗМА составит использование неограниченno-широких, по сравнению с доступными теперь человечеству, запасов энергии, приводимых к максимальнo-гибким формам.

Эволюция другой стороны машинного производства—передаточных механизмов—намечается не менее достоверно и ясно. Это— дальнейшее развитие принципа автоматизма.

Автоматический механизм представляет пока высшую форму машины. Но уже теперь в целом ряде частных приспособлений и усовершенствований обнаруживается стремление к новой, еще более высокой ступени—механизму, автоматически регулирующемуся. Многие функции надзора за машинами от работника переходят к различным контрольным и предохранительным аппаратам, при чем не только сводится ко все меньшей величине вмешательство работника в движения машины, но и самые эти функции выполняются, конечно, гораздо точнее и быстрее. Наиболее простые приспособления такого типа, различные „регуляторы“ силы пара в котлах, силы тока, скорости машины и т. п., существуют уже давно. Сюда же относятся автоматически-сигнальные приборы, извещающие работника о необходимости его вмешательства, а также такие, которые останавливают машину при определенных нарушениях ее хода и т. д.

Но при капитализме стремление техники к выработке регулирующих аппаратов поставлено экономическими условиями в сравнительно узкие рамки. Капиталист покупает рабочую силу, как всякий другой товар, и вводит усовершенствования, замещающие рабочую силу, только тогда, когда этим путем получает на ней достаточно серьезную экономию. Для него автоматически регулируемые механизмы вообще невыгодны. Если у него уже имеются весьма совершенные машины нынешних типов, и при них сравнительно небольшое число работников, то какой ему расчет переходить к еще гораздо более совершенным машинам? На их оборудование или приобретение лишний расход потребуется очень большой, а сбережение на рабочей силе может быть только небольшое, потому что и весь расход на нее уже относительно невелик. Здесь коммерческая точка зрения капитала останавливает техническую революцию. И потому теперь единственная область, где можно найти саморегулирующиеся

механизмы—это военное дело, сфера не производства, а разрушения. Там техническая задача господствует над коммерческой, и там уже существуют автоматически регулируемые подводные торпеды, воздушные мины и т. п. аппараты.

Лишь при колLECTИВИЗМЕ все коммерческие расчеты неизбежно отпадают, интересы рабочей силы становятся руководящим принципом, поднятие человеческого труда на высшую ступень, с устранением из него всяких функций низшего порядка, выступает как основная задача. Тогда автоматически-регулируемые механизмы приобретают значение основного типа техники.

Рабочий инструмент есть последняя и простейшая часть машины. Здесь прогресс должен сводиться к дальнейшему развитию точности и целесообразности формы инструмента; качественно-новых тенденций пока на намечается.

Есть одна техническая область, которая должна сыграть существенно важную роль в подготовке новой социальной организации. Это—способы сообщения, транспорта и сношений. Тут происходит на наших глазах грандиозная революция: воздушные сообщения и беспроволочный телеграф, очевидно, призваны преодолеть последние перегородки, последние материальные препятствия к общению людей на поверхности земли. Важнейшая техническая трудность в деле образования общечеловеческого коллектива отпадает.

b) Рабочая сила.

Изменения в средствах производства определяют изменения в рабочей силе. Еще при капитализме ее глубоко преобразовывает машинное производство. Шаг за шагом специализированная физическая ловкость утрачивает свое значение, а на первый план выступает развитие интеллекта и воли—культурный уровень работника. Работа при машинах требует прежде всего внимания и понимания, той технической сознательности, которая дает исходную точку и опору также для поразительного идеологического развития пролетариата. Это зависит от того, что в работе с машинами все в большей степени совмещаются функции типа „организаторского“ и типа „исполнительского“, прежде находившиеся в резком разделении: управление машиной и

контроль над нею, с одной стороны, непосредственное физическое воздействие на нее—с другой.

Но все же в нынешней фазе машинного производства совмещение обоих типов далеко еще от своего завершения. О том свидетельствуют наличие и важная роль в производстве специализированного интеллигентского труда, в лице разных ученых техников, инженеров. Даже и при автоматических механизмах наряду с технически-сознательным работником необходим техник интеллигент, как руководитель работы. Рабочая сила остается принципиально дифференцированной на два рода—простую и научно усложненную.

Поднятие техники на ступень автоматически регулируемых механизмов должно обусловить новый шаг в развитии рабочей силы. Уровень „простой“ рабочей силы должен оказаться еще значительно выше. От рабочего будет требоваться не только техническая сознательность—общее понимание механизма, толковость, дисциплинированное внимание,—но и оформленное, точное техническое знание. Он должен будет время от времени производить сопоставление и оценку данных, доставляемых различными регулирующими аппаратами машины, и каждый раз сообразовать свое вмешательство с выводами, вытекающими из совокупности этих данных. Словом, это будет по необходимости настолько же инженер, насколько рабочий: тип синтетический, сливающий в себе раньше разделенные функции.

Если при этом и будет еще сохраняться роль инженера-руководителя над группой работников, то она не будет качественно отличаться от роли этих работников: „организатор“ будет оперировать тем же методом, только над более широким материалом технических данных. На лицо будут иметься различные степени развития рабочей силы, но не различные типы.

Разумеется, на ранних стадиях колLECTивизма саморегулирующиеся машины еще не будут количественно преобладать в технике производства. Но раз сложится культурный тип соответствующей им рабочей силы, к нему неизбежно будет тяготеть развитие всей рабочей силы общества. Высшая форма техники в этом смысле вообще является определяющей, раз между нею и формами низшими в системе производства нет резкого ограничения. Так и в современном строе развитие пролетариата тяготеет к тому культурному типу, который создается более со-

вершенными формами машинной техники, хотя они еще не самые распространенные: культура коллектива вырабатывается в егс передовых слоях и усваивается остальными. Эту тенденцию усиливает текучесть рабочей силы, свойственная уже капитализму, частые, вынужденные или добровольные, переходы от одних видов работы к другим, из одних предприятий и даже отраслей в другие, в нашу эпоху порождаемые колебаниями рабочего рынка, в будущем строе, как увидим, другими причинами.

Развитие машинного производства еще при капитализме начинает преодолевать и другую форму трудовой ограниченности—техническую специализацию работников. Психологическое содержание различных трудовых процессов становится все более однородным: специализация переносится на машину, на рабочий инструмент, а что касается различий в опыте и в переживаниях самих работников, имеющих дело с разными машинами, то эти различия все более уменьшаются, а при высшей технике делаются ничтожны по сравнению с той суммой сходного опыта, одинаковых переживаний, которые входят в содержание труда— наблюдения, контроля, управления машиною. Специализация при этом, собственно, не уничтожается—отрасли производства фактически не смешиваются между собою, каждая имеет свою технику,—а именно преодолевается, теряет свои вредные стороны, перестает быть сетью перегородок между людьми, перестает суживать их кругозор и ограничивать их общение, их взаимное понимание.

На заре жизни человечества все рабочие силы родовой группы были принципиально однородны, различаясь лишь количественно, всякий труд был простым; труда квалифицированного не было вследствие технической слабости общества, низкого уровня культуры. Система колlettivизма вновь должна уничтожить разграничение простого и квалифицированного труда, но уже на основе высшей культуры, сливающей их воедино.

II. Экономическая сторона коллективизма.

а) Сотрудничество.

Капитализм расширил систему сотрудничества до мировых размеров, но только в неорганизованной, анархической форме, воплощением которой служит связь рынка. Что касается сотрудничества организованного, господствующего внутри самостоятельных предприятий, то и его капитализм непрерывно развивает путем накопления капиталов и их централизации: оно теперь уже достигает невиданных раньше размеров, объединяя в гигантских предприятиях десятки, иногда сотни тысяч рабочих. В анархическом разделении общественного труда коренятся все противоречия капитализма, с развитием этой формы сотрудничества они обостряются. В развитии же организованного разделения труда подготавливается путь и возможность их преодоления.

Коллективизм доводит организованное сотрудничество до предельной величины, по всей линии замещая им анархическую форму связи: все общество становится единым предприятием.

Это, однако, не означает обязательно пространственной централизации производства, напр., такой, какую притягательная сила рынка при капитализме порождает в громадных промышленных городах с миллионами жителей. Эта сила перестает действовать с переходом к системе коллективизма, а территориальное распределение работников определяется всецело интересами самого производства и производителей, интересами, которые тогда вполне совпадают. Совершество путей сообщения и легкость передачи движущей энергии должны облегчить целесообразное рассеяние производства и освободить человечество от чрезмерных скоплений людского материала; скопления эти сыграли свою необходимую роль в сближении, развитии связей и взаимного понимания людей; но затем они становятся объективно ненужными, а между тем они противоречат гигиене и ослабляют единение человека с природою,—великий источник живого опыта и культуры.

Та подвижность рабочей силы, та текучесть человеческих группировок в производстве, которая непрерывно прогрессирует еще в современном строе, должна при коллективизме возрасти во много раз.

Причина не только в том, что переход от одних работ к другим представляет все меньше трудностей с развитием автоматической машинной техники,—и, значит, теряется всякий смысл прикрепления производителя к той или иной специальности. Учащение подобных переходов становится прямо потребностью производства. Новая техника требует такой гибкости ума и воли, такой разносторонности опыта, для достижения и поддержания которых работнику необходимо время от времени менять работу: сосредоточение на специальности порождает только психический консерватизм и узость опыта.

К тому же ускоренный технический прогресс, постоянно новые и новые усовершенствования, не позволяя производителям духовно застывать в рамках специальности, вместе с тем вынуждают частые перемещения рабочей силы, делают в высшей степени подвижными и текучими самые группировки рабочих сил в отдельные производства и их „предприятия“. Особенно важным для человечества будет преодоление современной границы между индустрией и сельским хозяйством на основе научной техники в земледелии, рассеяния промышленности в пространстве и совершеннейших методов транспорта.

В своем целом система сотрудничества при колLECTивизме представляется вполне централизованной, но не в том бюрократически авторитарном смысле, какой обычно придается теперь этому слову. Сознательная и планомерная организация производства не может быть иной, как централистической; но при однородном, товарищеском сотрудничестве центральное объединение не основывается на власти.

В царстве капитала, конкуренции, классовой борьбы, постоянных конфликтов между интересами личностей и коллективов, трудно и представить себе иной способ централизации, кроме подчинения, опирающегося на реальное или возможное насилие; живой пример—современное государство. Однако уже классовая организация пролетариата начинает выработку иного способа: создание центров, выясняющих и осуществляющих волю коллектива, но не управляющих им. Здесь эта тенденция поставлена объективными условиями в сравнительно тесные рамки: противоречия личных интересов с коллективными и в самом рабочем классе далеко не уничтожены, но только ослабляются товарищеским сотрудничеством и возрастающим преобладанием интересов коллективных; а потребности классовой борьбы, необходимые

мость порою быстрых решений и стремительных действий вынуждают сохранять за центрами для известных случаев авторитарно руководящую функцию, придают дисциплине организаций окраску власти—повиновения. С устранением классовой борьбы и экономической конкуренции, условия, стесняющие развитие товарищеской формы централизации, отпадают, иерархически бюрократический оттенок в ней неизбежно отмирает, и она выступает в своем чистом виде.

Для товарищеского коллектива вопрос центральной организации производства есть вопрос о наиболее целесообразном распределении наличных рабочих сил и средств производства, т.-е. задача научно-статистическая—и только такая. Этим определяется характер объединяющего аппарата всей системы производства: статистическое учреждение, в котором непрерывно складываются и обрабатываются все сведения о количестве рабочих сил и производимых продуктов в различных „предприятиях“ и целых отраслях труда.

При общем избытке рабочих сил и величайшей их подвижности, при отсутствии всякой социальной градации видов труда как „высших“, более почетных, так и „низших“, или менее почетных, при объективной, т.-е. социально необходимой и социально признанной равноценности всякого рода полезного обществу труда, вполне достаточно простого опубликования сведений об излишке или недостатке работников в том или ином пункте экономического механизма, чтобы направлять и регулировать распределение производителей согласно потребности коллектива. То, что при капитализме достигается стихийно спросом со стороны рынка, здесь достигается сознательно спросом со стороны общества. Из числа сотен миллионов работников, которые время от времени меняют свои занятия, всегда найдутся необходимые десятки тысяч, чтобы пополнить дефицит рабочей силы, обнаруженный в той или иной отрасли; и, наоборот, если в какой-нибудь из них оказался излишек, то работники других отраслей не будут переходить в нее без особых—случайных и редких мотивов; отлив рабочих сил из нее не будет покрываться, пока не восстановится равновесие.

Такой механизм был бы несовершенным и недостаточным на низком уровне развития производства, когда общество располагает лишь необходимым числом работников для удовлетворения текущих его потребностей. Но на высших ступенях научной тех-

ники, при огромной сумме прибавочного труда, т.е. свободной общественной энергии, всякий риск и всякие неудобства метода отпадают.

Вопрос о длине обязательного рабочего дня в системе коллективизма имеет большое значение только для первых ее стадий, когда пролетариат, завладев классовым господством, вынужден будет дисциплинировать для труда остатки паразитических классов. В этой фазе, как переходной, будут необходимы и известные ограничения свободы в выборе занятий,—в общем, гораздо меньше, конечно, чем те, которые теперь диктуются материальными условиями жизни подавляющему большинству людей. Все подобные вопросы будут разрешаться объективным учетом потребностей производства, опирающимся на весь накопленный опыт.

В развитом же коллективистическом строе длина рабочего дня, подобно выбору занятий, из области принуждения переходит в область свободы. Труд есть потребность человеческого организма, паразитическое вырождение немыслимо в трудящемся коллективе; указания гигиены, с одной стороны, индивидуальные силы и склонности, с другой, вполне достаточны, чтобы целесообразно определить продолжительность той или иной работы для каждого производителя. Центральному производственному аппарату остается тогда в этой области учитывать факты, но не предписывать нормы.

Подводя итоги, мы можем характеризовать сотрудничество при коллективизме, как научно-организованную систему товарищеских связей, централистический коллекти́в, основанный на величайшей подвижности его элементов и их группировок, при высокой психической однородности трудящихся, как всесторонне развитых сознательных работников.

b) Распределение.

Распределение подчиняется условиям и потребностям производства. Его абстрактный закон состоит в том, что каждый элемент общества—группа или отдельный член—должен получать все необходимое для выполнения их производственной функции. Закон этот, действующий до сих пор лишь как стихийная тенденция, с постоянными колебаниями и нарушениями,—в эпоху кол-

лективизма становится принципом научно сознательной организации общества. Формы же распределения, из него вытекающие, должны оказаться различными на различных стадиях этой социальной системы.

Так, в переходную эпоху, когда новый строй только складывается, когда его производительные силы еще ограничены, и принудительная дисциплина труда еще не может быть устранина, распределение должно основываться на пропорциональности между трудом и вознаграждением. Обществу нельзя выйти из этих рамок потому, что иначе в его распоряжении оказалась бы недостаточная сумма труда. Оно должно еще завершить трудовое воспитание своих членов, особенно тех, которые вышли из семей, принадлежавших прежде к господствующим классам; а кроме того, оно вынуждено быть экономным в потреблении, чтобы гарантировать всем достаток, и в то же время быстро расширить и укрепить свою техническую основу, от которой зависят прочность и устойчивость нового строя.

На следующей ступени, когда производительные силы общества доведены до высоты, делающей экономию излишней, когда его организация вполне установилась, а пережитки индивидуализма и паразитизма исчезли, тогда ограничительные мотивы отпадают, и в области распределения воцаряется та же свобода, как в области производства: „от каждого по его способностям, каждому по его потребностям“.

В первой фазе труд „вознаграждается“ обществом, и, следовательно, хотя частное присвоение средств производства уничтожено, но остается индивидуальная собственность на предметы потребления. Во второй фазе понятие „собственности“ одинаково неприменимо ни к средствам производства, ни к предметам потребления: история этой экономической и правовой категории тогда завершена, содержание изжито.

Новый аппарат распределения, заменяющий собою стихийный механизм рынка, должен с самого начала отличаться громадной сложностью; его основу должна составлять точнейшая, непрерывно текущая статистика производимых продуктов и их потребления. Уже современный рынок создает разные подсобные аппараты, являющиеся смутными прообразами будущих методов распределения: осведомительные организации бирж, агентуры и комитеты экспертов при крупных кредитных предприятиях, выясняющие положение рынков, и пр. Еще больше для подготовки

новых форм распределения должны дать рабочие организации типа кооперативов.

Война и военно-государственный капитализм создали новые, более сложные и широкие распределительные аппараты. Но, будучи вообще приспособлены к нынешней, капиталистической системе, все эти зародыши не могут послужить даже непосредственным материалом для новой организации распределения,—а в лучшем случае, как рабочие кооперативы, представляют подготовительную школу для воспитания организаторов, на которых история в переходный момент возложит дело строительства в этой области.

III. Идеология в эпоху колLECTИВИЗМА.

Идеологические особенности колLECTИВИЗМА — необходимый результат его технических и экономических форм, а потому наряду с ними, лишь менее отчетливо, намечаются в растущей уже теперь пролетарской культуре. Мы можем выделить ряд основных характеристик идеологии будущего строя, наиболее важных для вопроса об его экономическом развитии.

а) Развитие речи.

Международный характер финансового капитала и события мировой войны опровергли окончательно старое представление, что колLECTИВИСТИЧЕСКОЕ общество должно возникнуть в рамках, соответствующих нынешнему национальному государству. КолLECTИВИЗМ должен явиться мировой формою организации. По своим основным тенденциям как новая техника, так и новый тип сотрудничества являются общечеловеческими. Это и обнаруживается во все более усиливающемся международном характере классового пролетарского движения.

Речь есть первичная и главная организующая форма для сотрудничества людей; поэтому различие национальных языков есть огромное препятствие, замедляющее процесс выработки общечеловеческой организации, как теперь—в классовом движении, так и впоследствии—в постройке всей системы производства. Отсюда вытекает тенденция к единому языку челове-

вечества, в настоящем мало заметная для поверхностного взгляда, но глубокая и неуклонно прогрессирующая,

Техника машинного производства здесь, как и в других областях, намечает путь. Всякое новое изобретение порождает ряд новых терминов, обозначающих части машин, их функции, отношения к ним работника; и большинство этих терминов переходит во все языки с ничтожными изменениями. Такова же в значительной, и притом возрастающей мере терминология „точных наук“, наиболее общей систематизации технического опыта. Но и в других областях взаимное проникновение различных языков чувствуется сильнее и сильнее.

На этой почве возникла профессионально-интеллигентская утопия искусственного международного языка. Утопия эта исходит из непонимания сущности речи, как социально-организующего приспособления. Единство речи возможно только на основе реального, практического единства жизни всех рас и наций, и только как результат живого коллективного их творчества, но не на основе соглашения экономически, политически, культурно борющихся между собою народов и классов, не как результат кабинетной работы нескольких ученых комиссий. Как ни огромны экономические и культурные выгоды, которые получились бы для человечества от всеобщего распространения одного языка, но это невозможно до уничтожения современных антагонизмов; а язык, выдуманный несколькими лицами, как „волапюк“ или „эсперанто“, было бы особенно непригоден для этого: ни в каком случае он не может обладать такой гибкостью и богатством оттенков, чтобы выразить накопленный тысячелетиями опыт всех народов.

В настоящее время объективная тенденция к универсальному единству речи стеснена и замаскирована влиянием борьбы национальностей, которую усиленно поддерживают и обостряют господствующие классы, стремясь отвести в это русло энергию классовой борьбы нижних слоев общества. Конец классовой борьбы будет также концом конкуренции народов и национальной вражды. Тогда лингвистическое объединение человечества пойдет быстро и легко.

Очень вероятно, что на первых этапах нового строя процесс этот будет ускорен повсеместным распространением одного из национальных языков, напр., языка той нации, которая первою перейдет к системе колlettivизма и по необходимости примет

активное участие в движении пролетариата других наций к той же цели. В сущности, уже теперь английский язык является международным для двух третей человечества (Англия, Америка, Индия, Китай, Япония и пр.).

Но вполне развитой коллективистический строй завершит выработку единого языка общечеловеческой культуры, который будет глубоко отличаться от всех нынешних, потому что новые отношения жизни вместе с новыми понятиями создадут необходимость в новых способах выражать, вариировать и сочетать эти понятия. Единство языка будет громадным сбережением социальной энергии в деле организации труда.

b) Развитие науки.

Трудовое объединение человечества во много раз расширит базис, на который опирается развитие трудового опыта; и на-
копление познавательного материала, уже теперь достигшее гигантских размеров, будет совершаться еще быстрее. При со-
хранении нынешних приемов группировки этого материала, опи-
рающихся на специализацию, наука превратилась бы тогда в бесконечно сложный механизм, никому не доступный в своем целом, и лишь в малых своих частях обозримый для каждого из ученых-специалистов; что же касается остальных людей, то в их сознании наука отражалась бы в смутных и неопределенных очертаниях клочками усвоенной популяризации. Такая наука не только была бы орудием, господствующим над людьми, как всякое орудие, которым люди не в силах сами владеть вполне пла-
нированно; не только была бы также орудием господства ученых специалистов, или тех, кому они служат, — какова в значительной мере нынешняя наука, но, кроме того, ее развитие все более затруднялось бы и стеснялось бы неуклюжей громоздкостью всего ее аппарата. Но мы уже указали, что в науке, точно так же, как в технике, из которой она исходит, намечается новая линия развития, преодолевающая нынешнюю специализацию с ее вредными последствиями: это — одна из основных тенденций пролетарской культуры, растущей на базисе машинного производства.

Специализация выражает собою крайнюю разнородность опыта разных отраслях как труда, так и сокращенно схематизирующего труд познания. Развитие труда в сторону однородности, свойственное машинному производству, изменяет строение опыта

и, следовательно, характер схем познания. Возрастающая монистичность методов технических порождает монистичность методов научных, которые из них происходят.

Начало этого преобразования заключается в преодолении познавательного фетишизма. Мышление, оторвавшееся от своей коллективно-трудовой основы, и благодаря этому извращенно представляющее себя самого и свои продукты, возвращается к ней по мере зарождения и роста нового коллектива и приходит к пониманию себя, как живого, организующего труд, приспособления. Этим уже начинается сближение далеко разошедшихся ветвей познания.

Затем из техники машинного производства возникает новая форма всеобщей причинной связи. Техника эта вся сводится к одному практическому принципу — „превращения сил“: она делает одни комплексы природы источником для получения других, третьих и т. д., при чем вырабатывает методы, допускающие безграничное качественное превращение различных процессов, ограниченные лишь количественными рамками эквивалентности и энтропии. Познание целиком усваивает этот принцип под названием „закона энергии“, а затем, овладевая им полнее и полнее, вырабатывает из него высший тип причинности.

Но эволюция причинности происходит весьма постепенно и далеко еще не завершена до сих пор. На первых шагах машинного производства, когда прогресс его совершился всецело на базисе буржуазной культуры, самая концепция „энергии“ возникла в абстрактно-фетишистическом виде: энергия принималась как нечто присущее самим по себе явлениям, независимо от человека и человечества, как „аттрибут“ другого, на этой ступени столь же фетишистического понятия — „материи“, либо как лежащая глубже „материи“ самостоятельная „субстанция“. В этой форме она, конечно, не могла стать новым типом причинности, но сама подчинялась старой причинной связи — „необходимости“.

На следующей ступени, когда машинное производство выдвинуло широкий слой своей особой — „инженерской“ — интеллигенции, слой опирающихся на точную науку организаторов, то в его мышлении обнаружилась тенденция представлять энергию, как практически-удобный символ связи явлений. Эта „символическая“ концепция точно выражает ту функцию, какую выполняет понятие энергии в работе инженеров, в их вычислениях и соображениях; в нем уже уловлен характер человеческой активности, но

нет ясного сознания того, каков субъект этой активности. Обычно, в соответствии с индивидуалистическим характером интеллигентного труда, в виде такого субъекта выступает отдельный индивидуум; мысль о коллективе отсутствует. Старая причинность подвергается критике и отвергается, как фетишистическая; новая еще не сложилась, ибо активность индивидуума не может стать принципом всеобщей связи явлений.

Следующая фаза: растет и начинает сознавать себя, т.-е. вырабатывать собственную культуру, коллектив пролетарский. В его практике и мышлении раскрывается уже истинный субъект „энергии“: она становится выражением социальной активности, делающей одни явления природы источником других в целях власти человечества над природою. Такова роль „энергии“ в производстве, такова и в научном познании¹⁾). Теперь она может развиваться, как новый принцип всеобщей причинной связи. Всякое явление объяснено и понято, когда оно введено в сферу социально-человеческой активности и подчинено ей, т.-е. когда оно может быть планомерно получено коллективно выработанными методами из определенных других явлений, и само также может быть сделано техническим источником отличающихся от него процессов.

Так вырабатывается наиболее активное из всех возможных человеческих мировоззрений, насквозь проникнутое сознательным стремлением к власти над природою, к ее планомерному преобра-

¹⁾ На любом примере легко показать, что в самой чистой теории „энергия“ так же соотносительна социальному субъекту, как в практике производства. Вот, напр., схема: „лучистая энергия солнца в зеленых частях растений превращается в химическую энергию крахмала“. Вся формула, очевидно, предполагает нормальные человеческие способы восприятия, с одной стороны, известные, выработанные людьми методы борьбы с природою—с другой. Индивидуально человек может быть слепым; если бы слепым было все человечество, никакой „лучистой энергии содавца“ для него не существовало бы, не существовало бы и физической характеристики некоторых частей растения, как зеленых. Но свет объективно существует, т.-е. зрительный способ восприятия для людей „социально-значим“ („gesellschaftlich gültig“, по выражению Маркса): даже слепой признает существование света, поскольку он—член социальной системы, находящийся в общении с другими. А „химическое средство“ обладает объективностью лишь для общества, уже умеющего планомерно влиять на состав некоторых тел окружающей его среды. Следовательно, энергии, независимой от труда и познания, в природе нет: каждое из ее конкретных определений исходит из какой-либо социально-человеческой активности.

зованию в интересах человечества. Это — мировоззрение завоевателей вселенной.

Что оно в то же время будет и наиболее социальным, это ясно из самой формы его всеобщей связи. Но оно будет также необходимо и наиболее монистичным по своим методам. В настоящее время система наук уже становится все более монистичной, методы различных ее областей сближаются между собою, подчиняясь широким объединяющим принципам. Но это происходит почти стихийно, — огромному большинству ученых специалистов чужда самая постановка монистической задачи. Когда же развитие науки будет опираться на культурное творчество непосредственных производителей, то возрастающая однородность методов труда будет порождать сознательное искание объединяющих способов познания, — научный монизм будет вырабатываться все быстрее, проникать мышление людей все глубже.

Благодаря единству научных методов, цеховую замкнутость разных отраслей в науке удается преодолеть в такой же мере, в какой вышедшие формы машинного производства уничтожают замкнутость разных отраслей производства. Переход от одной специальности к другой станет тогда таким же обычным делом и такой же потребностью работников в области познания, как и в сфере производства. Это — демократизация или, вернее, социализация науки в целом, а не в обрывках и кусочках, дальше которых органически неспособны идти современные нам популяризаторские тенденции.

Можно в общих чертах предвидеть и тот путь, на котором развернется, оформится только еще пока нарождающийся монизм научных методов. Создавая коллективистический строй, человечеству придется сознательно разрешать организационные задачи гигантской сложности. Это вызовет неизбежно развитие новой, особой науки о методах организации. Но такая наука более, чем всякая иная, должна стремиться к расширению своего поля, к распространению своих принципов на все сферы человеческой активности. Ибо всякая целесообразная деятельность людей имеет организационный характер: организация элементов природы в интересах общества — процесс технический, организация опыта — процесс познавательный, человеческих сил в обществе — процесс экономический. Все это принципиально сводится к одному — к организации социально-производительной энергии. Каждая из специальных наук, даже самых абстрактных, дает,

как мы указывали, способы организации той или иной стороны, той или иной части коллективно-трудовой практики. С выработкой общего учения о методах организации каждая частная наука должна оказаться подчиненной его принципам. Оно, таким образом, объединит и свяжет все отрасли познания несравненно совереннее, чем это делает нынешняя философия, которая есть не что иное, как смутный прообраз этой всеобщей, монистической науки.

Итак, мировоззрение активное, социальное, научно-монистическое — вот характеристика познания в системе колективизма. Такой тип мышления дает и наиболее прочную опору и максимальный простор для прогресса культуры.

с) Развитие социальных норм.

Мы видели, что капитализму свойственно гипертрофическое развитие социальных норм — права, морали и пр. — как раз вследствие анархичности его организации, вследствие многочисленности и глубины его противоречий, которые этими нормами вводятся в рамки и регулируются, насколько необходимо для поддержания единства и целости общества. Мы видели также, что этой анархичностью и противоречиями обусловливается неизбежность окутывания норм оболочкою фетишизма. Отсюда с очевидностью вытекает, что переход к общественному строю, свободному от противоречий экономической анархии, должен повлечь за собою, во-первых, устранение чрезмерного развития норм и, во-вторых, уничтожение фетишистической их оболочки. Тот и другой процесс начинаются еще при капитализме, в нарождающейся культуре рабочего класса, враждебного анархии производства со всеми ее результатами. Но развернуться свободно оба процесса могут только в атмосфере колективизма, овладевшего всей жизнью общества; колективизм же классовый намечает и развивает свои тенденции при таких сильных сопротивлениях, которые не позволяют им дойти до конца.

Рассмотрим жизненное значение обеих тенденций в их полном развитии. Начнем с более важной из них, той, которая направлена к уничтожению фетишизма.

Фетишизм норм неразрывно связан с их принудительностью. Он на нее опирается и в свою очередь ее поддерживает. Для

индивидуалиста, неспособного непосредственно сознавать и чувствовать интересы коллектива, норма обязательна лишь постольку, поскольку она есть нечто надчеловеческое и абсолютное. Когда фетишизм норм подрывается в жизни разоблачающей его культурной борьбою классов, то индивидуализм приходит к голой деморализации. Однако и в коллективизме прежняя принудительность норм не может уже сохраняться, но там она перестает быть жизненно необходимой.

В самом деле, весь смысл нормативного принуждения основан на противоречии стремлений личности с интересами коллектива. Организация, устранившая это противоречие, не имеет потребности в принудительных нормах. Таков коллективизм. Покончив с анархией производства, он уничтожает самый источник жизненных противоречий в своей среде. Без сомнения, они не исчезают окончательно и безусловно, — они всегда возможны всюду, где существует жизнь. Но, не имея основы в самом строении общества, они перестают быть явлением постоянным и общим, а становятся фактами частными и случайными. Для такого рода фактов нормы и недостаточны, ибо не могут предусмотреть их мелкой конкретности, и не нужны. На том уровне культуры, который должен быть создан товарищеской организацией труда, на этом уровне развития социального чувства и познания общество всегда сумеет и без особых принудительных норм — хотя, конечно, в случае необходимости при помощи реального принуждения — преодолеть случайные и частные противоречия в своей среде. Те из них, которые будут сколько-нибудь острыми и тяжелыми, будут почти всегда относиться к ведению научной медицины, а не юридических или моральных кодексов.

Итак, замена социальных норм типа фетишистического научными нормами целесообразности, подобными нынешним правилам гигиены или терапии, — вот радикальное преобразование этой области культуры, которое предстоит осуществить коллективизму. Но в переходном периоде — в периоде ликвидации старых социальных противоречий — формы принуждения, родственные этическим и правовым, должны еще сыграть свою роль; однако они сыграют ее уже освобожденные от призраков индивидуалистического сознания, — как ясные для всех нормы общих интересов. К этой фазе развития всецело относится „государство будущего“ — последняя организация классового господства: это будет господство пролетариата над остатками старых классов, воспитанных на буржуаз-

ной культуре. Ни о каком государстве при развитом коллективизме, очевидно, не может быть и речи.

Падение старой системы норм, сложной и запутанной, полной внутренних противоречий, означает огромное упрощение взаимных отношений между людьми, огромную экономию сил для прогресса в других областях жизни.

IV. Силы развития в коллективизме.

Конкуренция и борьба классов были и до сих пор являются могучими двигателями развития для буржуазного общества. Этим объясняется одно из коренных заблуждений индивидуализма: мысль, будто без экономической борьбы между людьми общество не может быть прогрессивным, будто всякий шаг вперед делается под давлением внутренней борьбы, конкуренции, грубой, или хотя бы смягченной, принявший вид „соревнования“. На самом деле даже современный человек не так узок и ничтожен, чтобы ему чужды были иные стимулы развития.

Основной и всеобщий двигатель развития—это борьба с природою. Изменяя природу силою своего труда, общество тем самым вынуждается вновь и вновь изменять свое отношение к ней, а в зависимости от этого—и свое строение и культуру. Проникая глубже и дальше в природу, общество наталкивается на новые сопротивления, которые ему приходится преодолевать новыми методами. Каким же образом случилось так, что конкуренция на целые века стала главной силой развития?

Это произошло благодаря тому, что дело общественного прогресса оказалось не в руках непосредственных производителей, а в руках потерявших прямое трудовое соприкосновение с природою организаторов. К ним переходила, в виде прибавочного продукта, та избыточная энергия общества, за счет которой идет его развитие. Не получая непосредственных стимулов прогресса из борьбы со стихиями природы, они получали такие стимулы из борьбы между собою, из стихийности общества,—без чего они, действительно, могли бы застыть в неподвижности, а с ними и все общество. Вот почему конкуренция должна была постепенно выступить на первый план, как мотив прогресса. При этом ценой прогресса являлась огромная растрата энергии общества на внутреннюю борьбу.

Но все это радикально изменяется там, где устраниено расчленение общества на классы, где вся культура становится продуктом творчества непосредственных производителей, объединенных в коллектив. Тут основные и первичные силы развития действуют в полной мере, а прибавочная энергия, не растратившаяся на внутри-социальные конфликты, уходит на дальнейшие завоевания в природе, из которых возникают новые сопротивления, новые задачи.

В коллективе трудовом накапливаемая энергия не может рассеиваться в сторону паразитизма, как это было с нетрудовыми классами; она находит исход в творчестве, в захвате власти над стихиями, в раскрытии тайн вселенной,—в растущей культуре.

Колоссальная широта и сложность производственной системы, проникающей по самым различным направлениям в природу, полнота и глубина общения между людьми в их трудовом опыте дают при колLECTИВИЗМЕ такую массу элементов развития, такой богатый материал для творчества, о которых наше воображение неспособно даже составить себе ясное понятие.

Для общества первобытного движение вперед задерживалось бедностью жизни, для общества авторитарного оно замедлялось консервативной тенденцией власти; в системе капитализма оно ослабляется анархической растратой производительных сил на социальные конфликты. Когда колLECTИВИЗМ освободитчество от всех этих препятствий, тогда настанет время свободного, гармонического прогресса, стремительного, всеобеждающего...

О ГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
От авторов (к первому изданию)	3
Предисловие к второму изданию	5

Общая теория капитализма.

I. Методологическое введение.

a) Место теории капитализма в экономической науке	7
b) Метод и исходный пункт исследования	20
c) Исходный пункт анализа	20

II. Трудовая стоимость и меновая ценность.

a) Сумма производительного труда и сумма потребностей капиталистического общества	24
b) Абстрактно-простой труд	34
c) Трудовая стоимость, как регулятор производства	39
d) Обмен при отсутствии прибавочной стоимости	41
e) Норма прибавочной стоимости и капиталистический доход	44
f) Норма прибыли	46
g) Влияние периодов оборота капитала	52
h) Технический прогресс и строение капиталов	56
i) Строение общественного капитала и роль трудовой стоимости в обмене	62

III. Трудовая стоимость и рента.

a) Капитализм и рента	67
b) Рента абсолютная и дифференциальная	75
c) Земельная рента и трудовая стоимость в обмене	85

IV. Элементы риска и страхования в общей системе распределения.

a) Индивидуальный уровень прибыли	92
b) Элементы коллективного страхования капитала: налоги	96
c) Налоги косвенные	100
d) Прямые налоги	104

V. Место и значение теории трудовой стоимости в науке.	
a) Ее объективный характер	114
b) Теоретическая сила теории трудовой стоимости	118
c) Практическое значение теории	123
VI. Теория предельной полезности	125
a) Точка зрения и метод теории предельной полезности	125
b) Основные ошибки доктрины предельных полезностей	131
c) Сопоставление теорий «предельной полезности» и «трудовой стоимости»	136
VII. Теория рынков и кризисов.	138
a) Строение рынка	139
b) Рыночная реализация	148
c) Общие причины кризисов	156
d) Периоды кризисов	162
e) Вопрос о преодолении кризисов	170
f) Главнейшие теории рынков и кризисов	178
g) Значение кризисов производства в судьбах капитализма	184
VIII. Идеологическое развитие в эпоху торгового капитализма	186
a) Индивидуализм и меновой фетишизм	186
b) Начало демократизации знаний	195
c) Гуманизм и Возрождение	197
d) Великие открытия и изобретения	199
e) Реформация	202
IX. Идеологическое развитие в эпоху промышленного капитала	205
a) Завершение индивидуализма и менового фетишизма	207
b) Развитие науки	211
c) Упадок индивидуализма и менового фетишизма	216
d) Идеологическая борьба в эпоху промышленного капитализма	225
X. Теория мирового военного кризиса.	
a) Характер организации финансового капитала	236
b) Условия взрыва мировой войны	240
c) Течение мирового военного кризиса	246
d) Военно-экономическая формации	256
e) После-военная мировая конъюнктура	270
f) Путь падения золотой денежной базы	275
Коллективистический строй.	
I. Техника при коллективизме.	280
a) Машины: источники энергии, механизмы	282
b) Рабочая сила	286

Cтр.

II. Экономическая сторона коллективизма.	
a) Сотрудничество	289
b) Распределение	292
III. Идеология в эпоху коллективизма	294
a) Развитие речи	294
b) Развитие науки	296
c) Развитие социальных норм	300
IV. Силы развития в коллективизме	302

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. МОСКВА—ПЕТРОГРАД.

- Антанта и Врангель. Сборник статей. Вып. I. 1923 г. Стр. 271. Ц. 75 к.
- Биссари, О. Вильгельм II. Воспоминания и мысли. С пред. М. Павловича. 1923 г. Стр. 175. Ц. 75 к.
- Витте, С. Ю. Воспоминания. Царствование Николая II. Т. I. 1922 г. Стр. 471. Ц. 2 р. 25 к.
- Его же. Воспоминания. Царствование Николая II. Т. II. 1923 г. Стр. 518. Ц. 2 р. 25 к.
- IV Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. Избранные доклады, речи и резолюции. 1923 г. Стр. 427. Ц. 75 к.
- Зиновьев, Г. Об антисоветских партиях и течениях. 1922 г. Стр. 55. Ц. 20 к
- Его же. Коминтерн за работой. Проект проблем Коминтерна и его секции. Изд. 2-е. 1923 г. Стр. 295. Ц. 50 к.
- Его же. Очередные вопросы. Наши задачи. Государство и партия. 1923 г. Стр. 95. Ц. 20 к.
- Гуль, Р. Ледяной поход (с Корниловым). Предисловие Н. Л. Мещерякова. 1923 г. Стр. 164. Ц. 50 к.
- Игельстром, В. Очерки современной Финляндии. 1923 г. Стр. 79. Ц. 20 к.
- Иоффе, А. А. От Генуи до Гааги. Сборник статей. 1922 г. Стр. 43. Ц. 15 к.
- Каменев, Л. Б. Меньшевики в первой русской революции. 1923 г. Стр. 95. Ц. 20 к.
- Кейнс, Д. М. Экономические последствия Версальского мирного договора. 1922 г. Стр. 197. Ц. 70 к.
- Его же. Пересмотр мирного договора (продолж. Экономич. послед. Верс. мира. договора). 1922 г. Стр. 144. Ц. 70 к.
- Керженцев, П. М. Как вести собрания. Изд. 4-е. 1923 г. Стр. 40. Ц. 8 к.
- Крестинский, Н. Финансы и бюджет. Доклад на IX Всеросс. Съезде Советов. 1922 г. Стр. 46. Ц. 15 к.
- Курлов, П. Конец русского царизма. Воспоминания бывшего командира корпуса жандармов. С пред. М. Павловича. 1923 г. Стр. 296. Ц. 75 к.
- Ленин, Н. (Ульянов, В.) Статьи. Страницы из дневника. Как нам нужно реорганизовать Рабкрай. 1923 г. Стр. 92. Ц. 20 к.
- Его же. Пролетарская революция и ренегат Каутский. 1923 г. Стр. 106. Ц. 25 к
- Ледэр, Ц. Наступление капитала и единый пролетарский фронт. 1923 г. Стр. 68. Ц. 15 к.
- Лозовский, А. Рабочая Франция. (Заметки и впечатления.) 1923 г. Стр. 139. Ц. 25 к.
- Его же. Задачи Коминтерна в профдвижении. 1923 г. Стр. 104. Ц. 25 к.
- Лопухин, А. А. Отрывки из воспоминаний (по поводу „Воспомин.“ гр. С. Ю. Витте). С предисл. М. Н. Покровского. 1923 г. Стр. 98. Ц. 40 к.
- Луначарский, А. В. Бывшие люди. Очерк истории партии эс-эров. 1922 г. Стр. 81. Ц. 20 к.
- Мировой фашизм. Сборник статей под редакцией Н. Л. Мещерякова. 1923 г. Стр. 294. Ц. 1 р.
- Мемуары германского кронпринца. С пред. В. Крацина. 1923 г. Стр. 269. Ц. 75 к.
- Молотов, В. На шестой год. К итогам и перспективам партийной работы.. 1923 г. Стр. 40. Ц. 15 к.